

...МАК-
СИМ...



НЕ
ВЫХОДИТ
НА
СВЯЗЬ

ПРИДЛИЙ ГОРЧАКОВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



Annotation

Писатель Овидий Александрович Горчаков родился в 1924 году. С семнадцати лет он партизанил на Брянщине и Смоленщине, в Белоруссии, Украине и Польше, был разведчиком.

В 1960 году вышла повесть Горчакова «Вызываем огонь на себя», а вслед за нею другие рассказы и повести на военную тему. Новая повесть писателя «Максим» не выходит на связь» написана на документальной основе. В ней использован дневник палача-эсэсовца Ноймана, который в своих мемуарах рассказал о безвестном подвиге советских партизан. Овидий Горчаков поставил перед собой цель — узнать судьбы героев и начал поиск. Ему удалось восстановить волнующие, неизвестные до сих пор страницы Великой Отечественной войны.

-
- [Горчаков Овидий Александрович](#)
 -
 - [1. Зимняя гроза](#)
 - [2. Перед черным маршем](#)
 - [3. Перед бурей](#)
 - [4. Черный марш начинается](#)
 - [5. „В бурю огневую...“](#)
 - [6. Черный марш](#)
 - [7. Черная буря](#)
 - [8. Они победили грозу](#)
 - [9. Вместо послесловия](#)
 - [„Викинги“ маршируют вновь](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Горчаков Овидий Александрович
«МАКСИМ» НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

P2
Г70

ОВИДИЙ ГОРЧАКОВ
**..МАК-
СИМ..
НЕ
ВЫХОДИТ
НА
СВЯЗЬ**

**(Повесть о невыдуманном
подвиге)**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦН ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1988**

Рисунки художника *Р. Авотина*

Обложка художника *А. Финогенова*

1. Зимняя гроза

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых.

Юлиус Фучик



Это произошло в ночь со 2 на 3 декабря 1942 года. В одну из двухсот ночей сражения на Волге. В ночь на пятьсот тридцатый день войны...

Станция Пролетарская Северо-Кавказской железной дороги. Пути забиты немецкими эшелонами. Вокруг станции стоят тысячи танков, бронетранспортеров, самоходных орудий. Из Сальских степей дует свирепая вьюга. Офицеры прячутся от вьюги и мороза в немногих уцелевших домах поселка. Солдаты мерзнут, сидя тесными рядами в грузовиках, или разводят костры среди развалин. В исхлестанной вьюгой темноте вспыхивает пламя, шарят лучи фонарей, зажигаются фары. У депо слышатся крики, яростная ругань: то фельджандармы разнимают румынских и венгерских солдат, подравшихся из-за

топлива для костра. А на станции завязывается новая драка — немцы-эсэсовцы бьют итальянских берсальеров.

В черном репродукторе на перроне гремит гортанный голос:

— Ахтунг! Ахтунг! Внимание командиров подразделений полка «Нордланд» дивизии СС «Викинг»! К 21.30 явиться в штаб дивизии! Ахтунг! Ахтунг!..

Оберштурмфюрер СС Петер Нойман, командир 2-й мотострелковой роты полка «Нордланд», спешит с другими офицерами полка к полуразрушенному депо, в уцелевшем углу которого расположился штаб дивизии.

Командир дивизии бригаденфюрер СС Герберт Гилле, высокий, краснолицый, в тяжелых роговых очках, опустив в раздумье голову, сняв перчатки из оленьей кожи, греет руки над раскаленной докрасна печуркой. На шее, в разрезе мехового воротника подбитой мехом генеральской шинели, лучисто и радужно вспыхивает рыцарский крест с мечами и бриллиантами.

Ровно в 21.30, когда собрались все офицеры, он резко поднимает голову и сурово, жестко говорит:

— Эс-эс! Сейчас не время для длинных речей. В предсмертной агонии враг нанес нам серьезный удар. Фюрер трижды — в октябре и ноябре — назначал сроки взятия крепости на Волге, но армия не до конца выполнила задачу. Вы знаете, что не все дерутся так храбро, как эс-эс. И вот девятнадцатого ноября последние большевистские резервы перешли в наступление, прорвали фланги, которые защищали наши горе-союзники, и двадцать третьего ноября окружили у Волги шестую армию генерал-полковника Паулюса. Эс-эс! Я довел вас до Грозного, почти до Баку, к границе Турции и Ирана. Но фюрер срочно отозвал нас, чтобы вызволить окруженных героев. Споря со временем, ставка фюрера сколотила новую группу армий «Дон» под командованием непобедимого фельдмаршала фон Манштейна. Тридцать дивизий этой группы развернулись сейчас на шестисоткилометровом фронте — от станицы Вешенская до станции Пролетарская. Наша славная дивизия «Викинг» вместе с танковой армией генерала Гота — бронированный кулак этого грозного войска. Мы пробьем коридор в «котел» и деблокируем армию Паулюса! Помните! Спасти Паулюса — значит спасти тысячелетний рейх. Тогда вступят в войну Япония и Турция! Тогда победа обеспечена! На карту

поставлены жизнь и смерть! Фюрер назвал эту операцию «Зимняя гроза». Хайль Гитлер!

Бригаденфюрер делает шаг вперед к офицерам и уже обычным, разговорным тоном добавляет:

— Это все, господа. Не теряйте ни минуты! Первым эшелон дивизии поедет полк «Нордланд». Время отправки — 22.00.

В 22.00 командир диверсионно-партизанской группы «Максим» старшина Черняховский останавливает группу.

— Давайте в круг, ребята! — командует он, стараясь перекричать вьюгу. — Есть разговор!

В голой степи вьюга сбивает человека с ног, засыпает ему снегом глаза, обжигает лицо. Все пятнадцать партизан сбиваются в тесный круг, пряча лицо от ветра и прижимаясь друг к другу. И командир говорит:

— Жарь, комиссар!

Максими́ч развязывает уши обледеневшей шапки и хриплым от простуды голосом говорит:

— Сводку вы все знаете. Наступил и на нашей улице праздник. Долго мы ждали этого дня. Много крови утекло. И вот перелом. Будет Паулюсу могила на Волге, если не дадим его вызволить. Нам выпало великое счастье — судьба поставила нас на самое важное место. Огромные силы бросает сейчас Гитлер по железной дороге, Паулюса выручить хочет. И главная дорога — главная артерия — вот она, рукой подать... — Комиссар закашлялся. — Ставь задачу, командир! В общем, как в песне: желаю я вам, ребята, если смерти — то мгновенной, если раны — небольшой!

Командир поправляет автомат на груди. Вьюга расшибается о его крепкие плечи.

— Еще в Астрахани нам дали наказ — главное, налет на железку. Получена радиограмма: «Перекрыть железную дорогу!» Триста километров шли мы по степи ради этого. В пургу и мороз. А теперь, если потребуется, как один станем насмерть... Пошли, ребята!

Они идут навстречу вьюге, навстречу неизвестности. Командир. Комиссар. Десять молодых снайперов-подрывников. И три девушки.

Первым идет разведчик Володя Солдатов. Вдруг он хватается за глаза и, сняв рукавицы, трет их пальцами.

— Ничего не вижу. Песок попал!

К нему, шатаясь на ураганном ветру, подходит комиссар.

— Береги глаза! Снег с пылью. Это шурган, черная буря!

2. Перед черным маршем

Но и этих людей надо разглядеть во всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости и смехотворности, ибо и они — материал для будущих суждений.

Юлиус Фучик



Пробираясь в пестрой толпе военных к воротам депо, оберштурмфюрер СС Петер Нойман с удивлением поглядывал по сторонам. Нет, такого ему нигде еще не доводилось видеть — будто весь вермахт сгрудился в этих мрачных, закопченных стенах. Ему попадались офицеры полицейских частей в ядовито-зеленых шинелях, кавалеристы с ярко-желтыми погонами, офицеры горноегерской дивизии с жестяным эдельвейсом на рукаве, попадались серо-зеленые артиллеристы, саперы с черными погонами, венгры, румыны и итальянские берсальеры, пехотинцы в шинелях неопишумого цвета

«фельдграу», серо-голубые офицеры люфтваффе и промасленные танкисты в черной униформе. Эту униформу можно было бы легко спутать с черной униформой самого оберштурмфюрера дивизии СС «Викинг», если бы не черные молнии и не черный эсэсовский орел на боках его каски и эсэсовские знаки в петлицах. Перед Нойманом и другими офицерами СС молча расступались все эти «фазаны» — все это вермахтовское офицерье, и Нойман, рассекая толпу, гордо нес голову, возвышаясь над толпой не только благодаря своему почти двухметровому росту, но и тому чувству исключительности, которое всегда распирало грудь любого офицера или нижнего чина отборнейшей дивизии СС «Викинг».

И вдруг оберштурмфюрер СС Нойман замедлил шаг. На стене депо отступившие большевики размашисто написали мазутом: «Смерть немецким оккупантам!», и Нойман — он немного читал по-русски — вспомнил, что давным-давно, еще до того, как Адольф Гитлер стал рейхсканцлером, священник на уроке показывал классу репродукцию картины, изображавшей пир во дворце какого-то библейского царя. В разгар пира на стене вдруг появились огненные письма — пророчество неминуемой божьей кары. И дымное, озаренное неверным пляшущим пламенем депо показалось ему похожим на Валгаллу — мрачный дворец Вотана, бога древних викингов, обитель душ воинов, павших в бою.

Нойман выбрался из депо и сразу окунулся во мрак и вьюгу. Разыскивая свой эшелон, он отстал от других офицеров, сбился с пути и минут десять кружил, то и дело освещая фонариком танки и бронетранспортеры на платформах. Однако номера у них начинались с букв «WH» — сухопутные силы вермахта. Но вот, наконец, он осветил фонариком бронетранспортер со сдвоенными молниями СС на номере. Нойман подошел к локомотиву.

Что-то зловещее почудилось ему в этой знакомой с детства картине... С ночными потемками сливается черная громада локомотива, и на фоне ярко-багрового пламени, вырывающегося из раскаленного чрева, четко выступают силуэты машиниста и кочегара в ватниках и меховых шапках. Гудит паровозная топка, больно режут слух визг поршней и шипение пара, вылетающего из цилиндра. Как убегают в беспросветную ночь эти телеграфные столбы, так уходят в прошлое детские воспоминания, и самое раннее и яркое из них —

воспоминание о том далеком зимнем вечере, когда отец впервые взял его, маленького Петера, карапуза с длинными, как у девчонки, белокурыми волосами, в гамбургское депо. Во все глаза смотрел Петерхен на чудеса вокруг, и вдруг оглушительно, душераздирающе взревел паровозный гудок. Отец подхватил его, испуганного и плачущего, на руки, а Петер прижался мокрым от слез лицом к широкой отцовской груди, к ворсистому сукну шинели...

Думая о книге, которую он когда-нибудь, после победоносной войны, напишет, Нойман сочинил такое начало: «Петер Нойман родился в невеселые времена разрухи и инфляции, когда его отец получал сто миллионов марок в день. Но, увы, его отец не был ни миллионером, ни миллиардером — он был всего-навсего железнодорожным служащим младшего ранга. Просто это было время смуты и бедствий, когда доллар стоил сначала сто миллионов, потом пятьсот миллионов, а еще позднее — миллиарды марок».

Паровозный гудок. оторвал оберштурмфюрера Ноймана от воспоминаний. Он поднес к глазам светящийся циферблат «омеги»: 21.50 — и не спеша зашагал вдоль эшелона по скрипучему снегу. Локомотив, тендер, за тендером — броневагон с выключенным прожектором, несколько пассажирских вагонов второго класса с белым имперским орлом и буквами «ДРВ» — «Дойче рейхсбанн». И еще одна надпись — вот так встреча на задворках вселенной! — «Гамбург». Вагон из родного Гамбурга! Тоска стиснула сердце, тоска по залитому солнцем Гамбургу с соленым запахом моря, смолы и корабельного дыма...

Невольно вспомнилось Нойману — отец ходил контролером как раз по таким вагонам, с табличками «Берлин — Киль», а потом «Мекленбург — Гольштейн». Теперь он вот уже четыре года сидит в концлагере, если не умер... Память об отце до сих пор скребет сердце, и спор с ним, спор отца и сына, в сущности, еще продолжается. Этот спор решается сейчас под грохот сражения на Волге. Правда на стороне сильнейшего — так думается Нойману. Прав всемогущий фюрер, и доказательство тому — имперский орел с зажатой в когтях свастикой на станции Пролетарская. Далеко залетел орел великой Германии! Тень от его крыльев падает на полсвета: от норвежских фиордов до жарких африканских песков, от волн Ла-Манша до калмыцких степей. Нойман верит — германский солдат перешьет на

немецкий манер все железные дороги до Индии, не за горами тот день, когда имперский орел напьется воды из священного Ганга! И горделивый хмель ударяет в голову Петера Ноймана, ведь в великих победах германского оружия есть и его вклад — вклад кавалера «железного креста» 1-го и 2-го классов, оберштурмфюрера СС, командира 2-й роты мотострелкового полка «Нордланд» моторизованной дивизии СС «Викинг».

Из толпы офицеров Ноймана окликнул его приятель Карл фон Рекнер:

— Это ты, Петер? — Он подошел ближе. — Салют, о славный герой, спаситель фатерланда, надежда фюрера! Мы с Францем заняли купе для нашей тройки. Не будешь же ты валяться с вшивой солдатней в вагоне для скота!

— Согласен, — ответил Нойман. — Всегда рад встрече с друзьями!

В его тоне и улыбке угадывалось то новое чувство превосходства, с которым он относился к своим старинным закадычным друзьям — Карлу и Францу. В школе он мучительно завидовал им, особенно Карлу, этому баловню судьбы, счастливчику, сыну аристократа-богача, полковника графа фон Рекнера. Как он, бывало, стыдился своего отца, простого контролера, да еще 2-го класса, и своей матери — бедной старенькой Мутти, вечно хлопотавшей по хозяйству в невзрачном домишке на Хайлигенгассе. Франц — тот жил в красивом готическом особняке, отец у него, правда, тоже работал на железной дороге, но занимал в правлении высокий пост и командовал мелкотой вроде контролера Ноймана. Зато теперь Петер Нойман командует и графским сыном и бывшим первым учеником гимназии имени Шиллера Францем Хаттеншвилером. В молчаливой, но отчаянной борьбе за боевое первенство Нойман оставил позади приятелей, обогнав их по чинам и орденам.

— Ладно, Карл! Только сначала пойду распоряжусь...

— Приказывайте, оберштурмфюрер! — Из-за спины Карла вынырнул гауптшарфюрер Либезис. — Я здесь!

— Молодец, Либезис! Ты всегда под рукой! — довольно усмехнулся Нойман. — Останешься за меня с ротой. Я поеду в пассажирском вагоне, в первом, считая от паровоза. Сейчас же выдели

человек пятнадцать из пулеметного взвода — поедут охраной в броневагоне. Приказ командира полка.

— Яволь, оберштурмфюрер! — отчеканил служака гауптшарфюрер, лихо отдавая честь. — Спокойной ночи, оберштурмфюрер!

— «Спокойной ночи...» — закурив, усмехнулся фон Рекнер. — Погода, слава богу, нелетная, русской авиации нам бояться вроде нечего. Ну, а если партизаны, или, как их называет московское радио, народные мстители?

— Больше страха от них, чем вреда, — глядя вслед гауптшарфюреру, сказал Нойман.

Ему, Нойману, еще не надоело это чертовски приятное чувство — командовать такими тертыми ветеранами СС, как «Дикий бык» Либезис — так за глаза называют в роте Ноймана этого вояку, бывшего мирного тирольского бауэра, которого четыре года войны в Польше и Норвегии, Франции и Югославии превратили в образцового солдата СС. Пусть он известен в полку — да что в полку, во всей дивизии, как пьяница, буйн и насильник, зато в бою он надежен, как танк. Летом сорок первого желторотый юнкер Нойман с трепетом и восхищением следил в боях под Рава-Русской и Кременцом, под Житомиром и Днепропетровском за «Диким быком» Либезисом. А теперь и Либезис и все увешанные крестами ветераны в роте тянутся перед ним, оберштурмфюрером Нойманом.

— Пока нам везет, — говорил, затягиваясь сигаретой «Юнона», фон Рекнер, — пока не партизаны охотились на нас, а мы охотились на партизан — на Украине, в Крыму, на Кавказе...

— Скажи лучше: на мужиков охотились, — поправил его Нойман. — Много ты видел этих партизан? А здесь их и в помине нет — ни лесов, ни гор, одна снежная пустыня. Уж не сдают ли нервы у унтерштурмфюрера графа фон Рекнера?

— Зачем тогда полковник послал подкрепление в броневагон? Скажешь, у старика тоже нервы сдают? Пойдем-ка лучше сыграем в скат, мороз на этой Пролетарской все крепчает... И это называется Южным фронтом!

— Видно, в честь Южного полюса, — усмехнулся Нойман.

Нойман оглянулся. Где-то там в крошечной тьме, может быть, и в самом деле бродит смерть. Нет, чушь. и ерунда — люди не волки, не

выживут во вьюжной гиблой степи!

Над разрушенной станцией, над говором и криком солдат снова разнесся гудок паровоза. Мимо Ноймана и фон Рекнера рысцой пробежали пулеметчики, посланные Либезисом в бронев вагоны. В темных окнах классного вагона вспыхивали и метались лучи карманных фонариков, в двух-трех окнах зажегся моргающий желтый свет фронтowych. коптилок. Эшелон дернулся, лязгнули сцепления, стукнули буфера... Нойман и фон Рекнер последними из офицеров полка СС «Нордланд» вспрыгнули на высокую подножку, захлопнули дверь.

Из глубины вагона, тускло освещенного свечами в фонарях, послышался громкий голос:

— Господа офицеры! В эфире — «Вахтпостен»!

Офицеры СС сгрудились у купе, занятого радистами. Вот уже много месяцев всегда и всюду, где только это позволяли фронтowe условия, в дождь и пургу, офицеры и солдаты германской армии от Белого до Черного морей собирались у полевых раций, чтобы послушать в 22.00 по германскому радио из Белграда специальную программу для вермахта и в первую очередь заставку этой программы — любимейшую песенку тех, кто воевал за Гитлера, — «Лили Марлен». И сейчас все в вагоне замерли, слушая музыку этой грустно-сентиментальной песенки о девушке, которая ждет не дождется любимого с фронта.

— Погляди-ка! — шепнул Нойману острый на язык фон Рекнер. — Какие милые, просветленные лица у этих профессиональных убийц и вешателей!

Петер недовольно взглянул на Карла. Если начальник СД дивизии штурмбаннфюрер Штресслинг — вон он стоит — услышит такие слова, он в два счета разделается с заносчивым виконтом!

Дослушав песню, офицеры начали расходиться по купе.

— Бр-р-р! — Рекнер стучал зубами. — Да здесь прохладнее, чем в могиле!

— Ошибаешься, граф! — сказал Франц Хаттеншвилер, высовываясь из двери купе. — Простые смертные, возможно, и заработают, переночевав в этом вагоне, «медаль мороженого мяса», но только не мы с вами — морозостойкие викинги! Раздевайтесь,

господа! Подсаживайтесь к камину! Это, правда, не свадебный номер отеля «Адлон» на Вильгельм-штрассе...

— Камин! — проворчал фон Рекнер. — Да ты, лентяй паршивый, даже коптилки не организовал! И в карты не сыграешь! Тысяча чертей! К утру наша тройка превратится в сосульки.

— Зато вся наша тройка опять вместе, — улыбнулся Франц. — И к ужину у нас кое-что есть! — Он торжественно потряс обшитой сукном алюминиевой флягой. Во фляге внушительно забулькало. — Довоенный! Наичистейший! Девяностодевятиградусный! Подарок раненному стрелой амура викингу от Лоттхен — самой милосердной сестры в Пятигорске! Ну и девочка, доложу я вам — глаза как незабудки!.. И коптилка найдется!

В угол полетели шлемы, сбруи с парабеллумами, полевые сумки.

Карл — он в самых невероятных условиях Корчил из себя джентльмена — достал из рюкзака белую салфетку, серебряный прибор и три серебряные рюмки с фамильным гербом графов фон Рекнеров.

Когда спирт был выпит, развязались языки. Спели «Лили Марлен» и, подражая Рихарду Тауберу, волжскую «Дубинушку».

— Нет, Петер! — доказывал, захмелев, Франц. — Ты отменный тактик, но плохой стратег. Индия — это потом, когда мы освободим армию Паулюса и отбросим «иванов» в сибирские джунгли. Тогда мы опять двинем через Кавказ, в Турцию, а там, за Тигром и Евфратом — Сирия и Египет. Весь мир ахнет, когда среди пирамид обнимутся, как братья, наши «викинги» с героями фельдмаршала Роммеля! А потом мы увидим волны Персидского залива, Индийский океан, встретимся с японцами в Бирме!

— Друзья! — воскликнул Карл. — Флаг со свастикой развевается над Эльбрусом. Вот еще фляжка — резерв главного командования. Я пью за флаг рейха над пирамидой Хеопса!

И, высоко запрокинув фляжку, он единым духом осушил ее.

Петер, размякнув под влиянием алкоголя, проговорил после недолгого молчания, поглядывая повлажневшими глазами на мигавшую коптилку:

— Вот гляжу я на вас, на самого себя и думаю: не будь этой войны, были бы мы совсем еще юнцами, ведь каждому из нас по двадцать два года! Но у каждого за эти полтора года войны душа

огрубела, заиндевела, как вот это окно. Не кельнской водой, а порохом пахнет от нас! Много растеряли мы иллюзий на дорогах войны...

— Что верно, то верно! — вставил Карл. — Наши фронтовики недаром называют себя фронтовыми свиньями...

— Но в каждом из нас, — словно бы любуясь, собой, продолжал Петер, — в каждой скотине под инеем, под грязью, пороховым нагаром и запекшейся кровью, клянусь, еще живет мальчишка Франц, мальчишка Карл...

— И мальчишка Петер! — подхватили приятели. Допоздна вспоминали трое «викингов» школьные годы в милом сердце Виттенберге, летние лагеря «Гитлерюгенда», военную подготовку в юнкерском училище...

А за окном бушевал свирепый степной ветер и далеко окрест разносился похожий на крик раненого зверя протяжный и скорбный гудок паровоза.

— Помните, Петер и Франц, нашу первую встречу в гимназии имени Шиллера?

...Осенний ветер гнал по брусчатке маленькой площади перед киркой желтые листья облетевших лип.

Все в этом городке — и площадь, и кирка, и домишки с остроконечными крышами — все казалось Петеру маленьким, почти игрушечным после Гамбурга, после той многоэтажной серой коробки, в которой он родился и прожил первые годы своей жизни, после огромного гамбургского железнодорожного узла и порта с океанскими великанами лайнерами, такими как «Бремен» и «Европа», курсировавшими по линии Гамбург — Саутгемптон — Нью-Йорк.

Петер в последний раз оглядел себя — Мутти постаралась на славу. Коричневая форма «Гитлерюгенда» идеально отглажена. Куртка, отделанная шнуром, вельветовые штаны до колен, носки до лодыжек. Правда, короткие штаны вытерты до безобразия и никаким гуталином не удалось по-настоящему обновить башмаки, зато знаки различия на потрепанной коричневой куртке возвещают всем, что вот идет не очень элегантно экипированный молодой человек из «Гитлерюгенда», но парень он хоть куда — поглядите только на арийский его вид и на шевроны шар-фюрера.

Петер остановился возле увитого плющом особняка на Перлебергштрассе, в котором жил теперь Франц. За узорной кованой оградой — газон с цветником, шикарный фасад с зеркальными окнами. У подъезда в лучах утреннего солнца сияет темно-синим лаком «мерседес» папы Хаттеншвилера. Сунув два пальца в рот, Петер изо всей мочи свистнул. Нет, он ни за что не пойдет в этот особняк, плевать он хотел на этих буржуев — недаром ненавидит их отец-Петер не пойдет в особняк потому, что не хочет в ответ приглашать этих буржуйских сынков в свой новый виттенбергский «замок», пропахшую кухней каморку... Но ничего, придет время, и Франц еще засвистит у дома Петера.

Франц не заставил себя ждать. Петер кивнул приятелю, поспешно отвел глаза от шевронов Франца — шевронов гефольгшафтфюрера. Он мучительно переживал свое отставание на один ранг от товарища, стыдился порой своей завистливости, но ничего не мог поделать с собой. Вот Франц другое дело, не в его характере завидовать кому-либо. Еще бы! Францу везет в жизни, он родился с серебряной ложкой во рту, никогда не знал унижительной бедности, потому он такой веселый, беспечный, благодушный. Петер выпрямил спину, расправил плечи. Зато он, Петер, выше ростом, шире в плечах и больше нравится девочкам. И жизнь только начинается!

— Какая удача, Петер, — болтал, шагая рядом, Франц, — что твоего отца тоже перевели из Гамбурга в этот Виттенберг. Не очень-то было бы мне приятно одному идти сейчас в новый класс к этим провинциалам!

Здание гимназии имени Шиллера показалось Петеру маленьким и неказистым. Его, как и Франца, волновала предстоявшая встреча с новым классом. Потому Петер на всякий случай свирепо хмурил брови, держался, как Макс Шмеллинг на ринге, всем своим видом говоря, что с кем с кем, а с этим парнем из Гамбурга шутки плохи, лучше не задираться. Однако гимназия имени Шиллера встретила новичков из ганзейской столицы вполне корректно — без оваций, но и без мордобоя.

В вестибюле стояли такой же шум и гам, как в гамбургской гимназии, с той только разницей, что здесь сразу признали в них новичков и окидывали их любопытными взглядами — в гамбургской гимназии все-таки было намного больше учеников.

Чтобы как-то скрыть неловкость и смущение, приятели сделали вид, что заинтересовались вывешенным в вестибюле свежим номером «Штурмера». Гимназисты старших классов с гоготом рассматривали антисемитские карикатуры в газете Юлиуса Штрейхера, еженедельной «Штурмер», зачитывались сенсационными сообщениями о покушении евреев на нравственность арийских девушек.

— Слыхали, ребята? — дискантом крикнул белобрысый толстячок. — Нам прибавили восемь часов политического обучения и расовой теории в неделю! Ура! За счет математики и литературы!

С политического обучения и начался первый урок у Петера и Франца в гимназии имени Шиллера. Учитель Плятшнер, брызжа слюной, потрясая волосатыми красными кулаками, грозил адскими муками всем врагам великой Германии:

— Наша партия раздавила железной пятой Тельмана и его Красный фронт. Точно так же поступим мы со всеми врагами нашей рабочей национал-социалистской партии! Придет час, и мы сполна отомстим плутократам-капиталистам, навязавшим нам версальский диктат! Фюрер спас страну от верной гибели — вспомните страшную инфляцию, шесть миллионов безработных, десять миллионов оболваненных красными агитаторами немцев, проголосовавших на выборах в рейхстаг за коммунистов! В 1918 году за фюрером шло всего сто одиннадцать старых борцов, в 1930 году их было уже восемь миллионов. А теперь вся великая Германия как один человек идет за нашим фюрером! Позор и смерть жалким наймитам Москвы и международному еврейству!

У Плятшнера на лацкане осыпанного перхотью пиджака — значок члена национал-социалистской немецкой рабочей партии.

Бешено жестикулируя, все больше распаяясь, ходил учитель Плятшнер по классу и вдруг остановился у парты, за которой сидел Франц.

— Вот вы, новенький! Из Гамбурга, не так ли? Отвечайте, как учил нас справляться с врагами наш славный Хорст Вессель перед своей геройской гибелью на мятежной баррикаде?

Франц — этот образцовый ученик — вскочил и без запинки отчеканил:

— Нацисты! Если красный выколет вам глаз, ослепите его! Если он вам выломает зуб, перервите ему глотку! Если он ранит вас, убейте

его, господин учитель! Так сказал наш великий герой перед тем, как погибнуть смертью мученика от руки красного предателя двадцать третьего февраля 1930 года в Берлине!

— Отлично! Вы вундеркинд! — проговорил несколько озадаченный учитель. — Впрочем, это и понятно, ведь вы, я вижу, гефольгшафтфюрер? Итак, челюсть за зуб, голову за око!..

— Между прочим, — шепотом проговорил сосед Петера по парте, — папа Плятшнер потому так свирепо бушует, что его супружеский рай дал трещину — он типичный подкаблучник, а фрау Плятшнер любит опекать старшеклассников. Теперь настала очередь нашего красавчика — вон он сидит за первой партой. Это Карл, сын полковника графа фон Рекнера!

Петер уже обратил внимание на этого парня с фигурой атлета и знаками различия гефольгшафт-фюрера. Фатовские полубаки и перстень с черепом, вид деланно томный и меланхолический.

— Не советую связываться с ним, — шептал сосед по парте, — первый боксер гимназии!

Петер еще в начале урока заметил, каким взглядом этот хлыщ Рекнер — он вошел последним, неся кондуит, — окинул его и Франца, с какой ревностью задержал он свой взгляд на знаках различия новеньких из Гамбурга. Впрочем, зря он опасается соперничества — в Виттенберге никто не даст Францу гефольг — отряд из ста пятидесяти членов «Гитлерюгенда», а ему, Петеру, как шарфюреру, под начало полсотни юных арийцев. Черт побери, в этих маленьких городишках куда труднее выдвинуться!

Во время перемены Петер и Франц держались вместе, подальше от других — дьявол их знает, какие выдумают они дурацкие испытания, Прежде чем согласятся принять гамбургцев в свою виттенбергскую компанию: у каждой гимназии свои неписанные законы посвящения новичков.

Второй урок — география. Учитель географии оказался совсем еще молодым человеком с огненно-рыжими волосами и с голосом фельдфебеля, муштрующего новобранцев на казарменном плацу. Поэтому, как часто заглядывал он в учебник Фрица Бреннеке и Пауля Гирлиха, было видно, что он не очень-то уверенно чувствует себя в своем предмете.

Сосед Петера по парте написал на промокашке: «Рыжий прислан к нам из Берлина взамен старика географа, который оказался государственным преступником и посажен в концлагерь...»

— Германская цивилизация, — шпарил почти сплошь по учебнику рыжий, — единственная чистая цивилизация мира, возникла две тысячи лет назад на северных землях, ныне известных как Швеция и Норвегия. Самые ценные элементы этой цивилизации обосновались на территории нынешнего рейха, а также помогли цивилизовать такие прежде дикие острова, как Британия и Ирландия, и земли галлов. Гордые викинги, воины и мореходы, открыли Америку задолго до Колумба. В средние века новые арийские народы нордического происхождения прогнали диких славян, потомков восточных варваров, а на востоке норманны-варяги открыли «путь из варяг в греки», стали княжить над предками русских... Только наш величайший в мире народ полностью сохранил расовую чистоту. В наших жилах бьется кровь древних викингов, воспевавших свои подвиги в бессмертных сагах. Но потомки викингов, поселившись в Нормандии, перемешались с туземцами и выродились. Однако под руководством фюрера мы вступаем в грандиозную эпоху воссоединения, чтобы вернуть себе исконно германские земли там, где развевались знамена великой германской империи Карла Великого!

Рыжий драматическим жестом ткнул перстом в карту Европы.

— Вам, юным немцам, предстоит историческая миссия — вы поможете фюреру вернуть рейху Эльзас и Лотарингию, Фландрию и Валлонию, Швейцарию и Люксембург, Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, Литву, Латвию и Эстонию. Во всех этих странах томятся немецкие национальные меньшинства. Мы уже вернули рейху Австрию и Судеты. Долг каждого немца — протянуть руку помощи угнетенным братьям. Пробьет час, и гениальный фюрер поведет нас в освободительный бой, и горе тому, кто попытается воспротивиться германскому оружию!

В классе стояла мертвая тишина. У многих воинственно горели глаза и сжимались кулаки. А Петеру казалось, что в этот момент, когда мороз волнения и восторга продирает по коже, он встретился глазами с самим фюрером. Ади — так они с Францем называли между собой Адольфа Гитлера — глядел прямо на Петера с портрета, висевшего над классной доской. Портрет изображал фюрера-полководца: на фоне

бури, устремив всевидящий суровый взор в грозовую даль, стоит Ади в развевающейся шинели. Темная прядь на хмуром лбу, тлеющие угли в глазах...

Мог ли Петер тогда думать, что и он, и Франц, и Карл станут новыми викингами и по трупам врагов великой Германии пронесут опаленные огнем боевые штандарты дивизии СС «Викинг» не только до Днепра, по которому плавали варяжские челны, но и до Волги и Терека!

— Помните, — продолжал рыжий, — к наши главные враги — коммунисты и евреи. Россия сегодня была бы величайшей угрозой, если бы в Германии не стоял у власти наш любимый вождь. Русские лишь наполовину цивилизованы. Азиатские орды, составляющие три четверти советского населения, не достигли еще уровня, который был достигнут нашими предками двести лет назад. Если бы Советский Союз только мог, он напал бы на Германию и попытался бы уничтожить нашу родину. Вот почему мы должны быть постоянно начеку. Наша мощь — залог нашей свободы, самого существования нашей нации.

И помните: знание рождает господ, невежество плодит рабов! Хайль Гитлер!

На второй перемене Петер и Франц спустились на нижний этаж, чтобы проведать младшего брата Петера. У Клауса был вид затравленного волчонка, под глазом у него светился фонарь, но держался он молодцом, как и подобало юнгершафтфюреру «Дойче юнгфольк» — в эту организацию входили юнцы от десяти до четырнадцати лет.

Клаус с гордостью показал брату задачу в учебнике, которую он в два счета решил на доске перед всем классом:

«Юнкере вылетает с грузом в двенадцать дюжин бомб, каждая весом в 10 кг. Самолет держит курс на Варшаву, центр мирового еврейства. Он бомбит этот город. При вылете с полной бомбовой нагрузкой и бензобаком, содержащим 1500 кг горючего, самолет весит 8 т. При возвращении самолета из своего крестового полета он все еще имеет 230 кг горючего. Каков собственный вес самолета?»

— А эти юнцы, — сказал с улыбкой Франц, когда приятели поднимались обратно по лестнице, — пожалуй, переплунут нас с тобой, потверже будут орешки. Я еще помню безыдейную, нудную арифметику со всякими яблочками, вагончиками и конфеточками...

На уроке истории речь шла о Версальском мире. На груди учителя поблескивал круглый партийный значок со свастикой, пестрела орденская ленточка «железного креста». В правый глаз ввинчен черный монокль. Когда учитель разволновался, проклиная предателей, воткнувших нож в спину героям фронтовикам», монокль упал и заболтался на черной ленте, а Петер и Франц вздрогнули, увидев вместо глаза зияющую красную рану. Сосед по парте чуть слышно выдохнул в ухо Петеру:

— Старый борец! Глаз ему вышибли в драке с тельмановцами...

Под конец урока одноглазый остановился перед Карлом фон Рекнером.

— Итак, суммирую. Первое. В чем, герр фон Рекнер, была причина мировой войны?

— Германия, — громко отвечал Карл, встав с достоинством, без излишней поспешности, — став мировой державой, внушала ужас международной еврейской плутократии, господин учитель!

— Второе. Плутократы-капиталисты каких держав попытались уничтожить нашу непобедимую родину?

— Плутократы Англии, Франции, Америки и России, господин учитель!

— Победили ли эти державы нашу родину?

— Никак нет, господин учитель! Нам воткнули нож в спину предатели, просочившиеся в правительство, и агентура большевиков...

— Как это могло случиться?

— Рейху недоставало в то время Адольфа Гитлера, господин учитель!

— В чем поклялся великий вождь нашей партии и канцлер новой Германии?

— Построить счастливый, демократический и свободный от евреев рейх, отомстить врагам Германии и вернуть незаконно отнятые земли, господин учитель!

Все это Петер уже проходил в Гамбурге — по новому учебнику профессора Дитриха.

— Помните! — закончил урок учитель истории. — История была любимым предметом Гитлера-гимназиста!

Не только фюрер, но и Петер любил историю. Ведь история Германии была историей войн: Тридцатилетняя война, Семилетняя война, поход 1864 года, война с Австрией, франко-германская война 1870–1871 годов, первая мировая война...

На уроке современной немецкой литературы хромоногий учитель, похожий на Геббельса, красноречиво, волнуясь, как школяр, рассказывал о новейших достижениях великогерманской литературы:

— Давно ли в ту памятную ночь перед зданием Берлинского университета я со своими друзьями-студентами жег на огромном костре крамольные книги евреев и еврействующих врагов народа — братьев Цвейгов и братьев Маннов, Ремарка и Фейхтвангера, Маркса и Эйнштейна, Джека Лондона и Уэллса, Пруста и Золя! И вот рассеялась копоть от наших факелов и ничто не омрачает лазурных небес новой литературы! В «очистительном пламени родилась новая эра», — так сказал в ту ночь Геббельс. Новая эра не только в литературе — во всей нашей культуре. Недавно я посетил в Мюнхене грандиозный Дом германской культуры. К его проекту приложил свою гениальную руку наш фюрер — гениальный художник, он самолично выбросил все декадентское, модернистское, даже пропорол носком сапога идиотские полотна подражателей Гроша и Кокошки, Матисса и Сезанна, Ван-Гога, Гогена и Пикассо — всего шесть тысяч пятьсот сорняков, считавшихся шедеврами. Наши художники должны показывать народу жизнь такой, какой она будет при полном торжестве нового порядка. Все, что противно этому порядку в нашей культуре, должно быть уничтожено. А сейчас мы перейдем к анализу романа Иосифа Геббельса и поэзии Бальдура фон Шираха...

После уроков состоялось собрание членов «Гитлерюгенда» — учеников трех старших классов. В зале, украшенном портретами Гитлера, Гимmlера и Бальдура фон Шираха, увешанном знаменами гитлеровской молодежи, Карл фон Рекнер докладывал о задачах молодежи в свете новых реформ в образовании.

Петер так устал за день, что только обрывки фраз доносились до его сознания:

— Всем нам надо чаще обращаться к непогрешимой звезде всей нашей педагогики — к бессмертному «Майн кампф»...» Не

интеллектуальное, а физическое развитие — вот наша цель... Как говорит фюрер, «этот новый рейх никому не отдаст свою молодежь...». Вся система образования должна быть перестроена по образцу СС... Все наши учителя принесли клятву верности Адольфу Гитлеру, но и черт может цитировать Библию. Наш долг — неусыпно следить за каждым беспартийным учителем и передавать свои донесения по инстанции... Все учителя пройдут курсы переподготовки с упором на расовую доктрину. Скоро мы избавимся от всех политических неблагонадежных, от тех, кто не служил в штурмовых отрядах, не отбывал трудовую повинность или не маршировал в наших рядах... Таковы требования рейхсминистра науки, образования и народной культуры, соратника нашего фюрера... Ныне Берлинским университетом управляет новый ректор — штурмовик. У народа господ — «херренфольк» — не может быть просто физики, просто математики, у нас будут немецкая физика, немецкая математика... Прекрасно сказал профессор Рудольф Томашек, директор Института физики в Дрездене: «Современная физика — это орудие мирового еврейства, направленное на уничтожение нордической науки, истинная физика — создание германского духа...» Необходимо объяснить нашей молодежи, что все величайшие создания и изобретения человеческого гения — это творения арийского и прежде всего нордического гения!.. Наши занятия по стрельбе необходимо проводить под лозунгом: «Каждый ученик должен одинаково хорошо владеть пером и винтовкой». В тридцать втором году нас, молодых гитлеровцев, было сто тысяч, сегодня нас семь миллионов, а завтра под наши штандарты встанет вся молодежь Германии и дружно скажет «Хайль!».

Когда смолк восторженный рев, Карл объявил собрание закрытым. Он подошел к одноклассникам и с надменно-нисходительной усмешкой поглядел на Петера и Франца.

— Меня спрашивают, как мы будем посвящать наших новичков. Некоторые предлагают сделать из них пару шницелей по-гамбургски. Так вот... Мы уже давно не пригостишки. Сегодня ночью я поведу отряд на штурм последнего еврейского оплота в городе. — Тут последовал новый взрыв восторга. — Сегодня ночью запыхают пожары во всем рейхе. В ответ на зверское убийство евреем германского дипломата в Париже^[1] состоятся, так сказать, стихийные

антисемитские демонстрации. Надеюсь, наши новички покажут себя с самой лучшей стороны. Мы наделаем шницелей из евреев! Но помните: можно бить, даже убивать по приказу, но нюрнбергские законы строжайше запрещают интимное общение с еврейками!

Весь вечер девятого ноября Петер нервничал, не находил себе места. Наконец-то настоящее дело! Может быть, евреи будут защищаться, стрелять... Потной от волнения рукой ощупывал Петер в кармане тяжелый кастет, подобранный им как-то после матросской драки у пивной в Гамбурге. То и дело поглядывал он на черные стрелки шварцвальдских часов в гостиной. С таинственным, мрачным видом ходил он по комнатам, провожаемый недоуменными взглядами родных. Он не отвечал на их тревожные расспросы, хотя ему не терпелось похвастать своим участием в надвигавшейся акции. Отец угрюмо слушал радио — в Мюнхене полным ходом шло празднование годовщины пивного путча, выступали Гитлер и Геринг.

После ужина в доме Нойманов разыгралась неожиданная драма. Петер не вытерпел, показал Клаусу кастет и сказал ему, закрыв дверь в спальне:

— Этой ночью мы рассчитаемся с евреями!

А Клаус, выудив у брата его тайну, взял да и открыл ее отцу, когда тот пришел поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи. Петер пришел из ванной в спальню и сразу понял по лицам отца и брата, что произошло. Отец медленно поднялся и с решительным видом двинулся в переднюю.

— Что ты задумал, отец? — похолодев, спросил Петер.

Отец, не отвечая, надел свой старый макинтош.

— Ты не посмеешь, отец! — бросился к нему Петер.

— Прочь с моей дороги, щенок! — крикнул отец и отшвырнул сына. — Сиди дома и никуда не выходи!

Хлопнув дверью, он ушел, а Петер схватился за голову. Что он наделал! Он выдал тайну, он предал товарищей! Надо быстрее бежать из дому, а то отец, предупредив о погроме знакомых евреев, вернется и запрет его, Петера, в спальне. Лучше всего пойти к Францу.

В полвторого ночи Петер и Франц присоединились к отряду «Гитлерюгенда» у гимназии имени Шиллера.

— Граббе! Пойдешь с ребятами на помощь штурмовикам — будете громить и жечь синагогу! — распоряжался фон Рекнер. —

Хейдте! Твой объект — магазин Гринблата. Витцлебен! Фабрика Левинсона! Остальных я поведу громить еврейские особняки.

И вот в тихом, сонном Виттенберге загремели выстрелы, запылали пожары, слышались крики и стоны избиваемых евреев. По улицам мчались полицейские машины, увозя в тюрьмы богатых евреев. При свете факелов и пожаров неузнаваемо страшны были распаленные лица разъяренных гитлерюгендовцев и штурмовиков. Обезумев, Петер ударом кастета разбил челюсть старому еврею и, вытаращив глаза, смотрел, как по седой бороде потекла кровь. Сын старика кинулся было на Петера, но Франц ловко набросил ему сзади удавку на шею и так стянул ее, что еврей замертво упал, высунув язык, на пол. В коридоре особняка Петер распахнул пинком дверь и застыл пораженный — перед ним стоял, точно загипнотизированный, с кинжалом в руке Карл фон Рекнер, а на кровати сидела полная молодая еврейка и, дрожа и всхлипывая, стаскивала через голову ночную рубашку.

— Закрой дверь, Нойман! — облизывая мокрые губы, проговорил Карл. — А тебе не снятся красотки с рубенсовскими формами? Мы не станем нарушать нюрнбергские законы. Мы только посмотрим...

Такого погрома еще не знала Германия. В ночь на 10 ноября запылали сотни синагог, толпы разгромили и разграбили около 8 тысяч еврейских лавок, разбили оконного стекла не меньше чем на 5 миллионов марок. Недаром история назвала ту ночь «Хрустальной ночью»... «Стихийно» было арестовано как раз столько состоятельных евреев, сколько могли вместить переполненные тюрьмы. Чтобы возместить убытки, понесенные страховыми компаниями, и другой ущерб, Герман Геринг предложил коллективно оштрафовать всех евреев на миллиард рейхсмарок и сострил: «Не хотел бы я быть ныне евреем в Германии!»

В этой варфоломеевской ночи Петер и Франц показали, чему их научила гамбургская улица. Виттенбержцы могли гордиться тем, что в их кирке Мартин Лютер объявил войну папе римскому, но эти провинциалы и понятия не имели об оружии портовых кабаков — таких, как шипастый кастет Петера или стальная удавка Франца. Только потом, летом сорок первого, вновь испытали они это ни с чем не сравнимое чувство, эту боевую горячку, когда сняты все заповеди, когда все позволено, как в диком набеге викингов...

Как и многие немецкие юноши того времени, Петер Нойман, чувствуя, что его страна и он сам находятся на пороге великих событий, решил увековечить эти события, а заодно и себя, в дневнике. Он писал:

«Сначала я хотел вывести красивой готической вязью на обложке: «История молодого немца и его века». Поразмыслив, решил, что это будет слишком претенциозно, и совсем отказался от заглавия.

Большинство учеников гимназии имени Шиллера ведут подробную запись всех своих действий и поступков. Прежде я считал это абсурдным занятием или, в лучшем случае, пустой тратой времени.

Теперь я передумал...

Мой отец смеется. По-видимому, он считает меня молокососом и дураком. Он никогда ничего не понимает. И вряд ли в своем возрасте он поумнеет... Он всегда был всем предельно недоволен, в нем много горечи и злости. Возможно, теперь, старея, он понял, что был и остался неудачником.

Мой дед работал почтальоном, у него было четверо детей, и потому мой отец не смог получить образования. В школу он почти не ходил, зарабатывая гроши на самой черной работе. Нищая карьера, скучнейшая жизнь, не жизнь, а тоскливое существование...

Никчемность отца вызвала во мне целый ряд комплексов. Сознавать, что твои приятели по своему общественному положению выше тебя — какое это страшное унижение!..»

Далее он писал о сестре Лене:

«Лене восемнадцать лет, она на год старше меня. У нее белокурые волосы, смазливое маленькое трехугольное лицо, фигура, как говорится, со всеми основными данными и вдобавок ко всем своим прелестям такой очаровательно стержневой характер, какого я не встречал...»

— А помнишь, Петер, как ты стал гефольгшафт-фюрером?

...Семейная ссора у Нойманов началась, как всегда, с пустяка. Отец пришел в ярость, обнаружив, что его восемнадцатилетняя дочь Лена произвела чистку его любимых пластинок и вдребезги разбила все пластинки Мендельсона и любимую хоровую песню отца — «Песню о Лорелей».

— Еврей он, твой Мендельсон! — заявила отцу Лена, причесываясь у зеркала. — А слова «Лорелей» написал тоже еврей — Генрих Гейне. Такие песни не для немецких ушей!

— А вот сейчас я оборву твои немецкие уши!

— Попробуй только! Все узнают, что ты защищаешь евреев!

— Боже мой! — схватился за голову отец. — А говорят, дети — радость нашей жизни! Хорошенькая радость — ты только посмотри на них, мать! Что эти люди сделали с нашими детьми! Старший сын водит дружбу с бандитами и хулиганами, младший вылавливает на улицах этих несчастных, если они посмели, видите ли, выйти без желтой звезды, а дочь шляется с убийцей!

— Это кого ты называешь убийцей? — вскочила с перекошенным лицом Лена.

Она была очень эффектна в форме Союза германских девушек.

— Ты потише, отец! — глухим баском проворчал Петер, переглянувшись с нахохлившимся Клаусом. Как все, они стыдились своего вечно брюзжавшего, несознательного отца-неудачника, этого продукта допотопной Германии.

— В самом деле, — робко вставила Мутти, — ведь до фюрера ты был безработным, а теперь можешь купить путевку хоть в Италию в организации «Сила через радость»...

— Все вы за чечевичную похлебку этому богемскому ефрейтору продались!

— Нет, — кричала Лена, — ты скажи, скажи, кто убийца!

— Да Генрих твой! Мне все про него рассказали — его же дружки из эсэсовской казармы. Героем его считают, блестящее будущее ему пророчат! Знаю я этих героев — мало они перебили народу в мировой войне!

— Вот видишь! Он герой, а ты его...

— Убийца твой Генрих. Детоубийца! Два года назад он участвовал в погроме в Алленштейне, в Восточной Пруссии. Тогда твой кавалер был еще только обершарфюрером. Это было в Алленштейне июльской ночью. За то, что еврей-рабочие посмели протестовать против незаконного увольнения... До утра шла облава — эсэсовцы хватили людей и увозили их на машинах в Шнайдемюль — в концлагерь! Превыше всех отличился твой Генрих, он больше всех перебил из автомата... при попытке к бегству... детей!..

Отец зашатался, тяжело задышал, лицо его стало темно-багровым. К нему бросилась Мутти, на ходу вытирая распаренные, морщинистые после стирки руки. Он отстранил ее.

Лена расхохоталась насмешливо и жестко.

— Ну и что ж! Все это я давно знала. Верно, за этот подвиг Генриха сделали гауптшарфюрером, а еще через месяц — унтерштурмфюрером.

— Подвиг? Ты знала и все-таки...

— Ты забыл самое главное, забыл, что Генрих имел дело с евреями, польскими евреями...

— Он имел дело с детьми!

— С выродками врагов Германии! Мой жених...

— Какой он тебе жених! Не хочешь ли ты затребовать братьев и сестер его жертв, чтобы они несли шлейф твоего подвенечного платья? Не позволю, прокляну!.. Прокляну своим отцовским проклятием!

— Замолчи! — истерично взвизгнула Лена. — Замолчи, или я заставлю тебя замолчать!

В гнетущей тишине, наступившей после этих слов, долго, казалось, не замирало эхо. Со стены смотрел фюрер, смотрел грозно и выжидательно.

Отец медленно, тяжелыми шагами подошел почти вплотную к Лене и ударил ее по щеке.

В глазах Лены зажглось холодное пламя. С ненавистью посмотрела она на отца. Потом презрительно скривила губы, взглянула на себя в зеркало и молча вышла из комнаты.

Петер вспомнил недавнюю лекцию унтербаннфюрера «Гитлерюгенда»: «Будьте тверды, как круповская сталь! Вы принадлежите не отцу с матерью, а фюреру!»

И еще он вспомнил кафедральное величие и тишину покоев графов фон Рекнеров. Величественный полковник граф фон Рекнер, его не менее величественная супруга. И кругом — сабли на стенах, гобелены, рыцарские доспехи, пушечные ядра, ордена... А главное — кафедральное величие, дворцово-музейная тишина. Истинно немецкий дом, настоящая немецкая семья, не то что у Нойманов!..

— А Лена права, — сказал Петер. — Тебе, отец, не поздоровится, если ты будешь так распускать язык. Если ты не понимаешь, что

подвергаешь всех нас опасности, то нам придется самим о себе позаботиться...

Отец дико взглянул на Петера и вдруг охватил голову руками и повалился на стол. Никогда прежде не видел Петер, чтобы его отец рыдал, как баба. Мутти стала утешать его, а Петер закурил и увел из столовой Клауса.

А через час Лена вернулась. Она привела с собой своего жениха Генриха Грисслинга. Собственно, это он, унтерштурмфюрер Грисслинг, привел Лену. Он вошел первым, прямой, с квадратным лицом, худой и высокий, в отлично сшитой черной форме СС. На обшлагах мундира — лента с вышитой серебряной вязью готической надписью: «Лейбштандарт АГ» — «Полк Адольфа Гитлера» — знаменитый полк СС личной охраны фюрера. Ни слова не говоря, не снимая черной фуражки с высокой тульей и лакированным козырьком, он бесцеремонно сел за стол, не спеша закурил.

Сидя на диване, Петер опустил на колени книгу Розенберга «Миф двадцатого века», по которой он готовился к экзаменам, и с интересом наблюдал за этой сценой.

Отец, растерянный, с покрасневшими глазами, выглядел таким сморчком перед бравым эсэсовцем. Папа Нойман делал вид, что читает газету, игнорируя эсэсовца, молча осуждая невообразимое нахальство незваного гостя, но глаза его глядели сквозь запотевшие очки в одну точку, а на лбу выступил пот. Грисслинг — в эту минуту он был воплощением не нахальства, а наглой, уверенной в себе силы — преспокойно взял у отца из рук номер «Фолькишер беобахтер» и небрежно бросил ее на стол. Затем он достал золотой портсигар, щелкнул тяжелой золотой зажигалкой. В напряженной тишине было слышно, как тикают на стене шварцвальдские часы. Петер вспомнил, что видел похожую зажигалку на столе в гостиной еврейского дома во время ночного погрома, но он не посмел сунуть ее в карман — отец все уши ему прожужжал проповедями на тему «Не укради». Зато кто-то из ребят школы имени Шиллера не постеснялся нарушить эту устаревшую заповедь и прикарманил зажигалку.

Грисслинг мастерски выпустил несколько колечек дыма в лицо хозяина дома и заговорил ледяным тоном:

— Господин Нойман. Три месяца назад мне понравилась ваша дочь, а ваша дочь, естественно, влюбилась в меня. Три месяца назад я

взвесил все положительные и отрицательные качества вашей дочери Лены Нойман и пришел к трем выводам. Первый: положительные качества фройляйн, как физические, так и моральные, несколько перевешивают качества отрицательные. Второй: наш брак будет вполне соответствовать расово-этическим требованиям национал-социализма. Третий: мы оба видим свой патриотический долг в увеличении статистики рождаемости. Точка. На этом основании я пришел к вам и заявил, что имею честь просить руки вашей дочери. Вы просили меня дать вам время подумать — я согласился. Вы захотели побольше узнать обо мне и стали шпионить за мной, хотя любому болвану, если он только умеет читать, по этой надписи на моем рукаве видно, что я состою в личной охране фюрера. Точка. Ваша дочь — хорошая немка, и сын ваш Петер — хороший немец, а вы, герр Нойман, плохой немец. Час назад вы оскорбили дочь, меня и самого фюрера. Моему начальству на Потсдамерштрассе будет небезынтересно узнать, что вы, герр Нойман, умолчали в анкетах о своей принадлежности к Красному фронту и о своем участии в коммунистических волынках 1932 года.

Отец медленно повернул голову в сторону Лены. Их глаза встретились. Во взгляде отца — боль, страх и горечь. Потом Петер видел такие глаза у тяжелораненых. А в непреклонных глазах Лены светилось тупое торжество. Мутти сидела ни жива ни мертва.

— Ближе к делу, — вдруг твердо сказал отец. — Что вы хотите?

Петер смотрел на эсэсовца с невольным восхищением: вот это апломб, вот это сила!

Грисслинг энергичным движением затушил сигарету в пепельнице.

— Мне не очень-то хочется стать зятем государственного преступника. Мы можем уладить это дельце по-семейному...

Отец, положил на стол крепко сжатый кулак. — Никогда, никогда, слышите вы, не отдам я вам дочь! Пока я жив...

— Пока вы живы, — недобро усмехнулся Грисслинг, поднимаясь. — Пока вы живы. Хайль Гитлер! Точка.

Он вышел, стуча коваными каблуками. И Лена заспешила за ним. А Мутти, глупая, старая Мутти, кинулась вдруг к отцу, обняла его, зарыдала...

— Иисус-Мария! Они предали отца! И это наши дети...

Через три дня в полночь двое штатских в черных кожаных пальто постучали в дверь. Передний показал Петеру металлический жетон на блестящей цепочке. Тайная государственная полиция — гестапо! Судорожно зевая, отец обнял Мутти — на нее словно столбняк напал. Потом он подошел к кровати Клауса, но тот отпрянул от отца, отвернулся от него к стене. Тогда отец опустил голову и молча прошел мимо Петера и Лены, сутулый и постаревший...

Той же ночью Петер записал в дневнике:

«Каждый сознательный немец знает, что евреи и коммунисты могут принести нам только разруху и загнивание и в конечном счете гибель нашего германского наследия.

Только неполноценные народы, оболваненные идиотской пропагандой, могут возмущаться нашей преданностью фюреру, как уродливым и ненормальным явлением. Фюрер вернул нам нашу веру в великую Германию и в лучшее будущее. Только дегенераты могут удивляться нашей любви и нашему доверию, нашей решимости следовать за ним и помогать ему быстрее листать страницы истории, чтобы насладиться результатами еще при жизни нашего поколения.

Нет, я ни за что не хочу верить, что мой отец был прав.

Возможно, он только ошибался. Но в самых важных делах никому не позволено ошибаться. Он должен понести справедливое наказание за свою глупость и ошибки. Порой бывает трудно так думать о людях, которые произвели тебя на этот свет, но я считаю, что самое главное для человека — это победа национал-социализма...»

Как на грех, арест отца совпал с выпускными экзаменами. А вдруг выпрут за отца из гимназии? А вдруг погонят из «Гитлерюгенда»? Франц, Карл и все уедут в летние лагеря, а он, Петер, опозоренный и обреченный, окажется за бортом жизни?

Но унтерштурмфюрер СС Генрих Грисслинг не подвел своих будущих родственников, объяснил кому нужно, что он не смог бы разоблачить Фридриха Ноймана, арестованного по обвинению в измене родине и в помощи врагу, без активного содействия всех членов его семьи, а в особенности фройляйн Лены Нойман и Петера Ноймана.

Все страхи Петера рассеялись, когда Карл фон Рекнер доверительно и не без хвастовства сообщил Петеру, что его, Карла, донесение о гражданском подвиге Петера, пройдя все инстанции

«Гитлерюгенда», одобрено в самом Берлине! А через неделю после выпускного бала, уже в летних лагерях, на живописной поляне в лесу под Урфельдом, состоялась торжественная церемония присвоения Петеру Нойману звания гефольгшафтфюрера. Теперь он уже жалел, что позволил сестре быть главной героиней разоблачения врага фюрера и рейха...

Праздновали в кабачке в Урфельде, на берегу альпийского озера Вальхен и так надрались пльзеньского пива — за счет Петера, разумеется, — что вся троица — Петер, Франц и Карл — лишь с большим трудом пробралась незамеченной после отбоя в лагерь.

3. Перед бурей

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим.

Юлиус Фучик



Шурган. Черная буря. Так жители Сальских и калмыцких степей называют буран, когда шквальный ветер несет снег вперемешку с колючей темной пылью, когда эта пыль слепит глаза и забивает нос и рот. Тогда гибнут кони в табунах, падает скот в улусах, тогда недалеко до лютой беды и человеку, застигнутому в бескрайней степи, вдали от казачьих станиц и калмыцких юрт. Ослепленный, тычется он из стороны в сторону, трет воспаленные, слезящиеся глаза, напрасно зовет криком на помощь. Но нет хуже черной бури, налетающей ночью да еще в декабрьскую стужу. Тогда мечется путник, сбившись с дороги, топчется, пытаясь нащупать ногами наезженный путь, но

скоро закружит его буря в кипящей пучине, свалит, обессиленного, с ног, и поутру, когда утихнет лихая круговерть и на застывшие снега ляжет розовый отблеск зари, разве только степной орел заметит едва приметный сугроб, припорошенный, как снег сажой у железнодорожного полотна, черно-бурым прахом.

Партизаны спотыкались, падали, терли слезящиеся глаза. В бурлящей, черной круговерти легко было отбиться, отстать от группы.

— Что будем делать, комиссар? — закричал командир группы Леонид Черняховский.

— Пусть все возьмутся за руки! — ответил Максимыч. — Без паники! Идти гуськом. Впереди пойду я с компасом!..

Так они и шли, взявшись крепко за руки, падая и поднимая друг друга. Шли, пряча лицо от пыли, снега и обжигающего ветра, закрыв глаза. А впереди шел комиссар, видя только колеблющуюся бледную стрелку компаса. Минут через десять пыль засыпала ему глаза, и его сменил командир. Но вскоре и у командира намерзли слезы на щеках, и на смену ему пришел Володя Солдатов, а Володю сменил Паша Васильев. Так они и шли, тянули друг друга, и слабый повисал на сильном. Шли, как бурлаки ходили на Волге. Шли, как ходят альпинисты, только связывал их накрепко незримый канат.

Временами Володя Анастасиади забывался, дремал на ходу. И тогда, в эти долгие минуты полузатмения, он переносился далеко-далеко от этой гиблой степи и черной бури.

...Нет на свете города чудеснее Одессы! Володя считал себя счастливым — ведь он родился в Одессе, и все ранние воспоминания детства были у него озарены Одессой, ее особым воздухом, ее ласковым морем и веселым солнцем. Его отец — грек Фемистокл Христофорович — был коренной одессит, мама тоже была одесситкой, и куда бы потом ни забрасывало семью — в Харьков, Харцизск, Фастов, — всюду возили они с собой Одессу: одесский картавый говорок, лукавую смешинку в глазах и широкую улыбку. Только до третьего класса и прожил он в Одессе, но лучезарную память о ней, расцвеченную живым воображением, берег, как святыню, и в душе у него не умолкал шум прибоя, и не остывала ребячески острая привязанность к тому месту, где он начал открывать мир. Перед сном, закрыв глаза, с блаженной улыбкой, он подолгу предавался воспоминаниям, вызывая в памяти немеркнущие любимые

картины. Вот, болтая загорелыми босыми ногами, сидит на пирсе пятилетний шкет Володька. В руках — удочка, а неподалеку волна качает шаланду, и на облупившейся красной корме ее — чудо из чудес! — зайчиками играют блики, отражаемые солнечной рябью. Как будто ничего особенного и нет в этой картине, но Володя много лет почему-то был убежден, что он один видит эти блики так же, как волшебную радугу в луже с нефтью, пролитой в доках. Пустяковое вроде воспоминание, а не выбросишь из сердца.

Или другое воспоминание. Володьке праздник — ему купили в универмаге матросский костюмчик. Жалко, конечно, что штаны до колен, зато бескозырка с лентами вполне настоящая и золотая надпись на ней. — «Герой»! Подумать только — с тех пор прошло десять лет!

Странно, что отец, чистокровный одесский грек, остался глухим к зову моря. Ведь для молодого слесаря джутовой фабрики в те годы, когда страна села за парту, открылись все пути. А он, повернувшись широкой спиной к алым парусам и морским волкам, пошел на механический факультет комбината рабочего образования и стал инженером-механиком по трубам.

Володе было десять лет, когда отец принес домой свежий номер «Правды». «Вот как надо работать, — сказал он, — если мы не хотим ударить лицом в грязь перед Европой!» С газетного листа улыбался забойщик Алексей Стаханов.

Отец был беспартийным, но всегда говорил «мы», обстоятельно разъясняя жене за ужином «текущий момент».

Хоть и жалко было расставаться с Одессой, но счастливчику Володьке опять крупно повезло — он не сидел на месте, повидал пол-Украины, дышал наэлектризованным воздухом первых пятилеток, полюбил самый запах железных дорог, новоселья и прощания. И особенно любил он ходить в клуб или театр и сидеть с отцом на креслах с табличкой: «Только для ударников». А в Одессу он еще обязательно попадет — вот здорово, если придется ему принять участие в освобождении родного города! Может, повезет, и он встретит на той улице под каштанами закадычных приятелей Тольку Косого и Славку Длинного — ведь он счастливчик.

Идут ребята по этой треклятой степи, и только он да еще командир знают, как велики и величавы Брянские леса, как глухи и таинственны их глубинные урочища. Вот бы где партизанить группе

Черняховского! Целый год прожил Володя под Брянском, ловил рыбу в зачарованных плесах Десны, собирал грибы в ее тенистых уремах, зимой носился с крутых холмов на лыжах. В тридцать девятом, за два года до войны, Володя приехал в Москву. Он уже окончил семилетку, хотя аттестат не любил показывать — сказались вечные переезды. В последнем школьном сочинении «Кем я хочу быть» Володя мечтал о «мореходке», но отец поставил на своем — отдал в сельскохозяйственное училище. «Призовут — пойду на флот!» — решил будущий мореплаватель.

Агрономия не увлекала его. Манили Москва, Кремль и Третьяковка, метро и аттракционы в парке Горького. А дома — они поселились в Бирюлеве — будущий агроном-семеновод зачитывался Станюковичем, Конрадом и Лондоном или самозабвенно мастерил модели кораблей. Он неплохо рисовал с натуры, перерисовывал портреты челюскинцев, героев-летчиков, редактировал в техникуме стенгазету. Не хватало времени для спорта, а товарищи по техникуму тянули его в художественную самодеятельность. Мучительно краснея на сцене, он пел под баян «Раскинулось море широко», «Орленка» и, конечно, песни об Одессе. После областной олимпиады ему даже всерьез предлагали учиться пению, но он мечтал не о сольфеджио, а о соленом бризе.

В последнюю предвоенную зиму он сломал «ногу, прыгая на лыжах с трамплина, но уже весной несколько раз туда и обратно, шутя, переплывал кролем Москву-реку. Самым первым в классе нацепил он на грудь значки «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стрелок».

Отец часто бранил его. Старик — ему не было и сорока в канун войны — любил поворчать: «Вечно ты разбрасываешься! Крутишься без руля, без ветрил. Человек должен в жизни свой точный курс иметь. Займись, говорю, агрономией. Балует тебя мать. Да я в твои годы...»

Мама не соглашалась: «Ну что мы с тобой в молодости видели хорошего! По двенадцать годков нам было, когда началась германская война. И пропала молодость. Потом гражданская, голод, разруха. Только десяток лет как передохнули немного. Пусть Вовочка побольше увидит хорошего в жизни, а остепениться успеет». Но последнее слово должно было остаться за отцом.

Когда в техникуме комсорг спросил Володю, почему он не вступает в комсомол, он удивился:

— Так я ж ничем не проявил себя!

— Поступишь — проявишь, — усмехнулся комсорг. — И на флот легче будет попасть.

— За льготами не гонюсь! — отрезал Володя. И перестал разговаривать с комсоргом.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..» Володе стыдно было вспомнить, как дурачки обрадовался он войне. Мать плакала, отец ходил мрачнее тучи, а он с мальчишками шумел:

— Ура! Разобьем в два счета фашистов на их собственной территории!

Самые отчаянные ребята в техникуме сели писать заявление в военкомат, гурьбой отправились туда, но в райвоенкомате заявления приняли только у старшекурсников двадцать третьего года рождения, а всем, кто моложе, наказали отличной учебой выполнять свой долг перед Родиной, и разобиженные ребята уже поредевшей гурьбой двинулись во главе с комсоргом в райком комсомола. Пошел и Володя, молча ругая себя за то, что все откладывал, откладывал и вот оказался совершенно беспартийным в военное время. Здание райкома было забито возбужденными ребятами и девочками со всего района. Часа три понадобилось Володе и его товарищам, чтобы пробиться к секретарю, зато как забилось у всех сердце, когда усталый, вконец измотанный секретарь спросил:

— Готовы на любое дело?

— Так точно! — выпалил комсорг.

Секретарь посмотрел сквозь очки в бумажку и отправил всех кандидатов в герои расчищать хлам во дворе какого-то жилого дома, жильцы которого мало беспокоились о пожарной безопасности.

Какие-то местные парни, сунув в брюки руки, потешались над ребятами из техникума: — Во дурни! Во пораженцы и паникеры! Они думают, будто германец до Москвы долетит! Да в народе говорят, что наши уже к Варшаве подходят, Берлин тот в пух разбомбили. Да ладно, пушай золотари бесплатно двор приберут, мы их за героизм при взятии помойки орденом «Юный дворник» наградим!

Володя не любил драк. Он и прежде уклонялся от потасовок, порой даже терпел побои, приходил домой с разбитой губой, с синяком

под глазом. Отец не раз говорил ему: «Дай сдачи!» — «У меня больно рука тяжелая», — смущенно отвечал Володя, исподлобья поглядывая на расхोдившегося Фемистокла Христофоровича. В нем, в Володе, тоже текла горячая южная кровь, кровь героев Эллады, и он боялся разойтись и зашибить драчуна. Рос Володя не по годам высоким, плечистым, смуглолицым парнем с железными бицепсами и богатырской грудью.

А подрасться все же пришлось. Техникумовские не снесли оскорблений и атаковали дворовых задир. Те свистнули — невесть откуда подоспело пополнение, и Володе пришлось выручать своих. Так в первый день войны получил счастливчик два ранения — пропорол ногу гвоздем, когда доски таскали, и заработал «фингал» под глазом.

В последующие дни разобрали еще несколько захламленных дворов, а потом стала редеть группа комсомольцев-добровольцев — ну, романтичное ли это дело, на задворках всякий мусор убирать! Сбежал и Володька — в райкоме обещали дело поинтереснее.

Но когда ребята из техникума отправились под Рославль на окопы, где до сентября впроголодь по двенадцать часов в сутки копали они эскарпы и траншеи, отец сказал свое непреклонное «нет». И мама тоже ни в какую не соглашалась отпустить единственного сына.

— Как же так?! — возмутился Володя. — Вы сами работаете теперь на большом заводе — помогаете фронту. Вы же сами все время говорили, что каждый гражданин...

— А ты еще не гражданин, — прервала его мама, — у тебя даже паспорта еще нет!

— Молоко на губах не обсохло! — крикнул отец.

Володя ни слова не сказал родителям о заявлении в военкомат, но от них нельзя было скрыть, что он вступил в противопожарную бригаду при домоуправлении. Надев брезентовый капюшон с прорезями для глаз и брезентовые рукавицы, учился орудовать баграми, топором и щипцами, которыми надо было подхватить зажигательную бомбу и сунуть ее в бочку с песком. Он и его сверстники много смеялись — в капюшонах они были похожи на инквизиторов или куклуксклановцев. С азартом рыли щели на пустыре, но в бомбежку никто не верил.

И вдруг в ночь на 22 июля, через месяц после начала войны, неземным воем завывали сирены и гудки паровозов над ночной Москвой. «Граждане, воздушная тревога!..» — трижды пророкотал бесстрастный голос в раструбах громкоговорителей. Володе не повезло — он не дежурил в ту ночь, но все равно улизнул от родителей — они заспешили в укрытие — и забрался на крышу. Как назло, немецкие самолеты летели мимо, западнее. Их совсем не было видно. Зато хорошо видны были гроздья ракет, пунктиры трассирующих. Мальчишки на крыше бесновались пуще, чем на футбольном матче, взбудораженные невиданной картиной бомбежки. Такого величественного и зловещего фейерверка они и в кино не видели. Было совсем не страшно, ребята жалели, что так и не удалось отличиться, и только на следующее утро, когда по Москве поползли слухи о человеческих жертвах, о пожаре на заводе, Володя устыдился и призадумался... И незаживающую царапину оставила в душе главная мысль: «Как же так? Говорили, будем бить врага на его территории, а тут эти «юнкерсы» Москву бомбят!..»

Уже столько раз перечерчивал Володя линию фронта в школьном атласе! За красной чертой оставалась вся Прибалтика, Белоруссия, плохо на Украине, под угрозой родная Одесса. И с каждым днем с возмущающей душу неотвратимостью враг приближался к Москве, и почти каждую ночь в одиннадцать часов раздавался над ней воющий гул «юнкерсов» и «хейнкелей».

В сентябре, к неопишуемой радости Володи, в техникуме объявили, что учебы не будет и все курсы отправляются в подмосковный совхоз собирать урожай. Перед отъездом Володя долго ходил по Москве, прощался с ней. У столицы был боевой суровый вид. Как красноармеец на фронте, она надела маскировочный халат — Красная площадь, Кремль, Мавзолей были замаскированы, расписаны малярами с таким расчетом, чтобы фашистские летчики потеряли ориентировку и не обнаружили центра города. Театры на площади Свердлова, казалось, вывесили для просушки декорации какого-то провинциального городка для чеховского спектакля — на огромных полотнищах декораторы изобразили неведомые улочки, переулки и дома. Там, где в большие праздники Володя глазел на войска, принимавшие участие в военном параде, он вновь увидел пехоту, танки и пушки, но выглядели они совсем не парадно. И там, где текли,

бывало, веселые и красочные потоки демонстрантов, без музыки, нестройно и невесело тянулась колонна ополченцев. Володе и в голову не приходило, что многим, очень многим из этих ополченцев и красноармейцев, спешивших на Западный фронт под Вязьму и Ельню, не суждено вернуться.

Володя шел мимо забитых тесом витрин на улице Горького, мимо белых стрел на стенах, указывавших дорогу в бомбоубежище, мимо отряда девушек-зенитчиц. Ему захотелось поесть — с утра не ел. Он побряцал мелочью в кармане и подошел к не слишком длинной очереди у ресторана «Метрополь».

— Кто крайний? Что тут дают? — спросил он.

— По тарелке манной каши, — ответил «крайний», похожий на профессора старичок. — Будете стоять?

Получив утвердительный ответ, старичок достал из-за уха чернильный карандаш и, помусолив конец, вывел на ладони Володи три цифры — 356.

— Это номер вашей очереди, молодой человек! Если хотите уйти, то советую вернуться не позже чем через два часа, а то очередь пропустите.

В очереди какие-то парни немного старше Володи договаривались:

— Пива можно выпить в «Центральном» кинотеатре. Да на билеты не хватит...

— Пойдем лучше в Сандуновские бани — там бархатное пиво бывает. И в бассейне поплаваем!

И парни двинулись к баням, а старичок крикнул км вслед:

— Только не смойте номера, а то очередь пропадет!..

В совхозе Володе понравилось. Что из того, что вначале, дня два-три, все тело болело! Окрепили мускулы, зажили мозоли на руках. Быстро привык Володя к осеннему холоду и сырости. По утрам обливался ледяной водой из колодца. Пил вволю — не то что в Москве — молоко с теплым деревенским хлебом. Володя любил похвастать силой. И под проливным дождем ему удавалось накопать тринадцать мешков картошки — целую чертову дюжину! Его избрали бригадиром. Бригадир из него вышел, правда, неважный — уж больно он стеснялся девчат. Особенно избегал кокетливую и болтливую Майку, которая больше языком чесала, чем работала.

— Эй, бригадир! Пожар! Пожар! — закричала она однажды в поле.

— Где пожар? — испугался Володя, выронив мешок с картошкой.

— Здесь пожар! — Майка театрально прижимала руки к сердцу. — И все из-за тебя, Аполлон!

С легкой Майкиной руки девчата звали Володю Аполлоном не только потому, что знали о его греческой крови, а еще и потому, что он, по их твердому убеждению, походил фигурой и даже лицом на греческого бога. Не одна только бедовая Майка заглядывалась на Аполлона, но тот мучительно краснел в ответ на заигрывания и, точно герой производственного романа, упрямо переводил разговор на выполнение плана.

Что больше всего нравилось Володе в совхозе — так это жизнь в молодом веселом коллективе, дружба с ребятами, соперничество в поле с самыми известными силачами техникума, песни и разговоры в темноте до полуночи. Ребята лежали в большой избе, дурачились, рассказывали были и небылицы, мечтали вслух, и никакие Майки не отравляли Володе жизнь.

В начале октября Майка схватила воспаление легких. Когда ее увозили в Москву, она попросила позвать Аполлона и с глаза на глаз сказала ему:

— А ведь я правду говорила про пожар. Так и знай. На адресок — может, черкнешь.

И сунула ему бумажку со своим московским адресом.

Когда он вышел от Майки, девчата обступили Володю с расспросами.

— Бредит! — сказал он, отирая пот со лба.

И незаметно выбросил бумажку с адресом этой малохольной Майки.

Каждое утро и каждый вечер ребята слушали по радио в совхозной конторе последние известия. Каждый день радио рассказывало о подвигах пехотинцев, артиллеристов, лупивших немцев, летчиков, но фронт почему-то подходил все ближе и ближе к Москве. В начале октября наши войска оставили Орел.

Пятнадцатого октября, в последний день Володиной работы в совхозе, хмурые красноармейцы на станции говорили между собой о захвате немцем Калинина. Володю подмывало пристать к этой

команде, поехать с ними на фронт, да надо было отвезти маме картошку.

Мать Володи, Александра Ивановна, услышав стук в дверь, метнулась к двери. Так стучал только Володя!

Увидев сына, она повисла у него на шее, потом повела в комнату и сквозь слезы пыталась получше рассмотреть Володю. Боже! Какой он стал высокий и крепкий! Отца перерос! Куда девалась прежняя мальчишеская округлость щек, ребячья припухлость губ! Но до чего же он весь грязный и оборванный, на ногах какие-то опорки! А баня с прошлой недели не работает... И вид у него голодный!

— Раздевайся, Вовочка, раздевайся, милый! Я тебе воды согрею, обед сготовлю...

— Я вам тут вот привез... — пробасил Володя, развязывая совхозный мешок. — Премировали! Больше двух пудов, мама, еле донес!

— Картошка! — всплеснула руками мать. — Да куда ж мы ее денем!

— Как куда?! Есть будем, конечно!

— Да уезжаем мы, Вовочка, из Москвы, с заводом уезжаем! Я уж хотела папу за тобой в совхоз посылать...

Володя наотрез отказался:

— Я никуда не поеду. У нас все ребята на фронт собрались! Немец на Москву идет, тут каждый человек во как нужен!

— Вовочка! Сыночек мой единственный!

Мать опять в слезы. Но поздно вечером пришел отец, поцеловал сына в лоб и сказал:

— А я ночью хотел за тобой ехать. Собирайся, сын, в Саранск! И чтобы никаких разговоров! Мать в могилу загонишь!

Через несколько дней «пятьсот веселый» — так называли ужасно медленные составы с эвакуированными — доставил семью Анастасиади в Саранск. Мать непременно хотела, чтобы сын продолжал учебу.

— Отец твой инженером стал, я была уборщицей — на чертежницу выучилась!..

Но тут Володя показал отцовский характер.

— Я работать пойду. Не время учиться.

— Ладно! — согласился отец. — Я тебя на свой завод устрою.

— Не пойду. Я не сын Форда, чтобы работать на заводе отца! Не хочу, чтобы на меня каждый смотрел как на сына главного инженера.

Он устроился без всякой протекции учеником токаря в железнодорожные мастерские, получил рабочую карточку второй категории, подружился с токарями, русскими и мордвинами, стал тайком от матери и отца свертывать козьи ножки из крепчайшей саранской махорки.

Токарному делу он учился прилежно, но мастер относился к нему подозрительно:

— Знаю я этих ученичков! Как ты их ни учи, какой разряд ни дай, а они все в военкомат бегают!

Немцев крепко ударили под Москвой, гнали их все дальше на запад. Володя знал наизусть, сколько Красная Армия фашистских дивизий разбила, сколько пленных взяла. Дома он все считал дни до получения паспорта и прилежнее Александра Македонского вычерчивал линию фронта.

Новенький, пахнувший клеем, паспорт он получил в один день с получкой. В тот январский день Левитан торжественно, сдерживая радостное волнение, читал сводку об освобождении нашими войсками Торопца и Можайска. Приятели в мастерской уговорили Володю сбегать за «полмитрием» — таков порядок, мол, таков закон. Ох, и влетело же Володьке от отца!

В середине января пришла радостная весть: завод отца переводят обратно в Москву! Наверное, никто этому известию не обрадовался так, как Володя. Но потом он призадумался. Еще больше, чем возвращения в Москву, жаждал он независимости. До призыва еще далеко, а в Москве никак не удастся уйти из-под отцовской опеки.

И он сказал отцу:

— Я не еду в Москву. Я на работе. Мне скоро должны разряд присвоить. Жить буду в общежитии.

Сказал тихо, но с такой твердостью, что отец сдержал себя, внимательно взглянул на него и, помолчав, почему-то печально сказал, обращаясь к матери:

— Вот и подрос наш сын!

Володя проводил на вокзал плачущую мать, едва удержался, чтобы в последнюю минуту, когда прогудел паровозный гудок, не прыгнуть в вагон. Он долго махал вслед и ушел с перрона только тогда,

когда скрылся вдали последний вагон и растаял над станцией дым. Дым, от которого так щипало Володины глаза.

Несколько ночей он ночевал в бараке у знакомого токаря — общежития у мастерских не было. Пришлось искать работу с общежитием. Это удалось только через неделю — Володя завербовался разнорабочим в Астраханский мостотрест № 84 и выехал туда по железной дороге с шумной ватагой молодых рабочих — строителей первого, временного моста через Волгу.

Володя вновь чувствовал себя счастливым: совершенно самостоятельным рабочим человеком, с паспортом и пропиской в общежитии в кармане, с рабочей карточкой, по которой ему полагалось пятьсот граммов хлеба в день. Позванивая мелочью, бродил он по незнакомому городу. Он успел осмотреть и кремль, и порт, и все прочие астраханские достопримечательности и в военкомат наведаться. А вот поработать не успел.

Однажды — это было в самом конце января — он пришел после работы в переполненное, тесное общежитие, усталый и разбитый. Уже с неделю ему нездоровилось. Он не стал ужинать — его воротило от одного запаха ухи из мороженой рыбы. Раскалывалась голова, перед глазами плыли светящиеся круги спирали. Ребята — он еще не успел толком с ними познакомиться — читали вслух свежую газету — астраханскую «Волгу». Сквозь махорочный дым, сквозь волны мутной боли до Володи долетал чей-то взволнованный голос:

— «...Они слышали, как офицер задавал Татьяне вопросы и как та быстро, без запинки, отвечала: «нет», «не знаю», «не скажу», «нет»; и как потом в воздухе засвистели ремни, и как стегали они по телу. Через несколько минут молоденький офицер выскочил оттуда в кухню, уткнул голову в ладони...»

У Володи все тело болело так, словно и его выпороли ремнями. Сознание заволакивало болью, словно небо штормовыми тучами, в ушах шумело, как шумит черноморский прибор.

— «Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались над ней. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой...»

Володе казалось, что он тонет, тонет в волнах невыносимой боли, над ним смыкается мрак, но густую пелену мрака вновь и вновь разрывают слепящие молнии...

— «Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и немецким солдатам, продолжала: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня...» Она умерла во вражьем плену, на фашистской дыбе, ни единым звуком не выдав своих страданий, не выдав своих товарищей...»

И Володя, с той ясностью, какая бывает в горячечном бреде, увидел себя с петлей на шее. «Абер дох шнеллер!» — кричит фашист-комендант. Палач дергает веревку... «Прощайте, товарищи!..» Палач выбивает ящик из-под ног. И тьма сомкнулась над Володей...

Утром он кое-как встал, оделся и, не завтракая, отправился на работу. Он не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, будто разнорабочий Анастасиади испугался какого-то насморка. Но через час он упал в грязь и уже не мог встать. Кто-то подошел к нему, расстегнул ворот, увидел розовую сыпь на груди и испуганно вскрикнул;

— Ребята! Тиф!

Володя был без сознания, когда машина «Скорой помощи» доставила его в приемный покой городской больницы имени Кирова в поселке Трусово.

Кладовщица больницы тетя Оля, увидев Володю на носилках, схватилась за сердце и пронзительно вскрикнула:

— Сыночек!

В следующую минуту, бросившись к носилкам, она увидела, что это не ее младшенький, которого она недавно, вслед за старшим, проводила в армию.

Почти две недели жизнь Володи висела на волоске. Все это время он был в беспамятстве, бредил, пел об Одессе, звал какую-то Таню и шептал: «Прощайте, товарищи!..»

Тетя Оля подходила к сестре и спрашивала об одессите из шестой палаты.

— Плохо, тетя Оля! Брюшной тиф. Боимся воспаления брюшины, прободения...

На двенадцатый день главный врач в больнице сказал сестре:

— Посмотрите в истории болезни, куда написать родным!

Но кризис прошел благополучно — победил крепкий молодой организм.

Настал, наконец, день, когда Володя открыл глаза, и увидел белый потолок, и разглядел своих соседей по палате. На следующий день он уже смог провести рукой по голове и почувствовал, что острижен наголо. Дело у счастливого пошло на поправку. Тетя Оля частенько заглядывала в шестую палату. Сестра с ног сбивалась, никак не могла уделить одесситу нужного внимания, а тетя Оля кормила его с ложечки манной кашей.

Ее Володя и попросил написать за него письмо матери.

— Только вы про тиф не пишите. Пусть будет воспаление легких в легкой форме.

Уже в конце февраля на собрании партийной группы больницы тетя Оля услышала, как главный врач сказал, устало потирая виски:

— Очень тяжелое положение, товарищи, половина наших врачей ушла на фронт. Коек не хватает. Вот, например, мне придется выписать Анастасиади. Он, разумеется, еще очень слаб и по-настоящему встанет на ноги не раньше чем через два месяца, но положение, товарищи, таково, столько больных на очереди, что я не имею права занимать койку.

— Но ему ж некуда идти, — сказала сестра. — Он чужой человек в городе. В общежитие? Там карантин. Да и какая поправка в общежитии? Ему нужен домашний уход. И он совсем без денег!

И тогда тетя Оля, коммунистка с 1929 года, мать двух красноармейцев, пропавших без вести на фронте, сказала:

— Я выхожу мальчика у себя дома.

— Но, Ольга Петровна, дорогая, у вас же без того большая семья, дочери, внуки! — убеждал главврач.

— А сейчас лишнего куска хлеба ни у кого нет, — махнула рукой тетя Оля.

Так получилось, что после выписки из больницы Володя, едва волоча ноги, отправился вместе с тетей Олей в маленький домик по улице Минина на Трусово. На Трусово, а не в Трусово — Володя скоро узнал, что так говорят все в Астрахани.

В жизнь Володи вошла тетя Оля, человек большого, доброго, любящего сердца. С обостренной болезнью впечатлительностью, всей душой откликнулся семнадцатилетний паренек на бескорыстную доброту чужой ему женщины. Любовь матери и отца к себе он принимал как должное, мало, признаться, помышляя о благодарности.

Но ласковое участие незнакомого человека, который протянул ему руку в беде, пробудило в нем горячую, неостывающую благодарность. Лежа в теплой постели, слушая по радиотрансляции любимую Пятую симфонию Чайковского, он мечтал о том времени, когда сможет щедро отблагодарить тетю Олю, свою вторую мать, и всю ее семью, с которой он всем сердцем породнился. После войны он станет капитаном дальнего плавания, или, может быть, знаменитым певцом, или художником, пусть даже знатным токарем, только не агрономом-семеноводом. А сейчас он поправится, пойдет на фронт и убьет, как минимум, одного фашиста.

В доме тети Оли Володю окружили вниманием и заботой. Бывают такие семьи, где всегда царят мир и доброе согласие. Дочерей тети Оли — Нюсю и Тосю, ее внуков — Витю, Борю и Эдика Володя полюбил, как родных. Но он видел, как трудно приходится тете Оле.

Трудно жилось в ту зиму, а Нюся, и Тося, и сама тетя Оля ходили сдавать кровь на донорский пункт, отдавали ее раненым.

Уже через месяц Володя стал во время коротких прогулок внимательно проглядывать объявления о найме рабочей силы. Но тетя Оля при всей своей мягкости бывала, когда требовалось, весьма твердой. Она позволила ему подать заявление с просьбой принять его учеником токаря на завод имени Карла Маркса только в конце апреля, когда в Астрахань пришла весна.

С тетей Олей и ее дружной семьей Володя отпраздновал Первомайский праздник, а потом переехал, несмотря на все уговоры тети Оли, в заводское общежитие. Тетя Оля дала ему две пары белья и две пары шерстяных носков из чемодана одного из сыновей, специально сшила для него стеганый ватник, пыталась незаметно сунуть ему в карман стеганки половину своей зарплаты. Володя нехотя согласился взять деньги, только когда тетя Оля сказала:

— Ничего, ничего! Отдашь, когда своих разыщешь!

Володя часто по вечерам заходил в дом № 15 на улице Минина, играл с детишками, постепенно пил чай из самовара, горячо доказывал, что Гитлера повесят в сорок втором, а в день первой получки принес всем гостинцев. Огонек, который горел в окне домика тети Оли, светил Володе до конца его жизни.

Вскоре Володя стал токарем, ездил на окопы под Сталинград, а в сентябре явился, загорелый, веселый, смеющийся, и торжественно

положил на стол новенький комсомольский билет.

Этот билет — комсомольский билет № 14011642, выданный Трусовским райкомом ВЛКСМ, — Володя носил только два месяца...

Тетя Оля поздравила Володю, а он сказал:

— Когда я уже заболел, ребята в общежитии читали вслух статью о партизанке Тане. Я ее слышал только урывками, но запомнил навсегда. Правда, мне показалось, что все это мне приснилось. И вдруг — листаю я подшивку в читалке и вижу статью «Кто была Таня»... Зое Космодемьянской было восемнадцать! Нет, не могу я больше опиваться в тылу. Я молодой, здоровый. Стыдно людям в глаза смотреть! Уйду на фронт!

Тетя Оля, Нюся и Тося пытались отговорить его: долго ли до призыва осталось! Но Володя настоял на своем — тут же, не откладывая, отправился в Трусовский райвоенкомат. Нюся, как брата, проводила его до военкомата.

Вскоре он вышел и со злости наподдал ногой булыжник, валявшийся у крыльца.

— Опять говорят, молод! Опять — жди! Да немец уже к Волге подходит! Вот что, Нюся, вы идите домой, а я пойду в райком комсомола и добыю своего!

И Володя добился.

Секретарь окружкама комсомола спросил Володю:

— За что ты идешь воевать?

— Как за что?! — удивился Володя. — За Родину, конечно.

Володя плохо представлял, что его ждет в тылу врага, но твердо знал, за что идет воевать. За дорогие сердцу воспоминания детства. За города, которые он полюбил в детстве, — Одессу, Харьков, Мариуполь, Брянск, в которых теперь хозяйничали гитлеровцы. И за папу с мамой. И за вторую свою мать — Ольгу Петровну, за Тосю и Нюсю, за карапузов Витю, Борю и Эдика, к домику которых на Волге из-за далекой Эльбы подкатила свирепая гитлеровская орда.

Секретарь допытывался:

— Товарищей огнем прикрыть готов? С самолета прыгнешь? Последний кусок хлеба другу отдашь? Пытки любые, как Зоя Космодемьянская, выдержишь? Не испугаешься?

Да, Володя был готов ко всему, хотя, по правде сказать, у него сердце екнуло и по спине мурашки забегали. Но ему казалось, что

секретарь слишком уж сгущает краски — в кино все иначе показывали. «Не испугаешься?» Еще как испугаешься! Но Володя сумеет перебороть страх так же, как Зоя. И с самолета прыгнуть он заставит себя и отход товарищей прикроет огнем!..

Второго октября он явился с путевкой Астраханского окружкома комсомола в дом № 71 на Красной набережной. На этом доме он не увидел никаких вывесок. Часовой внутри глянул на путевку и направил его к начальнику спецшколы майору Добросердову. Майор побеседовал с ним и написал на путевке: «Зачислить на все виды довольствия».

Не было в Астрахани человека счастливее Володи Анастасиади. Он стал партизаном, диверсантом! Одно только отравляло ему радость. И секретарь окружкома и начальник спецшколы майор Добросердов строго-настрого наказали ему ни слова никому не говорить о своей «партизанской принадлежности». А ему хотелось рассказывать об этом, о самом главном событии в своей жизни, каждому встречному-поперечному.

В первый же четверг, получив увольнительную, он надраил до блеска новенькие кирзовые сапоги, оправил пахнущую каким-то особым складским запахом ворсистую шинель, затянул поясной ремень, приложив ребро ладони к носу, проверил по звездочке, правильно ли надета ушанка. Он шагал по Красной набережной, высокий и стройный, стуча каблуками, и лихо приветствовал каждого военного, для большей мужественности сурово насупив брови.

Таким и явился он к Выборновым, к тете Оле, Нюсе и Тосе, Вите, Боре и Эдику. Он сказал им, что поступил в военную школу, но в какую школу — не сказал.

Все эти дни он никак не мог свыкнуться с поворотом в своей судьбе, поверить в реальность происходящего. Все в спецшколе, парни и девчата, с виду самые простые, казались ему необыкновенными. Ведь их тоже спрашивал комсомольский секретарь: «С самолета прыгнешь? Попытки выдержишь?» И все они небось не струхнули тайно, как он, Володька.

Еще в приемной секретаря заметил он коротко остриженного, курносого паренька тоже лет семнадцати, в потертой черной шинельке ремесленника. В петлицах значилось: «РУ № 6». У ремесленника от

волнения пунцово пылали оттопыренные уши. В руках он мял форменную фуражку с растрескавшимся козырьком.

— По путевке райкома? — спросил ремесленник. — Из Трусовского? И я тоже! Какого года? Двадцать пятого? Эх, несчастные мы с тобой — не возьмут!

— Меня возьмут! — бодрился Володька. — Я в сорочке родился!

Володю вызвали к секретарю первым. Вышел он минут через десять, все лицо в красных пятнах, но в глазах — ликование и торжество.

— Взяли?! — спросил ремесленник. — Обожди меня! Ежели возьмут, вместе пойдем!

Теперь Володя волновался уже за незнакомого ремесленника. Но и ремесленник вышел сияя, а уши его положительно излучали алый свет.

На улице закурили.

— Тебя как звать-то? — спросил ремесленник. — Я Хаврошин Николай Федорович. Домой будешь заходить или прямо туда?

Пошли прямо в спецшколу.

— Ты на кого учишься? — поинтересовался Володя.

— Учился, да училище эвакуировалось. Я остался, хотел на фронт уйти. До сего дня на заводе Ленина слесарем работал. Ковал, как говорится, оружие для фронта. Мировой завод! На нем и практику проходил. А вообще-то я должен был стать судовым машинистом.

— Ну да! — только и воскликнул Володя, и с той минуты Коля Хаврошин стал его другом.

Потом, когда курсантов-новичков стали по четвергам отпускать в город, Володя побывал в гостях у своего нового друга. Жил Коля Хаврошин до того, как переехал в казарму спецшколы, в маленькой, но чистенькой комнатушке в заводском бараке.

— Батя у меня кочегаром работает, — сказал он. — Работенка пыльная, вот он и наводит дома чистоту.

Коля Хаврошин познакомил Володю со своим отцом — пожилым пилозубом и кочегаром ремонтных мастерских имени Артема при речном порту. Втроем пили из самовара чай с сахаром вприкуску.

— Эх, матери твоей нет, — вздыхал кочегар. — Задала бы она тебе порку за твое геройство! Говорил дураку: уезжай со своим училищем.

Но Володя видел, что дядя Федя втайне гордится сыном.

После чая дядя Федя лег спать, а Коля показывал Володе свои книжки — «Алые паруса» и «Дети капитана Гранта», показал собранный им по частям велосипед, достал из-под кровати поломанный воздушный змей, делая при этом вид, что теперь все это ему, без пяти минут партизану, уже совсем не интересно.

В спецшколе Володе нравилось. В ней царил боевой и оптимистический дух. Никто, заглянув туда, не подумал бы, что все увиденное и услышанное им там происходит осенью сорок второго.

Для курсантов Астраханской спецшколы то грозное и горестное время было освещено неповторимым сиянием молодости, дружбы и высоких стремлений, сознанием своей гордой и горькой судьбы. Таким оно и осталось, это время, в памяти тех из нас, кто выжил и вернулся из тыла врага. Таким оно было и у тех, кто пал в бою...

С нескрываемым восхищением смотрел Володя на командиров отрядов, или, как их чаще называли, командиров групп, — Черняховского, Паршикова, Кравченко, Беспалова. Все они или уже партизанили, или воевали на передовой. Среди командиров была даже одна девушка, но какая девушка! Клава Красикова, секретарь окружка комсомола. В военной, ладно сидевшей на ее стройной фигуре форме, она точно сошла со страниц романа «Как закалялась сталь». В спецшколе собрались ребята из шахт и заводов Донбасса, из донских и кубанских станиц, комсомольцы из колхозов и совхозов нижеволжского края. Почти у всех родные места остались за линией фронта и всем не терпелось немедленно сейчас же идти и освободить своих отцов и матерей. Володе было даже как-то неловко, когда дневальный кричал: «Анастасьев! Тебе опять письмо!», и десятки глаз в казарме с завистью устремлялись на него — этим ребятам никто не писал. Не окончив учебы по своей краткосрочной программе, они осаждали начальство с одной только просьбой: «Скорее пошлите в тыл врага!»

Диверсионному делу учились с такой охотой, с таким рвением, как ничему другому в жизни, но по вечерам собирались в клубе, и тогда молодость брала свое: смотрели кинофильмы, а потом, забыв на время обо всем, танцевали.

Порой фильмы властно возвращали их к действительности. «Александр Невский» до войны не произвел на Володю особого

впечатления, но теперь, когда он увидел, как закованные в железо немецкие псы-рыцари, захватив Псков, под звуки мрачного хора бросали детей в костер, слезы обожгли ему глаза, и он изо всех стиснул кулаки. А в темном зале кто-то крикнул: «Смерть немецким оккупантам!» И ребята засвистели, затопали ногами. После сеанса танцы долго не клеились. Ребята договаривались утром снова идти к майору, просить и требовать: «Скорее пошлите нас бить этих псов-рыцарей!»

В тот вечер долго пели песни — «Священную войну», грустную «Землянку» и партизанскую «Ой, туманы мои, растуманы». А потом Коля Кулькин рассмешил всех, показав, как надо танцевать «линду». И тут уж до самого отбоя не умолкал патефон, без конца играя «Брызги шампанского», «Чайку», «Таня, Татьяна, Танюша моя...».

Девчата танцевали все. Из ребят мало кто умел танцевать. Володя и Коля не танцевали вообще. Мужественно скрывая зависть, с деланным равнодушием смотрели они на кружащиеся пары.

Когда Коля Кулькин объявил дамский вальс, к ним подошла боевая на вид, румяная дивчина, со значком ГТО первой степени на высокой груди. Володя похолодел весь и внутренне сжался, но девушка, смеясь, пригласила Колю Хаврошина.

У Коли заалели уши.

— Да я не танцую! — пробасил он, пряча под стул ноги в новеньких кирзовых сапогах.

— А я тебя научу! — сказала девушка и, схватив его за руку, легко поставила на ноги. — Партизанить не страшно, а с девушкой танцевать страшно?

Комичная это была пара — высокая, статная девятнадцатилетняя Валя Заикина, настоящая волжанка, и приземистый увалень Коля Хаврошин, косолапо передвигавший ноги. Но Володя теперь откровенно завидовал другу.

Потом они сели, разговорились, познакомились. Валя охотно рассказывала о себе — она из Владимировки-на-Ахтубе, комсомолка с тридцать девятого.

— Приехали бы вы ко мне в наше село до войны! — болтала она, одергивая куцую юбчонку. — Я лучше многих мальчишек бегала и прыгала, и все ходили смотреть на мои клумбы в нашем саду — это на углу Сталинградской и Пушкина. Удивлялись. Водопровода у нас нет и

своего колодца нет, а до Ахтубы у нас не близкий свет. В жару, засуху за полверсты я воду таскала. Осенью в школу цветы носила... А теперь пропали цветы. Весной бросила я все — сюда на рыбный промысел по комсомольскому набору завербовалась. Работали вместо рыбаков, что в армию ушли. А когда немец стал подходить, послали нас на окопы за Сталинград, во мозоли были! Спину разогнуть не могла. И бомбили нас и в плен чуть не взяли. А потом приехал один военный, спрашивает: «Кто тут из комсомолок самая разотчаянная?» Девки возьми да на меня и покажи! Вот и попала я сюда! В городе-то я впервой, а тут в Астрахани даже кремль имеется! До войны красивая, говорят, Астрахань была, когда зажигались по вечерам огни.

Валя любила озорной смех, шутку и даже крепкое словцо. Любила пофлиртовать с ребятами, но если какой-нибудь смельчак позволял себе лишнее, то могла, не задумываясь, здоровенной оплеухой сбить нахала с ног.

— Тебя уже определили в группу? — несмело спросил ее Коля.

— Нет еще, а вас?

— И нас нет. Хорошо бы всем вместе в одну группу попасть!

— Со мной не советую! — засмеялась Валя. — Меня медсестрой пошлют, а я, хлопчики, до смерти крови боюсь!

Валя задумалась. Мама с ног сбивается, работая няней в районной больнице, отец с утра до вечера на станции, а дома Лизка с Ленкой, совсем еще несмышленыши. Бывало, шлепала их, а теперь сердце по ним изболелось, хоть и не маленькие, в школу ходят. Поди, вся картошка в огороде погниет — убрать некому.

— Неужто, ребята, не кончим немца к зиме? — со вздохом спросила Валя. — У меня дома уж и учебники за десятый класс куплены!

С середины октября в тыл врага начали уходить первые группы. Опустели койки в казарме. Ушли группы Кравченко, Беспалова, Грициненко. На их место приходили с путевками окружкома застенчивые, немного растерянные новички. В клубе показывали новые фильмы: «Котовский», «Александр Пархоменко», неизменным успехом пользовался документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Военная подготовка шла теперь от зари до зари. Времени не хватало. Хотя Володя обещал себе ничего, кроме боевых наставлений

и уставов, не читать, для «Алых парусов» он все же сделал исключение. Володя проглотил ее за ночь, а на следующее утро он встретил на занятиях по топографии девушку, которая живо напомнила ему Ассоль, хотя волосы у нее были не темно-русые, а черные и блестящие, как воронье крыло (это сравнение очень любил Майн Рид), и одета она была не в платье из белого муслина с розовыми цветочками, а в защитного цвета гимнастерку, короткую, до колен, юбку и кирзовые сапоги. Зато глаза у нее, черные, по-монгольски чуть раскосые, были совсем как у Ассоль — прекрасные, несколько серьезные для ее возраста.

Она сидела рядом с Валей Заикиной, и та, безошибочно определив «азимут» Володиных взглядов, шепнула ему:

— Хочешь, познакомлю? Нонна Шарыгина!..

— Что ты! Что ты! — испугался Володя. — Померещилось тебе!

Но теперь он всюду искал ее глазами — на стрельбе, на занятиях по минному делу, в столовой и в клубе. У Заикиной он выведал, что Нонне семнадцать лет, что нет у нее ни отца, ни матери, старшая сестра Лида прятала паспорт Нонны в сундук, не желала отпускать ее на войну, называла ее (как все — Ассоль) полоумной и хотела, чтобы Нонна корпела счетоводом над бумажками где-то на заводе в Орджоникидзевском крае.

Как-то на занятии по минному делу Володя до того размечтался, заглядевшись на Нонну, что не услышал вопроса, который ему задал сержант Васильев.

— Курсант Анастасиади! — повторил свой вопрос Васильев. — Сколько нужно тола, чтобы взорвать телеграфный столб?

Володя вскочил, захлопал в растерянности глазами.

— Извините, товарищ сержант!..

— Мух ловите, Анастасиади! Следующий раз дам наряд вне очереди, котлы мыть на кухню пошлю! Как действует заряд со взрывателем «ВПФ на палочку»?

Володя был недоволен собой. Во-первых, опростоволосился он перед Ассоль. Во-вторых, Васильев — хороший, серьезный парень, он один во всей спецшколе правильно произносит его нелегкую фамилию, другие все путают. И черт его знает, как действует этот самый «ВПФ на палочку»!..

Во время перемены Васильев подошел к нему, спросил:

— Ты не заболел? А на меня не обижайся, я такой же курсант, как и ты. Только бесят меня пижоны, которые не понимают пользы учебы.

...Шурган. Черная буря. Павел Васильев, снайпер-подрывник, помощник командира группы по диверсиям, тоже борясь с черной бурей, крепко держа за руки Володю Анастасиади и командира, вспоминал те последние дни в Астрахани...

Рос Павка в голодные годы. В семье было семеро детей. В хозяйстве ни лошади, ни коровы. Братья батрачили на кулаков. Сестры ходили по миру. Каждый день Павка шел за семь верст босиком в школу. Потом наступили заморозки, и Павка перестал ходить — не в чем было. Но всю зиму он бегал к соседскому пареньку, делал с ним уроки, и, когда пришла весна, он снова пришел босой в школу и лучше всех сдал экзамены.

В год великого перелома отец создавал колхоз, не, на жизнь, а на смерть дрался с кулаками. Дела поправлялись медленно, но после семи классов первому отличнику Павке пришлось бросить школу — умер, оставив большую семью, кормилец отец.

— Ты же председатель! — пилила, бывало, отца мать. — А в колхозе нет тебя беднее!..

Павка вступил в тридцать восьмом в комсомол, помогал поднимать колхоз. И все читал, читал, читал...

Увлёкся астрономией, зачитывался Циолковским и Джинсом.

В сороковом Павку призвали в армию. Служил он в Баку. Толкового, вдумчивого парня послали в полковую школу. Гарнизонная газета писала о красноармейце Васильеве как о примерном бойце, отличнике боевой и политической подготовки. В Рязанке из избы в избы по рукам ходил номер бакинской газеты с его фотографией.

Из Баку Павка писал брату: «Ваня! Опиши, как провели праздник 7 ноября, с какими достижениями. Я, Ваня, писал тебе раньше, что я тебе вышлю книги для изучения истории ВКПб). Ты мне опиши, что тебе нужно, а что нет: «Что делать?», «Что такое «друзья народа...», «О государстве», о диалектическом материализме. Я постараюсь выслать поскорее. Ваня, до свидания. Остаюсь жив и здоров. Павел Васильев».

Весной сорок второго где-то под Харьковом во время ночного поиска один из бойцов сержанта Васильева подорвался на mine. Сам сержант был тяжело ранен, почти полгода пролежал в астраханском

госпитале. И там он не терял попусту времени. Другие больные играли в бильярд, домино, шашки, ухаживали за сестрами или бегали в «самоволку» в город к астраханским девчатам, а Павка Васильев все читал и читал, пока не перечитал все книги в библиотеке госпиталя. Тогда он записался в городскую библиотеку. Он твердо решил: после войны он пойдет в университет или в Институт философии, литературы и истории.

Но чтобы снова взяться за учебу, надо было скорее кончать эту войну, и Павка Васильев решил сделать максимум от него зависящего — он пошел туда, где трудней всего, — в партизаны.

— Продолжим занятие, товарищи!

...Перед праздником Володя, Коля, Валя Заикина и Павел Васильев узнали из приказа начальника спецшколы майора Добросердова, что все они зачислены в группу Черняховского. Это означало, что скоро, очень скоро они уйдут с Черняховским в тыл врага.

4. Черный марш начинается



— А помните, Франц и Карл, как к нам в лагерь сам Шир приезжал?

... Лагерный городок проснулся, как всегда, в пять утра. В зеркальной глади озера — в полном соответствии с туристским проспектом — отражались снежные пики Альп. Не успели замереть звуки горнов, как три тысячи молодых — от четырнадцати до восемнадцати лет — гитлеровцев ринулись в ледяную воду озера. Потом — кофе с черным хлебом. После завтрака — «Флаг поднять!» и парад на плацу. Парад принимал, стоя на высокой, украшенной цветами трибуне, начальник лагеря баннфюрер Гассер, горластый тридцатилетний спортсмен, бывалый ээсовец, участник войны в Испании, где он служил пилотом в легионе «Кондор».

Обычно после парада два часа обучения лесному бою, стрельба и спорт до полудня. В двенадцать — обед с точно высчитанным числом

калорий. С часу до трех — расово-политическое обучение. Потом до вечерней зари опять спорт и допризывная подготовка — теория оружия и стрельбы, строевая подготовка, прикладная топография... Тема занятий на все лето — пехотная дивизия на маневрах.

Но сегодня — праздник. Второе сентября. День Седана. Вся Германия отмечает годовщину капитуляции Франции в 1870 году. Сегодня приедет сам Шир!

И поэтому с утра отряды начали наводить порядок в городке.

Лагерь состоял из семидесяти восьми добротных стандартных барачков. В каждом барачке помещались пятьдесят юнцов, составляющих «шар». Три барачка — блок. В блоке — сто пятьдесят человек, «гефольгшафт». Петер, Франц и Карл командовали как раз такими ротами. Четыре «гефольгшфта» составляли «унтербанн», пять «унтербаннов» — один, «бани». Городок был построен в форме звезды с лучами, сходящимися к плацу. Помимо жилых барачков, в городке находились помещения штабов, госпиталя, кухонь, клубов, складов.

Петер носился как угорелый, охрип, выкрикивая команды, — надо было прибрать барачки, посыпать дорожки желтым песком, полить цветы на клумбах перед трибуной, помочь в установке целой батареи микрофонов и множества знамен на самой трибуне. Длинная трибуна вся была покрыта огромным красным полотнищем с белым кругом и черной свастикой. Почти такого же размера флаг развевался на двадцатиметровой белой мачте.

Подготовка закончилась точно в заданный срок, И точно в назначенное время на плацу застыли стройные коричневые колонны. К гитлерюгендовцам в тот день присоединились их младшие братья из «Дойче юнгфольк». У многих из этих сорванцов на лицах, на голых руках и ногах — синяки и ссадины. Все утро их гоняли в жаркие «атаки» военной игры: доблестная германская армия в ожесточенном пограничном



Володя Анастасиади мальчик



Володя Анастасиади с родителями.



Володя Анастасиади перед уходом в спецшколу.

бою отражала предпринятое на священную немецкую землю нападение «французских» войск, поддержанных «англичанами». В итоге, разумеется, «противник» был отброшен за Рейн.

На парад съехались тысячи зрителей едва ли не со всей Баварии. Организованными отрядами пришли в сине-белой форме девочки и девушки. Все в форме, у всех одинаковая скромная прическа, все без косметики. Они тоже проходили военную и политическую подготовку в своих организациях, но главное — готовились стать хорошими немецкими матерями, чтобы дать фюреру надежных солдат.

Томительно тянулись минуты. По-летнему прижаривало солнце. И вдруг словно девятый вал пронесся, рокоча, по тихому озеру. Это восторженно ревела толпа, встречая высокого гостя. Ревела так, что не слышно было треска шести мотоциклов, кативших к плацу. За почетным эскортом появился открытый черный «оппель-капитан».

Рядом с водителем стоял знаменосец с серо-золотым знаменем, а за стеклянной перегородкой возвышался знакомый по бесчисленным фотографиям и портретам Шир — так прозвал «Гитлерюгенд» своего фюрера — Бальдура фон Шираха.

Рейхсминистр и его свита и баннфюрер Гассер со своим штабом заняли места на трибуне. Петер не мог оторвать глаз от кумира гитлеровской молодежи.

Шир казался немногим старше самого Петера. В 1925 году Ширу было всего восемнадцать лет, когда он вступил в партию Гитлера. В 1931-м он возглавил нацистскую молодежь, а через два года, придя к власти, Гитлер назначил его фюрером молодежи германского рейха. Отчитывался Шир только перед Ади. Он имел право карать тюрьмой родителей, не желавших отдать свое дитя — от шести до восемнадцати лет — в какую-либо гитлеровскую организацию. Шир был красив, высок и статен, хотя походил не на викинга, а скорее на американского киногероя. От Карла (а тот знал все или почти все о нацистской элите от отца) Петер слышал, что по материнской линии Шир ведет свой род от американцев. Этот человек держал в руках все молодое немецкое поколение. По договоренности с Гиммлером он отдавал в СС лучших своих воспитанников. В таких лагерях, как лагерь «Гитлерюгенда» на берегу озера Вальхен, с помощью армейских инструкторов он ввел допризывную подготовку для всех родов войск, закалял боевой дух и решительность сотен тысяч будущих солдат фюрера. Шир — самый молодой, но и самый пылкий из соратников Ади. Петер знал наизусть много его стихов. «Этот гений, затмевающий звезды...» — так писал Шир о фюрере.

Но вот раздались пронзительные свистки — начинался парад. Под голосистый клич фанфар и дробь барабанов гусиным шагом маршировали «гефольгшафты» и «унтербанны». «Айн, цвай, драй, линкс! Айн, цвай, драй, линкс!» Грохот ног. Левая рука на рукояти кинжала, правая отбивает ритм марша. Грудь колесом, подбородок вперед. Ровно за сто шагов от трибуны марширующая коричневая колонна подхватывает песню «Мой немецкий брат»:

Скоро придет та желанная весна,
Всех наших братьев вызволит она
От чужестранного тяжкого ига.

Жизнь не жалея ради тог, о мига!
Честь нашу погранную мы спасем
И, если надо, за родину умрем!..

Петер перехитрил других гефольгшафтфюреров — его колонна пела песню, сочиненную самим Широм: «Барабаны гремят по всей земле».

Потом посвящение новых отрядов в «Гитлерюгенд». Снова свистки, и из колонны пятнадцатилетних юнцов, прошедших четырехлетний курс в «Дойче юнгфольк», выходят к трибуне шарфюреры. Свисток— и к шарфюрерам парадным шагом подходят знаменосцы. Капельмейстер подал сигнал, взмахнули жезлами тамбурмажоры. Сводный оркестр, сверкая медью труб, грянул нацистский гимн «Хорст Вессель». Медленно склоняются знамена. На золоте и шелке знамен играет яркое солнце. И в десятках громкоговорителей гроыхает торжественный голос Шира:

— Клянётесь ли вы, подобно вашим предкам, рыцарям Священной германской империи, всегда помогать другим немцам — своим братьям?

И шарфюреры, приставив, как издревле тевтонские рыцари, указательный и средний пальцы правой руки к рукояти кинжала, слово в слово повторяли клятву.

— ...Бесстрашно защищать женщин и детей? Помогать другим в беде? Посвятить себя целиком идеалу германского дела?

— Клянемся! — гремит чуть не до снежных гор.

— Клянетесь ли вы всегда и всюду и до самой смерти быть верными клятве, данной вами своим вождям, своей стране и своему фюреру — канцлеру Адольфу Гитлеру?

— Клянемся!

Мальчишеские голоса тонут в вое фанфар, визге флейт и исступленном грохоте барабанов. Шарфюреры возвращаются в строй. У многих на глазах — слезы восторга. Петер взволнованно стиснул рукоять кинжала. На рукояти выгравирован девиз «Гитлерюгенда»: «Верен до смерти».

Шир зажигательный оратор, но до Ади ему, конечно, далеко.

— Хайль Гитлер! Камераден! Вы — светлое будущее великой Германии! Мы кзяли свою судьбу в свои руки. Мы сами управляем ходом исторического развития. Наш фюрер все быстрее листает книгу истории. Он посвятил свой беспримерный гений созданию нового человека — сверхчеловека. Вы — та глина, из которой он вылепит элиту тысячелетнего рейха. Вы станете завтра правителями Европы. Мы все сметем на своем пути. Во имя наших великих целей мы все клянемся фюреру в слепом повиновении и готовы выполнить любой его приказ! За нас видит фюрер!

Мощное троекратное «хайль» вознеслось к альпийским вершинам. Сверкнули медные трубы. Загремели отрывистые, ухающие звуки национального гимна — «Дойчланд юбер аллес»...

После ужина — поход в горы, туда, где прежде пролегла государственная граница Германии и Австрии, на встречу с освобожденными братьями из Тироля. Сначала автобусом до Вильдбада, а оттуда в поздних сумерках вверх по горным тропам пошли отряды с песней:

Пулеметная лента через плечо, Гранату сжимаю в руке, Иди, большевик, я готов!..

Но часа через два все так вымотались, что едва ноги волочили. Наконец — остановка. Баннфюрер Гассер остановил колонну на сельском кладбище. Багровый, неверный свет факелов, пляшущие блики на могильных плитах и замшелых крестах и торжественный голос баннфюрера:

— Камераден! Склоните головы перед этими крестами! Здесь лежат те, кто своей геройской гибелью в 1870 году указал нам путь в будущее. Враг хотел уничтожить нашу вечную Пруссию, колыбель третьего рейха. Наши прадеды не пожалели жизни и победили.

Шипят, брызжа искрами, факелы. Вздыхает ветер в черной листве деревьев. — Плывет туман над кладбищем, и из него словно встают бледными тенями батальоны безымянных «уланов смерти», павших под Марной и Седаном, призраки усачей в шипастых шлемах и простреленных шинелях...

Снова в путь, все выше в горы. Вниз в черную пропасть срываются камни. Точно в назначенное время вышли отряды на гребень Аахенского перевала и увидели, как навстречу им тянулась во мраке длинная вереница огней. Это шли австрийские отряды

«Гитлерюгенда». И вскоре они приветствовали друг друга, высоко поднимая факелы.

«Это был самый большой день в начале моей сознательной жизни», — писал Петер в своем дневнике.

— А ты не забыл, Петер, свою первую любовь? Забыл небось? И правильно. Тот не мужчина, кто плачет по девчонке, когда женщины составляют больше половины населения великого рейха!..

«...Дурак, как надерется, обязательно про любовь вспомнит! А разве им понять?! Ведь никто не знает о трагическом и грязном конце его первой и, быть может, последней любви...»

Познакомился с ней Петер в Мюнхенском кинотеатре. После обеда он и Франц получили увольнительную и чуть было не опоздали на сеанс из-за чересчур придирчивой проверки на лагерном контрольно-пропускном пункте, где дежурный заставил их вывернуть карманы — нет ли чего лишнего, хорошо ли выстираны и выглажены носовые платки, нет ли волос и перхоти в расческах... В Урфельде они едва успели вскочить в отходивший автобус. Полчаса — и они сошли в Мюнхене, на Кирхаллее.

Фильм был непростой. Он был разрекламирован как выдающееся достижение новой идейной, партийной кинематографии, как фильм, возрождающий национальную гордость, фильм, зовущий и мобилизующий. Назывался он «Фридрих Великий».

Петер очень скоро понял, что фильм — дрянь, уж лучше было бы пойти на «В седле за Германию». И стал оглядывать соседей. Вернее — соседок.

В те времена в Петере — ему шел девятнадцатый год — еще оставалось много наивных мальчишеских мечтаний, непосредственности — короче говоря, всего того, что позднее, вслед за Карлом, он стал называть «розовыми соплями». Так, несмотря на ватерклозетный треп гимназистов о делах амурных, несмотря на позу заправского донжуана, утомленного бесчисленными победами на женском фронте, Петер терял дар речи в присутствии прекрасного пола, что сильно мешало ему, по его мнению, в достижении заветной своей цели — выработать в себе характер сверхчеловека, стать современным Зигфридом.

Рядом с ним сидела девушка лет семнадцати с недурным профилем, хорошенькими ножками. Забыв о «Великом Фрице», Петер искоса стал изучать ее.

Вьющиеся каштановые волосы, челка, на милом личике играют в полутьме цветные отблески с экрана. Почему она не в форме Союза немецких девушек? Впрочем, это платье ей больше к лицу. Будто невзначай пододвинул Петер руку на подлокотнике кресла, коснулся ее руки. Не показалось ли ему, что девушка украдкой взглянула на него? Руку свою она не убрала. Нет, определенно она еще раз посмотрела, взмахнув густыми черными ресницами! Роман, Петер, ей-богу, роман!..

Франц двинул его в бок. Оказывается, он тоже заметил соседку и кивком и гримасой предлагал Петеру перейти в наступление. Сам Петер ни за что не решился бы заговорить с девушкой, но в присутствии приятеля ему просто необходимо было поддержать репутацию неотразимого совратителя. Он закурил и с напускной небрежностью спросил:

— Надеюсь, фройляйн не мешает дым? Блеснули в улыбке белые зубы.

— А я как раз думала, какой вы изберете гамбит! Такая реакция спутала все карты Петера, но тут на выручку пришел Франц.

— Предложи ей сигарету, болван! — свирепо прошептал он Петеру в ухо.

К концу фильма Петер уже знал, что девушку зовут Бригитта, что она учится в техническом училище в Штутгарте и проводит каникулы в Мюнхене у родственников.

После сеанса Петер весьма прозрачно намекнул Францу:

— Ты, старина, кажется, спешил в лагерь?

— С чего это ты взял? — удивился тот, а затем, сообразив что к чему, насупился и нехотя пробурчал: — Ах да! Верно. — И язвительно добавил: — Спасибо за напоминание, друг!

Бригитта весело рассмеялась, прощаясь с Францем. И смех ее в ушах очарованного Петера прозвенел серебряным колокольчиком.

А она чертовски мила! Особенно понравились Петеру темно-карие глаза с полузакрытыми тяжелыми веками — ну совсем как у красавиц на картине Боттичелли, что висела над эрзац-камином в столовой у Нойманов. И чувственные полные губы. Они были чуть

подкрашены, эти многообещающие губы. Странно, ведь членам Союза немецких девушек запрещается всякая косметика...

Бригитта болтала без умолку, пытаясь, как заметил Петер, прикрыть бойкой светскостью свою застенчивость. Это открытие придало ему смелости, и он дерзновенно взял ее под руку на глазах у девушек-баварок в цветастых платьях и тирольцев в шляпах с перышками и кожаных коротких штанах.

Глаза Бригитты, и цветущие липы на Кауфингер-штрассе, и вокруг каждого уличного фонаря на набережной Изара рой бледно-зеленых мотыльков-однодневок... И первый неуклюжий поцелуй под полной луной на мосту Максимилиана... Все свободное время до осени проводил он с Бригиттой. И в день, когда ему пришлось провожать ее в Штутгарт, сентиментальные слезы навернулись на глаза сверхчеловека.

В Виттенберге угрюмо лили дожди. Мутти с утра до вечера лила слезы по отцу. Лена изредка приходила, ругала мужа пьяницей и бабником и, поглаживая заметно округлившийся живот, обещала назвать-будущего солдата фюрера Адольфом. А Петер все бегал, проверял — не пришел ли по почте долгожданный ответ из Берлина. Ответ, который должен был решить судьбу Петера, Франца и Карла.

Еще в лагере они собрали совет, чтобы обсудить планы на будущее. Началось все с рассказа Карла о тех оргиях, что закатывали видные ээсовцы на своих роскошных виллах под Берлином и Веной. Раскрыв рот слушали Петер и Франц красочный отчет графского сына, хорошо знавшего многих ээсовских офицеров, о патрицианских забавах ээсовских бонз Штайнера и Гилле, Зеппа Дитриха и сына кайзера, принца Августа Вильгельма, группенфюрера СС, которого на ээсовском олимпе звали запросто «Авви». Дух захватывало от той картины светской жизни, которую так аппетитно смаковал Карл. Первый акт на первом этаже: пир современных викингов. Дамасская скатерть, северский фарфор, старое серебро, мозельское и рейнское вина в резном хрустале. Все это еврейские трофеи СС. На столе ножки фазана, сочащаяся кровью благородная оленина, иранская икра — пальчики оближешь! Второй акт на втором этаже: восхитительные женщины, звезды кино из студии УФА, дивы балета, умопомрачительные декольте и черный чулок с розовой подвязкой. И меню почти столь же богатое, как на первом этаже. И

всюду: «Евреев надо отдать на растерзание зверям — надо быть добрым к бедным животным!» И после каждого тоста за него — «Хайль Гитлер!» — все вдребезги разбивают бокалы из дорогого хрусталя об пол — ведь за него по закону германского рыцарства положено пить только раз из одного бокала. А потом можно пить шампанское из тувфелек дам. Сплошной «зиг хайль» на высшем уровне! Долой покрывало с мистерии любви, к дьяволу все мещанские запреты!

«Попасть в число этих счастливиц, стать одним из них!..» — так думал Петер. И когда Карл выдохся, он вскочил и сказал, сжав кулаки и зубы:

— А мы чем хуже этих «рыцарей»? Мы еще можем заставить их потесниться у праздничного стола! Нужно одно — верно определить азимут, напролом ринуться к цели... Я уже все взвесил. Теплые местечки в партии и СС достаются тем, кто оканчивает школы Адольфа Гитлера, институты национального политического образования и замки орденов. В школу Адольфа Гитлера нас не примут — туда берут мальчишек от двенадцати до восемнадцати. В орденские замки нас тоже не возьмут — туда отбирают самых лучших выпускников институтов национального политического образования и школ Адольфа Гитлера. Следовательно, подаем заявления в один из тридцати институтов...

— И подписываемся так, — усмехнулся Карл, — Петер Нойман, честолюбец-карьерист, Карл фон Рекнер, сластолюбец-циник, и Франц Хаттеншвилер, юный мракобес и зубрила-фанатик. — И наследник офицера «черного рейхсвера», полковника графа фон Рекнера добавил: — Я согласен.

— Я тоже, — сказал юный мракобес, сын одного из главарей «Стального шлема» — Лиги германских фронтовиков. — Хотя мне и противно будет еще год учиться в компании его светлости, этого виконта-недоноска!

Приятель вместе отправили в Берлин анкеты и аттестаты, арийские родословные с XVIII века, рекомендации, характеристики, спортивные зачетные книжки. Томительно потянулись дни ожидания. Петеру не терпелось удрать из дому, до того надоели ему вечные слезы матери. В начале октября пришло, наконец, официальное письмо из Берлина: «Вы приняты в институт... Вам надлежит явиться в город

Плён провинции Шлезвиг-Гольштейн...» По-прежнему неразлучна вся тройка. Прощай, Виттенберг!

Студеный морской бриз рвет осенние свинцовые тучи над скучным городком, затерянным среди каналов, дюн и болот. Институт помещается в старом унтер-офицерском бараке, холодном и мрачном. Отдельные ватерклозеты для господ офицеров, для унтер-офицеров, для слушателей. «Вход разрешается только по неотложному зову природы...» Опять занятия по расовой теории, труды классиков национал-социализма — Чемберлена и Розенберга — и, конечно, «Майн кампф» и «Протоколы сионских мудрецов». Опять строевая подготовка на плацу из серого цемента.

— Задача нашего института, — приветствовал их длиннейшей речью директор института, эсэсовец из рейхсвера (уверяли, что он принимал участие в казни Карла Либкнехта и Розы Люксембург), — под руководством партии и СС воспитать вас преданными нацистами, сочетая идейную закалку с традициями военных училищ старой Пруссии, боевой дух с высоким чувством долга и безоговорочного повиновения...

Муштра и учеба, учеба и муштра. Только перед отбоем можно сыграть в бильярд или в карты. Или почитать. Карл увлекался эротической литературой, Франц зубрил речи фюрера, а Петер штудировал армейские уставы в синих обложках или зачитывался серийными детективными историями в желтых обложках по тридцать пфеннигов за штуку.

Но куда веселее заниматься легкой и тяжелой атлетикой, куда больше волнует планерный спорт! «Спорт развивает наступательный дух!..» Незабываем первый самостоятельный полет на планере марки «гессенланд». О таком никакие викинги не мечтали. Стрелой вверх из катапульты — и пари, как птица, в поднебесье вместе с чайками! А внизу — лента Кильского канала, белые пароходы, море с «барашками»...

Как-то в субботний вечер, когда друзья получили увольнительные, Карл спросил: «Да мужчины мы в конце концов или нет?!» — и после проверки чистоты ногтей, носков и даже ушей повез приятелей поездом в Гамбург на экскурсию по значным местам. По дороге он распалял воображение друзей рассказами о своих давних победах над гувернантками и горничными.

Вот и Гамбург — этот северный Марсель, столица греха, порока и распутства, асфальтовая трясина, любимая гавань акул воровского мира. Гамбург держит всегерманский рекорд по числу полицейских протоколов, регистрирующих бандитизм и проституцию, просто разврат и разврат протiwоестественный, уличные кражи и ограбления со взломом, незаконное ношение оружия и азартные игры, порнографические представления и скупку краденого, торговлю наркотиками и убийства, сводничество и сутенерство и бесчисленные другие преступления, беззакония и правонарушения.

На Санкт-Паули они ходили из бара в бар, пили ром, кирш и коньяк, глазели на женщин. Карл подбадривал их: «Вперед, герои! Смелее, сыны Нибелунгов!» В «Зеленой обезьяне» к ним подсели — все покрашенные, все в глубоко декольтированных, дразняще прозрачных платьях — три девицы поведения явно легкого и весьма вызывающего. Девицы бойко заказали себе за счет кавалеров шампанского, и шампанское это оказалось намного дороже «Вдовы Клико», Карл, упившись, начал неумело тискать толстую блондинку, та звала его наверх, Франц заплетающимся языком спрашивал, сколько это будет стоить, и одновременно сообщал, что фюрер объявил войну пороку, Петер все менее вежливо и все более твердо отбивался от нескромных ласк весьма соблазнительной Гретхен, у которой, однако, черт знает чем пахло из покрашенного рта. Петер думал о Бригитте, губки которой пахли земляникой, и о том, что зря они пришли в этот грязный притон, да еще в форме. Он не дал Карлу уйти наверх, решительно потащил его к выходу. Карл вырывался, пока Франц не пришел Петеру на помощь, но тут толстуха блондинка подняла истошный крик, и все в кабаке стали смотреть в их сторону.

— Девчонок испугались, сопляки паршивые! — шумела толстуха. — Тоже мне сверхмужчины! А еще хотят помочь фюреру, — драматическим жестом она показала на фотографию фюрера над баром, — построить великую Германию!

— Наш фюрер, — нашелся Петер, — категорически запрещает нам иметь дело с грязными свиньями вроде вас! Вы что, не слышали про закон о нравственности?!

Толстуха испуганно умолкла. Карла с трудом вывели, уложили в такси. На вокзале, садясь в вагон, Петер заявил, что в следующее воскресенье, под рождество, он непременно поедет в Штутгарт к

Бригитте и без риска для здоровья докажет, что он настоящий мужчина.

На самом же деле у Петера вовсе не было столь агрессивных планов. Он по-прежнему робел перед Бригиттой, пасовал перед великим таинством любви. Но память о первых незабываемых, восхитительных поцелуях погнала его в Штутгарт.

На углу Урбанштрассе Петер усмехнулся тексту на дорожном знаке: «Тихий ход! Резкий поворот! Евреям — 100 километров в час». Ну и остряки в этом дорожном управлении!..

Вот и дом Бригитты — № 37. Небогато живет. Пустынная грязная улица, стандартные домишки, жалкие лавчонки. Он поднялся на увитое засохшим плющом крыльцо. Для храбрости он выпил за углом бутылку мозеля. Петер самодовольно оглядел себя, подымаясь на второй этаж.

Он приехал в институтской форме — коричневая рубашка с коричневым же галстуком, брюки армейского цвета «фельдграу», коричневая шинель, повязка со свастикой на рукаве,

Он надеялся, что форма произведет на Бригитту, а главное — на ее родителей, должное впечатление. Эффект превзошел все его ожидания. Дверь открыла Бригитта. Кровь бросилась ей в лицо. За ней стояли ее родители. Стояли и смотрели на него не то чтобы с испугом, а с неподдельным ужасом.

— Хайль Гитлер! — гаркнул Петер, выбрасывая вперед руку в белой перчатке.

— Мама! Папа! — растерянно прошептала Бригитта. — Это ничего... Это Петер — я рассказы-зала вам о нем... Проходите, герр Петер! Снимите пальто...

Петер неловко повесил шинель на вешалку и вошел в крошечную столовую, недоумевающая и теряясь в догадках. Кажется, он сглупил, не сообщив о своем визите, — вот тебе и приятный сюрприз!

В столовой было светлее, чем в прихожей. Петер сконфуженно взглянул на хозяина дома и обомлел. Недаром учили его в «Гитлерюгенде», как по глазам, носу, волосам, ушам, пигментации кожи, жестикуляции, манере держаться и еще по бессчетному числу признаков определять еврея. Он стрельнул глазами в сторону фрау Хальстед. Еврейка! Впрочем, нет. Пожалуй, только наполовину. Гнев, злоба на Бригитту, на дикую и нелепую случайность, на свою

невезучесть, страх за себя, за свое положение — все это вскипело в нем. Не зная, как поступить, что сказать, Петер беспомощно озирался, стоя посреди комнаты, отвечая на какие-то вопросы Бригитты. Он сделал вид, что заинтересовался фотографиями на стене, подошел ближе, заметил, что одна из фотографий изображает отца Бригитты, совсем еще молодого, в солдатской форме, с «железным крестом» на груди.

— Садитесь, герр Петер! — натянуто сказала фрау Хальстед.

Он сел за стол и машинально глянул в открытую книгу на столе. Что-то о германском народе, о том, что судьба его накажет... «Накажет его, потому что он предал самого себя и не хотел оставаться тем, что он есть. Грустно, что он не знает прелестей истины; отвратительно, что ему так дороги туман, дым и отвратительная неумеренность; достойно сожаления, что он искренне подчиняется любому безумному, негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм как разобшение и жестокость...» Да это же крамола! Коммунистическая ересь! Петер посмотрел на обложку. Гёте. Поразительно! Невероятно!.. А он уж готов был вскочить, куда-то бежать, требовать ареста...

Он искоса взглянул на Бригитту. А все-таки она дьявольски мила! И как будто любит его. Не зря же он добирался до этого Штутгарта со столькими пересадками! К черту розовые сопли! Правда, фюрер строго-настрога запретил арийцам всякие там связи с еврейками. А он, Петер, мог и не знать, она совсем не похожа, да и желтой звезды на ней не было.

Петер встал и, мужаясь, не своим голосом проговорил:

— Герр Хальстед! Я буду короток. Первое: я приехал специально, чтобы повидаться с вашей дочерью. Второе: времени у меня очень мало. Третье: намерения мои самые благородные. Посему прошу вас отпустить со мной Бригитту на вечер. Точка.

На улице он посмотрел на нее и, загораясь, подумал: «Так вот откуда у нее эти тающие темно-карие глаза и полные губы».

— Ты почему не сказала мне там, в Мюнхене?

— Но, Петер!.. Я хотела и не могла. Если бы ты знал, как я несчастна! Они бежали за мной, мои одноклассники, и бросали камни. Меня выгнали из училища. Нас становится все меньше. Рассказывают такие ужасы. Временами я ненавижу отца с матерью, всех наших, эту

проклятую судьбу. В Мюнхене меня никто не знал, я сорвала звезду. Хотелось немного радости. Может, напоследок...

А в ушах Петера звучали слова какого-то лектора: «Еврейская плазма губит готическую субстанцию истинно германской крови...»

Петер снял номер в дешевой маленькой гостинице на Олгаштрассе. Трясущимися от волнения руками запер дверь, повернулся к Бригитте.

Она подняла на него испуганные полные слез глаза.

— Петер! Теперь, когда ты знаешь, ты не будешь иначе...

Она не договорила — Петер зажал ей рот ладонью в белой перчатке. Он был настоящим мужчиной.

Но никому, даже Францу и Карлу, не рассказал он правду о своей первой любви. Он любил сравнивать себя с Зигфридом — героем «Песни Нибелунгов». Как Зигфрид, отравленный колдовским напитком, он забыл о возлюбленной. Но Зигфрида одурманили колдовством, а какой яд отравил его, Петера? Этот вопрос, однако, звучал кощунством, и он гнал его от себя, как опасную ересь.

— Через три недельки рождество! Помните нашу клятву? Помните орденские замки?

...В полночь в затемненном оружейном зале на высокой разлапистой ели вспыхнули сотни разноцветных свечей. Директор института штандартенфюрер СС Курт фон Берштольд (про него еще говорили, что он даже спит по команде «смирно») охрипшим голосом — он только что произнес длинную, страстную речь — затянул рождественский гимн: «Тихая ночь, святая ночь...»

В голове приятно шумело. Петер лопался от благоволения к людям. Каждый получил полбутылки вина, солидный кусок гусятины, пирога и сладостей вволю и фотографию Шира и Геббельса, дружески пожимающих друг другу руки.

«Тихая ночь, святая ночь!...» Этой песне Петера научил отец. «Тихая ночь, святая ночь!...» Петер, Франц и Карл обнялись, соединили в крепком пожатии руки и поклялись в вечной дружбе. Подобно Зигфриду, сыну Вотана, и Гюнтеру, сыну Нибелунгов, они налили рейнского в большой бокал, надрезали кинжалами пальцы, капнули кровью в вино и выпили его.

— Клянемся в вечной дружбе! Клянемся в кровавой мести врагу за гибель любого из нас! Клянемся в верности древнему ордену рыцарей Виттенберга!

А месяца через два, ранней весной тридцать девятого, их построили, и штандартенфюрер торжественно объявил, что тридцать лучших выпускников института, в том числе Петер, Франц и Карл, за образцовую дисциплину и послушание, за высокую идейность, за примерную успеваемость будут направлены юнкерами в орденский замок. Если, разумеется, они того пожелают — офицером СС мог стать только душой и телом преданный идеям национал-социализма доброволец. Из тридцати только шестеро наиболее отличившихся курсантов поедут в орденский замок немедленно. Остальным придется пройти трехмесячные подготовительные курсы в померанском городе Крессинзее. В шестерку отборнейших попал Петер, чемпион института по плаванию брассом, попал Франц — центр нападения институтской команды. Не без тайного торжества узнал Петер, что первому боксеру, графскому сынку не повезло — он не получил высшей отметки по политической подготовке. «Главное я давно усвоил, — сказал как-то Карл Петеру по секрету, — добро — это то, что служит Ади, зло — все, что вредит ему. Остальное — лишние аргументы». (Но главным для Петера было другое — арест отца, слава богу, не помешал карьере!)

«Блюторденсбург» — Замок ордена крови. Так назвал высшую школу офицеров СС безвестный агроном; разводивший кур под Мюнхеном, агроном, ставший в двадцать восемь лет рейхсфюрером СС, — Генрих Гиммлер. Вначале, в 1929 году, СС насчитывал всего двести восемьдесят человек, но магистр СС мечтал о возрождении в XX веке средневековых орденов германских рыцарей-крестоносцев, завоевателей жизненного пространства для «народа господ». Эта идея родилась у него еще до 33-го года, когда чернорубашечники шуцштафелей — охранных отрядов — составляли избранную охрану фюрера, привилегированную верхушку СС. Годом позже, во время разгрома коричневорубашечников — штурмовиков Рема, СС стали карающим мечом Адольфа Гитлера, его черной гвардией. К 39-му году «черный корпус» СС, построенный Гитлером по образцу ордена иезуитов, насчитывал несколько дивизий. Дивизия СС «Мертвая голова» несла охрану в концентрационных лагерях. Другие дивизии

составляли отборные, ударные войска национал-социалистской партии.

Имперский фюрер СС Генрих Гиммлер отбирал в СС только сто процентных немцев нордической расы и подвергал их усиленной национально-расовой подготовке. Он называл их «сверхлюдьми», «цветом мужского начала германской расы», «элитой германцев». Прототип ээсовца — сам фюрер, с которым каждый ээсовец связан, как солдат с командующим, лично и непосредственно, являясь поборником и проводником идей национал-социализма.

Обо всем этом с гордостью и восторгом думал пылкий юнкер Нойман, бродя по старинному замку Фогельзанг. С его высоких, заросших мхом башен он любовался великолепным видом озера, раскинувшегося у подножия Эйфельских гор, суровых сосновых боров, солнечных долин, убегающих к Аахену. В детстве он зачитывался рыцарскими романами. Мог ли он, сын простого железнодорожника, думать тогда, что станет рыцарем! Коричневым рыцарем — так называют здешних юнкеров, потому что они пришли на смену прежней элите — коричневорубашечникам.

В ушах коричневого рыцаря звучала вулканическая, прямо-таки бронбойно-зажигательная музыка Вагнера, в голове роем бродили смутные видения из «Песни о Нибелунгах». Что ж! Зигфрид тоже был поначалу безродным отроком, а стал героем из героев!

В Фогельзанге — первом из четырех замков ордена крови — подготовка строилась с упором на идеологические дисциплины — расовую теорию, геополитику и евгенику. Фогельзанг закалял дух, приучал к повиновению. Физическая закалка стояла на втором месте. Второй замок — Зонтгофен, наоборот, главное внимание уделял всестороннему физическому развитию. Третий замок — полтора года политического и военного обучения. Четвертый замок — старинная крепость тевтонского ордена в Мариенбурге, на границе Восточной Пруссии и Польши — полтора года подготовки коричневых рыцарей к «дранг нах остен» — к походу на восток за землей, за жизненным пространством.

Начали с азов.

— Цифра «семь» в древнегерманской мифологии, — объяснял молодой ученый, преподаватель-ээсовец, — была символом удачи и процветания. — Мелом он изобразил две семерки крест-накрест на

доске. — В руническом письме цифра «семь» писалась еще с горизонтальной чертой от основания цифры вправо. В результате получается свастика, двойной символ удачи. На санскрите слово «свастика» означает «благополучие». Почему наш великий вождь избрал свастику символом нашего дела? Он лежал в госпитале в Померании, после того как англичане едва не ослепили его газами на фронте. Когда армейские врачи сняли повязку с его глаз, первое, что он увидел, была каменная свастика над дверью его палаты. Свастика была обычным орнаментом в замках Тюрингии и Саксонии. Вскоре наш вождь узнал о позорной капитуляции и поклялся отомстить за поругание германского флага. Символом этой клятвы он избрал свастику. Но заметьте — свастика из рунических семерок катится влево. Фюрер повернул ее вспять, так, как намеревался повернуть историю, В таком виде она соответствовала древнему символу власти и разрушения. Заметьте также, что свастика на нашем флаге стоит не прямо, а под наклоном, что символизирует неумолимый ход колеса истории. Вот он, наш священный флаг. Черная свастика в белом круге — круг символизирует чистоту учения национал-социализма, — на красном прямоугольнике. Красный цвет подчеркивает пролетарское происхождение национал-социалистской германской рабочей партии.

Дисциплина в замке Фогельзанг — железная. В пять — по свистку дежурного унтер-офицера — подъем. Два километра бегом до горной речки. По команде мыться в ледяной воде. Бегом обратно. В два счета — туалет, точно семь капель бриллиантина для массажа скальпа. В 5.50 — надеть фуражку чуть набекрень, к правому уху. До 6.00 — все следовали «неотложному зову природы». В 6.00 — спартанский завтрак из овсянки и газированной воды. После завтрака — теория оружия и учебная стрельба и, конечно, строевые занятия в лучших прусских традициях. Затем политические занятия и семинары. Это еще ничего. Прошлой зимой юнкеров выгоняли, говорят, ночью по тревоге на мороз и заставляли делать упражнения в глубоком снегу. После обеда четыре часа строевых занятий. Потом наряды по уборке помещений. За проступки наказывают строго — надолго лишают сигарет, на целый месяц оставляют без ужина, сажают в карцер на хлеб и воду. Хорошо хоть, что теперь мордобой строго запрещен.

Но, пожалуй, не это самое неприятное. Как-то Петер и Франц забрели на кладбище, раскинувшееся у стены замка, недалеко от

заросшего диким шиповником рва и подъемного моста, прочитали надписи на черных крестах и невесело переглянулись. Это были могилы курсантов.

В Фогельзанге шепотом рассказывали о кандидате в коричневые рыцари, который не вынес муштры и застрелился прямо в тире. Вспоминали другого беднягу — его обвинили в симулянтстве и, загоняв на плацу, посадили в карцер, а он взял и умер там от гнойного аппендицита.

— Солдаты — это навоз истории, — изрек Франц, — ибо их смерть — почва для национального величия!

Карл молча покрутил пальцем у виска.

Об этом кладбище, где кресты стояли, как солдаты на параде, они потом часто вспоминали. Вспоминали, когда их, как ковбоев на Диком Западе, заставили объезжать диких лошадей — годовалых арабских жеребцов. Вспоминали, когда после недолгой, но предельно интенсивной подготовки все они, как гладиаторы на римской арене, сражались голыми руками на берегу озера со специально обученными эльзасскими овчарками-людоедами. Петер сломал хребет своей овчарке на тринадцатой минуте яростного боя. Франц разодрал пасть своей на шестнадцатой, а Карлу пришлось пересдавать зачет — могучий черный волкодав вырвал у него изрядный кусок ляжки.

Они вспоминали кладбище коричневых рыцарей и тогда, когда нежданно-негаданно юнкеров бросили в бой с применением не холостых, а боевых патронов. По сигналу зеленой ракеты взвод автоматчиков атаковал позиции «красных». Внезапно раздался грохот артиллерийской канонады. Не сразу сообразили ошарашенные юнкера, что весь этот адский шум несся — совсем как в кино — из репродукторов, спрятанных в листве деревьев. Но как только взвод приблизился к двум высотам, занятым «красными», над головами автоматчиков засвистели всамделишные пули. Первые пулеметные очереди были лишь предупреждени. ем. Автоматчики кинулись наземь, поползли по-пластунски. Кто-то из отделения Петера неосторожно поднял голову — стальной шлем не спас его. Другому юнкеру пуля угодила в глаз. Их унесли санитары. На кладбище прибавилось две могилы, два черных креста. Эти двое не дожили до выпуска в замке Фогельзанг всего полторы недели.

Что ж! Слабому не место в эс-эс!

— Фогельзанг — это только цветочки, — заметил после похорон Франц, — ягодки будем собирать в следующем замке — в Зонтгофене.

— Недаром, — косо усмехнулся Карл, — называют их замками крови.

В Зонтгофен они попали гораздо раньше, чем предполагали. В воздухе Европы пахло порохом.

Подготовка эсэсовской элиты шла ускоренными темпами. В Фогельзанг приехал правая рука Гиммлера — Рейнгард Гейдрих, глава полиции безопасности и СД — разведки СС. Высокий, в светло-серой форме, с парадной серебряной шпагой, он был очень внушителен. Он преуспевал во всем. Прекрасно пел, играл на фортепьяно. Это был высокого класса скрипач, пилот, фехтовальщик, лыжник. Он увлекался пятиборьем. Полугалифе скрадывали единственный изъян в его великолепной фигуре — чересчур полные бедра. Но самым запоминающимся в нем были его глаза, льдисто-голубые, завораживающие и замораживающие. Голубоглазой коброй назвал его восхищенный Франц. (Он чуть не подрался с Карлом, когда тот намекнул на ходившие в высших сферах слухи о склонности «голубоглазой кобры» к «разврату противоестественному».)

Гейдрих взволновал юнкеров прозвучавшими, как трубный клич, словами:

— Скоро — в поход! Скоро начнется наш черный марш! Мы силой сокрушим всех, кто станет на нашем пути!

— Зиг хайль! — грохнули юнкера, и гулкое эхо долго гремело в старинных стенах замка.

А через несколько дней, вечером тридцать первого августа, Гейдрих начал «Операцию Гиммлер» — отряд переодетых в польскую форму эсэсовцев во главе с оберштурмфюрером Альфредом Науюксом напал на германскую пограничную станцию в Гляйвице. Наутро после «провокации поляков» по приказу фюрера германские войска вторглись в Польшу. Началась вторая мировая война.

Если Фогельзанг был рыцарским форпостом на западной границе рейха, то Зонтгофен стоял на его южной границе, там, где земли юго-западной Баварии упираются в Альпы.

— Камераден! — гремел во дворе величаво-мрачного замка тевтонский рык коменданта замка штурмбаннфюрера СС. — Вы будущие командиры ударных отрядов тех армий, что возьмут завтра

Париж и Лондон, когда вас поведет в бой первый солдат рейха — наш фюрер вновь надел походную шинель!

По приказу рейхсфюрера СС военная подготовка стала еще интенсивнее, дисциплина еще жестче. От зари до зари шли занятия — отчаянные альпинистские походы сменялись бешеной ездой на мотоциклах. С мотоциклов Петер, Франц и Карл пересели на броневики, с броневиков на танки типа IV.

— Офицер СС не должен бояться вида крови и трупов, — поучал в анатомическом театре юнкеров эскулап-эсэсовец из специальной научно-исследовательской команды, проводившей секретные эксперименты в концлагерях. — Вам демонстрировали действие военных газов на морских свинках, вы видели, как подышает собака в камере, наполняемой выхлопными газами. Вас познакомили с действием различных ядов. Но этого мало. Теперь мы перейдем к анатомии и патологии человека.

Когда эсэсовец в белоснежном халате начал вскрывать первый труп, виртуозно извлекая и называя внутренние органы, Карл взглянул на окровавленные руки врача в резиновых перчатках, зашатался, зажал рукой рот и пошел к выходу. Но через два-три занятия он уже учился останавливать кровотечение, зажимая артерии, и накладывать турникет, постигая основы первой помощи на поле боя.

— Откуда эти куколки? — спросил в анатомичке Франц, кивая на трупы.

— Из концлагеря, дурак! — ответил кто-то. — Видишь — дистрофия, следы побоев.

Когда приятели с чрезмерной тщательностью отмывали руки после первого занятия в анатомическом театре, Карл заметил, что розовощекий Петер вдруг сильно побледнел.

— Еще у одного сверхчеловека, — усмехнулся Карл, — сдали железные нервы!

— Иди к дьяволу! — зарычал Петер, яростно швырнув в приятеля скомканное полотенце.

Нет, другое проняло Петера. Вот была бы веселенькая встреча, если бы среди трупов оказался и труп его отца!

Раньше Петер легко отгонял от себя мысли об отце, а теперь почему-то даже спать стал плохо. Когда Петеру объявили, что его мать, поскольку она лишилась кормильца, получит максимальное жалование

за сына-юнкера — триста рейхсмарок в месяц, он обрадовался, но какой-то бес шепнул ему: «Триста марок! А. Иуда получил тридцать сребреников!»

Иногда Петеру казалось, что на него, на сына преступника, косо смотрят приятели. А Петер считал себя идейным нацистом, готов был умереть за фюрера. Он не бескорыстен, как этот фанатик Франц, он дьявольски честолюбив и ценит материальные блага, но он не похож на Карла, для которого идея лишь ступень на лестнице успеха. Впрочем, все трое начинают все больше походить друг на друга...

А через час после занятия в анатомическом театре Петер был самым счастливым человеком в Зонтгофене. На стрелковых соревнованиях он всадил все шесть пуль — две лежа, две с колена и две стоя — прямо в «яблочко» и взял первое место!

— А теперь по последней — за парад победы в Берлине! За тот, который был, и тот, который будет скоро!

...В тот июльский день сорокового года они участвовали в параде победы. Десятого июня взвилась свастика над Эйфелевой башней. Экс-кайзер Вильгельм II прислал из Голландии поздравительную телеграмму своему бывшему ефрейтору. За шесть недель германская армия, уже покорившая Данию и Норвегию, разгромила армии Голландии и Бельгии, вышвырнула с материка англичан, поставила на колени Францию. В Компьенском лесу, в том самом вагоне маршала Фоша, где в 1918 году немцы подписали акт о капитуляции, Адольф Гитлер сел в кресло Фоша, продиктовал свои условия поверженной Франции и тут же распорядился взорвать старый французский памятник победы.

С восторгом и обожанием смотрел Петер Нойман на фюрера, приветствовавшего вытянутой рукой с трибуны перед Бранденбургскими воротами проходившие парадным строем войска. Грохоча, прокатили танки — те, что прорвались под Седаном. За ними прогарцевали эскадроны кавалерии СС, прогрохотали моторизованные полки ваффен СС. Безупречным строем блеснули эсэсовские полки. Фронтовые соединения СС тогда уже насчитывали двадцать тысяч человек. Газета «Фолькишер беобахтер» называла эсэсовцев «отборным человеческим материалом для выполнения особых заданий». Под победный рев фанфар и барабанный гром

промаршировали горноегерские части с эмблемой эдельвейса на штандартах, гусиным шагом прошли серо-голубые колонны «царицы всех родов войск» — пехоты, батальоны люфтваффе, проехали на броневиках фельджандармы... Рядом с фюрером стояли Геринг, Геббельс и Гесс, генералы и адмиралы. Несметные толпы охрипших немцев кричали «хайль». На всех домах висели трехцветные флаги. «Победа!» — кричали немцы. «Мир!» — истошно кричали немки. Все лица были мокрыми — многие от слез, все от дождя. Конца не было очереди, выстроившейся перед рейхсканцелярией, у которой власти установили исторический вагон из Компьенского леса. Вечером по всей столице гремел в репродукторах голос Гитлера — двенадцати генералам вручил он жезл фельдмаршала. Допоздна офицеры и другие господа в переполненных ресторанах заказывали розовое французское шампанское — «Вдову Клико» несравненного 33-го года, а кто победнее — стучал в кабачках кружками с трофейным датским пивом. И до утра в черных водах Шпрее отражались огни фейерверка и на площадях и улицах, оглушая Берлин, Германию и весь мир, грохотали, вещая о победе германского оружия, громкоговорители.

Уже за лихтенбергскими холмами забрезжил рассвет, а трое друзей-юнкеров, порядочно захмелев, все еще обсуждали планы покорения мира.

— Итак, — подвел итог Франц, истый нацист, — вот-вот Англия возопит о пощаде, и тогда мы пойдем за землей на восток — против России! И к черту пакт!

«И к черту, — мысленно добавил Петер, — последние сомнения и сожаления!» Глядя в ту незабываемую ночь на торжествующие лица берлинцев на площадях и улицах, на лица, мокрые от слез восторга и проливного дождя, Петер думал, что, наверное, многие, подобно отцу, не верили прежде в полководческий гений фюрера, боялись поражения и крови. И вот вместе с фюрером торжествовал и Петер. И стыдился теперь, что в минуты слабости обманывал себя, валил всю вину за арест отца на сестру. Теперь ясно: в споре поколений, в споре двух Германий правда на стороне победителя!

Перед тем как лечь утром спать, Петер записал в дневнике:

«Зиг хайль!

Нашу вечную благодарность заслужил наш фюрер Адольф Гитлер, который привел третий рейх к победе и триумфу!

Наперекор главнокомандованию он добился ан-шлюсса с Австрией.

Наперекор дипломатам и политикам он аннексировал Судеты.

Наперекор своим генералам, которые считали Францию могущественной и непобедимой, он отдал приказ о наступлении и победил...

Отныне Германия обязана слепо верить в фюрера, ибо он никогда не ошибается...

Куда теперь обратит свои взоры германский орел?

Лично я думаю, что теперь, когда Франция и Англия побеждены, остается выполнить только одну крупную задачу — на восточных территориях.

Глупца может ввести в заблуждение на какое-то время пакт, подписанный в Москве. Но в конце концов этот пакт знаменовал собой лишь перемирие, а всякому перемирию приходит конец».

...Последний предфронтовой этап — юнкерское училище СС в Бад-Тельце. Приятели были довольны — война спасла их от горнила еще двух замков крови. «Будем учиться походу на восток во время похода на восток!» — заявил Франц. Но нигде еще их не готовили к войне с такой расчетливой беспощадностью, как в этом райском уголке, у заросшего черными соснами подножия баварских Альп. Почти все офицеры в этом училище были пруссаками, многие с вильгельмовскими «железными крестами». Первый же тридцатикилометровый марш отправил в ла-аарет Франца и Карла. А муштра? Великий боже! «Встань! Ложись! Бегом вперед! Подняться на руках двадцать раз! Ложись! Встать!» Такой зверской муштры приятели еще не испытывали. Час за часом под палящим солнцем на сером цементе, под дождем в грязи полей, при вьюжном ветре в заснеженных горах. По четыре часа строевым маршем. «Тяни ногу! Скоты, это вам не санаторий!» Упражнения с винтовкой: «На плечо! К ноге! На караул! Присесть десять раз!» Стрельба из всех видов пехотного оружия. Изучение всех видов русского оружия. Тактические занятия: «ночной бой», «бой зимой в лесисто-болотистой местности». Лекции по стратегии и истории войн читал профессор из военной

академии в Берлине. Битва при Каннах, Танненберг, Верден. Труды Клаузевица, фон Бломберга и фон Мольтке. Разбор недавнего разгрома Франции на огромном макете линии Зигфрида и линии Мажино. Нажимаешь кнопку — поднимается лифт с боеприпасами, стреляют орудия. Этой большой игрушкой увлекаются многие юнкера — не все еще простились с мальчишеством. Это почище набора оловянных солдатиков графов фон Рекнеров, с которым можно разыграть чуть не все битвы германской истории. Да, муштра была беспощадной. Петер спрашивал себя: превращала ли она, эта муштра, человека в скота, в робота, как уверяли красные? Втаптывала ли она в грязь человеческое достоинство? Несомненно. Но чье достоинство? Интеллигента? Да. Эсэсовца? Нет. Муштра закаляла «солдат фюрера».

Но война была уже не за горами. Петер это особенно хорошо почувствовал, когда всем им врачи накололи под мышкой иглой специального электровибратора готическим шрифтом букву «А», «В» или «О».

— Эта буква, — сказал врач Петеру, — обозначает группу крови. Она может спасти вам жизнь, когда вам потребуется срочно перелить кровь. Такую татуировку носит каждый эсэовец. Следующий!

И наконец, в канун войны с Россией, наступил долгожданный день — день торжественной эсэсовской клятвы и присвоения первичного офицерского звания в СС — звания фёнриха, прапорщика.

— До чего ж вы страшны и великолепны! — восхитился Франц видом Петера и Карла, когда те оделись к параду.

Еще по приезде им выдали все двадцать семь предметов полной эсэсовской униформы. А к параду в дополнение к форме из черного сукна они получили лакированные черные каски и белые поясные ремни с португепями. Петер посмотрел на себя в зеркало. Он здорово подрос за последние два года и все больше сам себе нравился. Белокурый, лицо загорелое, обветренное — лицо воина, лицо голубоглазого викинга. Широко в плечах, узко в бедрах. В правой окантованной серебряной вязью петлице поблескивают сталью сдвоенные молнии. Подобно свастике — это символ власти, разрушения и боевой удачи. На медной поясной пряжке не «Гот мит унс» — «С нами бог», как у вермахтовской пехоты, а девиз СС: «Моя честь — моя верность». И имперский орел у эсэсовцев не на правом

рукаве, как у вермахта, а на левом. Но на мундире пока блестят только пуговицы. И пуста левая петлица.

В шесть безукоризненных рядов выстроился на плаце «коронный» — выпускной — класс училища. Начальство нервничает, штурмбаннфюрер Рихард Шульце, комендант училища, неузнаваемо бледен. Ждут «дядю Хайни» — так сугубо неофициально называют юнкера да и все эсэсовцы своего шефа — Генриха Гиммлера. Пронзительные свистки предупреждают о приближении кавалькады.

Во двор въехали двумя шеренгами пятнадцать мотоциклистов. Следом несколько черных «мерседесов». Из третьего «мерседеса» вышел рейхсфюрер СС, весь в черном, невысокий, усталый и нахмуренный.

— На караул! — взревел не своим голосом Шульце.

В свите Гиммлера его адъютант штандартенфюрер Рудольф Брандт и не менее дюжины генералов СС — Штайнер, Гилле, да всех разве узнаешь в лицо!..

Всесильный рейхсфюрер на диво невзрачен, он ничем не выделялся бы в учительской гимназии имени Шиллера. Произнося речь, он сверкает стеклами пенсне, по-птичьему мотает головой, пытаясь, возможно, скрыть нервный тик, дергающий ему подбородок.

— Тот, кто становится под знамя СС, отдает тело и душу фюреру! По первому приказу, не задумываясь, он готов отдать жизнь за него. «Бефель ист бе-фель» — «Приказ есть приказ»! Хайль Гитлер!

Руки у «дяди Хайни» мертвенно-бледные, с голубыми жилами. Он известен как большой специалист по астрологии и алхимии, хиромантии и оккультным наукам, руническим легендам и германской мифологии, расовой евгенике и истории рыцарских орденов. Он лично придумал эсэсовскую форму с черепами и рунами, самолично разработал инструктаж гестаповских допросов. «Верным Генрихом» звал его Ади.

Под звуки национального гимна — «Германия превыше всего» — в центр плаца вышли два знаменосца. Один — с черным, увенчанным золотым орлом штандартом СС, другой — с национальным флагом со свастикой. Два офицера СС гусиным шагом подошли к ним и скрестили обнаженные шпаги так, что их концы коснулись древков. Затем под раскатистую дробь барабанов к ним подошли два командира-выпускника.

— На караул! — вновь прогремела команда в репродукторах.

Командиры-выпускники приставили по два пальца к стальным клинкам шпаг и начали четко читать присягу:

— Я присягаю тебе, Адольф Гитлер, мой фюрер, в верности и мужестве!

— ... в верности и мужестве! — вторили выпускники, держа над плечом два пальца правой руки.

— Я обещаю тебе и всем, кого ты изберешь моими командирами, повиновение до самой смерти. Да поможет мне бог!

И Петер Нойман сказал самому себе: «Теперь я ээсовец — и днесь, и присно, и навеки — аминь!»

Солнце сверкало на гордых Альпийских вершинах, играло на белом кафеле двух башен над плацем, на черных касках и в начищенных до зеркального блеска сапогах. И высоко в лазурном небе кружили черные орлы-стервятники.

— Но самое сильное довоенное воспоминание, — сказал Франц, — это тот последний экзамен!

Да, Франц прав. Это был самый тяжелый и страшный экзамен.

Их было двенадцать в отделении. Петер, Франц, Карл и еще девять юнкеров. Поодаль стоял Гиммлер со свитой.

— Главное, господа, — тонким голосом сказал «дядя Хайни», нервно теребя в руках перчатки, — это слить в офицере СС прусско-немецкий дух с победными идеями фюрера.

Свисток — ив сотне шагов от юнкеров взревели моторы десяти танков. Они еще стояли на месте, эти пятнадцатитонные танки, но ровно через двадцать минут они рванутся вперед и раздавят юнкеров. Раздавят, если они не успеют вырыть саперной лопатой достаточно глубокий индивидуальный окоп.

— Спокойной ночи, девочки! — хрипловато проговорил рядом этот остряк Карл. — И помните: солдат — это навоз истории...

Петер, Франц, Карл — все они орудовали лопатой как одержимые, ничего, кроме танков, не видя вокруг. Пот ел глаза. Бешено колотилось сердце. Горели окровавленные ладони.

Главное, не потерять голову, а мускулы выдержат.

Глина, проклятая глина!.. Дело почти не подвигается!

Петер совсем потерял чувство времени.

Стоят? Еще стоят...

Силы на исходе. Нет, не успеть!.. Окоп еще так мелок. Окоп или могила?.. Танки тронулись! Такого страха он еще никогда не испытывал.

Глубже, глубже в землю!

Вот он! Трехметровый, низкий, угрюмый лоб из серой стали! В последнее мгновение, бросаясь на дно окопа, Петер с невыразимым ужасом увидел прямо перед собой измазанные землей широкие звенья гусеницы танка. Петер вжался в землю, обхватил голову руками. Его обдало жарким дыханием мотора, запахом разогретого масла и бензина. Несусветный грохот рвал барабанные перепонки. На голову посыпались комья глины... Уши резанул чей-то предсмертный дикий крик. Ядовито пахло выхлопными газами...

Потом — словно сто лет прошло — он встал. Слева и справа бледные как привидения стояли в своих окопах Карл и Франц. Весь перемазанный глиной Карл проговорил, стуча зубами:

— Это у меня не от страха, от нервного напряжения...

Петер вспомнил — за минувшие двадцать с лишним минут он ни разу не подумал о друзьях.

Танки раздавили насмерть двух юнкеров. Третьему не повезло, он сразу же натолкнулся на толстые корни и, бросив лопату, убежал.

«Дядя Хайни» бесстрастно приказал: — Погибших юнкеров похоронить со всеми воинскими почестями. Труса списать в штрафной батальон. Остальных зачислить в новую дивизию СС — дивизию «Викинг»!

Вечером Франц сказал:

— Надо напиться, господа! Закончилась подготовка к жизни!

— Скорее к смерти! — косо усмехнулся Карл.

5. „В бурю огневую...“



Шурган. Черная буря. Вот уже целый час бушует она в бескрайней степи. Партизаны рвутся вперед, крепко взявшись за руки, наперекор урагану, назло ветру, снегу и пыли. Ни зги не видать. Черное небо и черную землю — все смешала степная буря.

Все, казалось, предусмотрел командир, только не это. Правду сказать, он слышал от Максимыча об этих черных бурях, но ведь и Максимыч говорил, что случаются они не зимой, а осенью, когда мало снега.

Ребята и так еле шли, шли уже пять часов подряд, а тут этот чертов смерч!

Каждый перед боевой операцией думал о своем. А командира, Леонида Черняховского, мучила вот уже много часов одна мысль:

«Приказано перекрыть железную дорогу. Минировать и уйти или минировать и напасть на эшелон?..»

И снова и снова вспоминал командир события последних двух месяцев. В памяти вставал решающий разговор в астраханской спецшколе...

— Дошли до ручки? — напрямик, не скрывая горечи, спросил он, быстро пробежав глазами список личного состава диверсионно-разведывательной группы «Максим». — Не группа, а гроза немецких оккупантов!

Майор Добросердов подавил вздох, достал «гвоздик» из пачки «Прибоя», покрутил папироску в желтых от никотина пальцах.

— Молодежь, она самая беззаветная, — сказал он с деланной бодростью. — Отбою нет, просятся скорее в дело. Какой порыв!

— Зое Космодемьянской тоже было восемнадцать, — вставил Василий Быковский, назначенный в новую группу комиссаром.

Черняховский хмуро взглянул на него из-под сросшихся на переносье крутых черных бровей, снова уткнул глаза в список.

— Навоюю я с ними. Детский сад. Из пятнадцати человек одних семнадцатилетних пятеро. Это же пацаны двадцать пятого года рождения. Три девчонки! Все остальные, кроме меня с комиссаром, моложе двадцати двух. Из пятнадцати членов группы восемь — больше половины — пороха не нюхали. Нет опытного помощника по разведке. Никто толком не знает немецкий. Также мне диверсионная группа!

— У вас в группе, товарищ старшина, — сдерживая раздражение, жестко проговорил майор, — шесть человек с военным опытом, два снайпера-подрывника, девять подрывников, отличная радистка, боевая медсестра. Почти все комсомольцы, все добровольцы. Комиссар хорошо знает район действия.

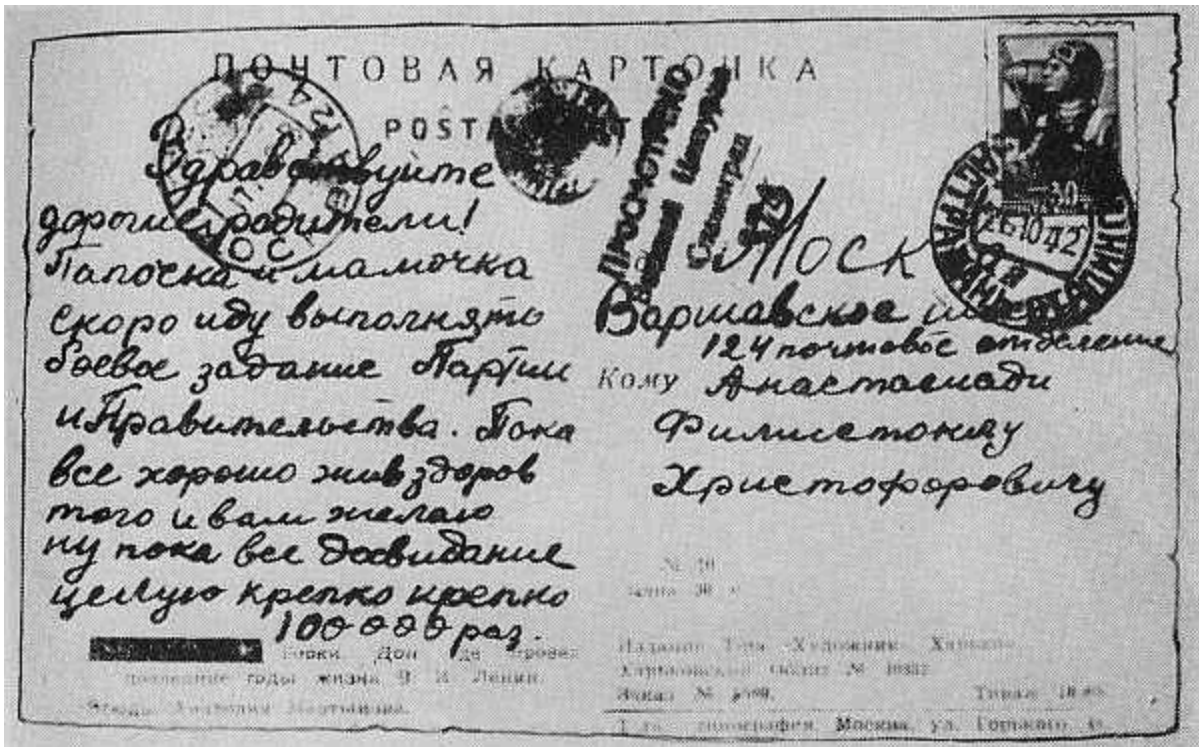
Майор покосился на серую папку на столе. В папке лежала копия письма, недавно отправленного им в Москву, в Центральный штаб партизанского движения. В нем он докладывал: положение с переменным составом крайне трудное, наша спецшкола не набрала нужного числа курсантов. Ему дали всего сорок бойцов — коммунистов и комсомольцев из элистинского истребительного отряда, остальных, сказали, сами ищите. Восемнадцатого сентября решением Калмыцкого обкома ВКП(б) и Центрального штаба он, бывший

секретарь Элистинского горкома партии, был назначен начальником спецшколы по подготовке партизанских кадров для действия в тылу врага. С тех пор он изо дня в день мотался по астраханскому округу, обивал пороги местного окружкома и эвакуированных с запада Ростовского окружкома и Калмыцкого обкома, военкоматов и штаба 28-й армии. Всюду просил, умолял, стучал кулаком по столу: «Дайте людей!» А опытных бойцов и командиров всюду не хватало, потому что война шла уже почти полтора года, потому что битва на Волге бушевала уже с июля, целых три месяца, потому еще, что 28-я армия пришла в Астрахань обескровленная после долгого отступления. Приходилось переманивать из-под носа военкоматов семнадцатилетних юнцов, перехватывать в госпиталях и на пересыльных пунктах красноармейцев перед их отправкой на фронт. Самых отважных, самых отчаянных. Одними добровольцами двигала жажда подвига, другими — романтический азарт самоотвержения, третьими — честолюбие: «Или грудь в крестах, или голова в кустах!» И были такие, которые понимали: сейчас, немедленно, любой ценой надо спасти Россию, Родину, завтра будет поздно! Но людей не хватало. Да, старшина прав — дошли до ручки!..

Ни майору Добросердову, ни старшине Черняховскому не дано было тогда, разумеется, знать о тех огромных и решающих резервах, что в глубокой тайне накапливала со всей России, со всего Союза ставка Верховного Главнокомандования за Волгой...

— Так дайте хотя б еще пяток настоящих бойцов! — упрямо сказал Черняховский.

Майор встал, подошел, скрипя хромовыми сапогами, к висевшей на стене карте фронта.



1-я открытка В. Анастасиади.



2-я открытка В. Анастасида.



Коля Хаврошин



Валя Заикина

— Мы и так дали вам больше людей, — ответил он терпеливо. — Вы же знаете, мы отправляли группы — Кравченко, Беспалова, Ломакина — по двенадцать человек. Опыт показывает, что в открытой степи большие отряды создавать нельзя — немцы их сразу засекут и уничтожат. Не тот район действия...

Майор взглянул на знакомую до мельчайших подробностей карту. Не только по карте знал он калмыцкие и Сальские степи. Четырнадцать лет было Сашке Добросердову, когда в беспокойном 19-м году записался он в комсомольскую ячейку астраханского села Золотуха. Вся мало-мальски хорошая земля в степи тогда принадлежала казачьим обер-офицерам и штаб-офицерам и богатеям — астраханским казакам из крещеных калмыков. Вместе с русской и калмыцкой беднотой воевал он за эту землю в том самом Богоцехуровском улусе, в котором группе Черняховского предстоит

перейти линию фронта. В степи скрывался от белоказачьих сотен, в степи гонялся за бандитами, в степи агитировал лучших из лучших — иногородних, казаков, калмыков — вступать в комсомол. Потом после двенадцати лет комсомольской работы от имени партии перестраивал он жизнь в этой степи. На его глазах вырос в степи новый город — Элиста. А теперь в этом городе и в степи хозяйничают гитлеровцы, и под самой Астраханью старики и подростки до кровавых мозолей долбят в замерзающей земле окопы.

— А что слышать от Кравченко, Беспалова и других? — спросил Черняховский. — Что сообщают про обстановку, про свои действия?

— Этого я вам не могу сказать, — помедлив, сухо ответил начальник спецшколы, не очень понимая, а почему, собственно, нельзя было сказать это Черняховскому. Но таковы инструкции.

Черняховский задел самый больной вопрос. Майор с середины октября совсем сон потерял. Группы, посланные в занятую врагом степь, точно в воду канули. Как правило, радиосвязь с ними продолжалась, пока они шли на запад, трое-четверо суток. Радиogramмы сообщали о продолжавшейся концентрации войск в гарнизонах, о занятии врагом почти всех сел и хуторов, о патрулировании им всех важных дорог, о появлении в степи моторизованных и кавалерийских карательных отрядов. Потом связь обрывалась. Радисты диверсионно-партизанских групп внезапно переставали выходить на связь, отвечать на вызовы радиоузла штаба 28-й армии. Напрасно каждый день звонил майор на радиоузел, заезжал туда — группы Кравченко, Беспалова, Паршикова, Ломакина, Трициненко, Мельникова молчали. И майор слишком хорошо представлял себе, что скорее всего означало это молчание.

— Скажу только, — добавил он, подавив вздох, — что вам поручается установить и поддерживать связь с двумя вашими соседями в степи — с группой Кравченко и Беспалова. Запомните пароль для явки: «Иду к родным». Отзыв: «У нас одна дорога». А сейчас я объясню вам, товарищи, поставленное вам командованием задание.

Майор снова повернулся к карте.

— Вашей группе по кодовому названию «Максим» поручается нарушать, а где возможно, парализовать коммуникации врага и в первую очередь — железные дороги, с тем чтобы не дать ему

беспрепятственно подбрасывать к фронту живую силу и вооружение. При необходимости вы бросите на выполнение этой задачи весь состав группы. Вы сделаете это, получив по радио приказ: «Перекрыть дорогу!» Любой ценой! Общая задача партизан Сталинградского фронта — ударить по вражеским коммуникациям в занятых гитлеровцами районах Сталинградской области и в смежных районах Ростовской области и Калмыцкой автономной республики, а также вести разведку в этих районах. Смотрите на карту! Две основные магистрали питают сталинградскую и астраханскую группировки врага — железные дороги Лихая — Сталинград и Сальск — Сталинград. Участок группы «Максим» — между станцией Пролетарская и станцией Куберле. Видите перегоны на этом участке — Восточный, Ельмут, Куреный, Орловская, Тавричанский? Комиссар хорошо знает эти места, верно, Василий Максимович?

— Так точно, Алексей Михайлович, — ответил комиссар, — родные места.

Черняховский испытующе посмотрел на комиссара — кряжистый, низкого роста, улыбчивый, похож на Папанина, только без усиков. Видать, оптимист, войны не нюхал. Судя по неважной выправке, человек сугубо штатский. Садясь, он машинально подтягивал галифе, точно штатские брюки, чтобы сохранить складку.

— А верные люди, — спросил Черняховский, храня прежний мрачноватый вид, — связные у нас там имеются?

Комиссар вопросительно взглянул на майора. Майор вздохнул. Этот Черняховский опять затронул больной вопрос.

— Связных не оставлено, — ответил он устало, — а верные люди, у нас всюду найдутся. На своей земле воюем.

Да, это больной вопрос. До самого вторжения немцев в эти края некоторые безответственные горлопаны объявляли паникером каждого, кто заикался о необходимости по-деловому подготовиться к эвакуации, оккупации, к партизанской войне: бросьте, мол, панику пороть, нет такой команды, не вашего ума дело! Однако и он, Добросердов, член партии с 26-го года, виноват. Умолк. Начальству, мол, виднее.

— Задание ясно, товарищи? — спросил он, стряхивая пепел с гимнастерки.

— Ясно станет на месте, — не спеша и все больше мрачняя, ответил Черняховский. — Болтать не люблю. Выполнение задания не гарантирую. Ясно, что не к теще на блины едем. Таких заданий я за всю войну не получал. Ну, а каким оружием должна наша группа разгромить оккупантов?

Майор, уловив горькую иронию в вопросе старшины, снова почувствовал раздражение. Неужели он, Добросердов, ошибся в этом человеке? Черняховского ему передали в разведотделе штаба 28-й армии — видно, рады были избавиться, но уверяли, что человек он самый для тыла врага подходящий. Ознакомившись с личным делом старшины, он взглянул с удивлением на четыре зеленых треугольника в зеленых петлицах. Этот Черняховский воевал от самой границы, с первого дня войны, командовал взводом разведки, много раз брал «языков», дрался с частями 28-й армии в окружении и вывел к своим батальон, весной был ранен во время неудачного наступления на Харьков, но остался в строю, летом был вторично ранен на Дону, когда возвращался ночью через «ничью землю» с пленным роттенфюрером из какой-то дивизии СС «Викинг»...

— Почему у вас нет командирского звания? — спросил он тогда Черняховского. — И орденов нет?

— А за что мне их давать? — усмехнулся в темные усы старшина. — За то, что пол-России сдал? — Но вслед за этим добавил: — Характер неуживчивый. Не лажу с начальством. Матку-правду в глаза режу.

И все-таки ершистый старшина понравился Добросердову, а Добросердов после двадцати двух лет партийно-комсомольской работы считал, что неплохо разбирается в людях.

Вид у старшины был самый бравый — ладно сшит, плечист. Лицо темное, горбоносое. Буйный казацкий чуб, железная челюсть. Но у него седые виски. Усы скрадывают глубокие горькие складки у рта, а в темно-карих блестящих глазах затаилась та непроходящая боль, что часто видел Добросердов в глазах у тех, кто по-настоящему хлебнул горя на войне, особенно у тяжелораненых. Черняховский живо напоминал ему кого-то. Кого именно — он долго не мог вспомнить. А потом вспомнил — Мелехова, таким, каким увидел он шолоховского героя в немом фильме «Тихий Дон».

В предвоенной биографии у старшины не было ничего примечательного. Даже не верилось, что этот вояка до войны работал товароведом в сухумском санатории «Агудзера». Отслужил действительную в пехоте. В Сухуми оставалась мать сорока шести лет и отчим Топчиян Александр Сергеевич. Немного узнаешь о человеке из анкеты!

— Не из казаков? — поинтересовался майор. Черняховский быстро взглянул на майора. Обычно бесстрастное лицо его стало еще бесстрастнее. Напряглись желваки под высокими скулами.

— Батька был казак, да умер давно, — ответил он нехотя и, всем своим видом показывая, что ему неприятны дальнейшие расспросы, уставился на группу раненых, игравших во дворе госпиталя в «козла».

Добросердов решил, что наткнулся в своих расспросах на какую-то семейную трагедию, и круто переменял тему разговора.

— В тыл врага на любое задание пойдешь? — без обиняков спросил он Черняховского. Добросердов как-то сразу понял, что темнить с ним ни к чему.

Черняховский машинально погладил перевязанное плечо и, помолчав, глядя вдаль, ответил:

— Я и сам хотел проситься. Отступить дальше некуда. Характер такой, что первым к границе хочу вернуться. А нет — так умру. Как беспартийный — за Родину.

— Беспартийный? Здесь сказано — комсомолец, с тридцать второго.

— С подпольным стажем.

— Шутите? Вам двадцать восемь.

— Не шучу. Комсомольцем я ходил в тыл немцев, а это то же самое, что подполье, только хуже.

— Почему не в партии?

— Когда уходил в тыл врага, обещали считать коммунистом, а возвращался — то одно, то другое.

За характер ругали, пару раз собирались принимать, да в окружении все погибли...

Еще больше понравился Черняховский майору в тот день, когда он пришел после выписки из эвакогоспиталя в дом № 71 по Красной набережной, где помещалась спецшкола.

На нем была не положенная ему по уставу комсоставская шинель, неразрешенная кубанка, из-под которой выбивался, отливая золотом, роскошный темно-русый чуб, невозможной ширины «гали» и на левом боку, рукоятью вперед, маузер в деревянной колодке. Как он прошел мимо комендантского патруля, было уму непостижимо. Но в партизанской спецшколе, разумеется, порой сквозь пальцы смотрели на нарушения устава.

— Рад вас видеть! — улыбнулся ему Добросердов. — Давайте ваши документы! Оформим вас, поставим на все виды довольствия...

— А документов нет, — развел руками старшина. — Я сбежал.

— Как сбежал?

— А так. Чтобы больше времени было на подготовку.

— Ну, это мы посмотрим! — сказал майор. И вызвал врача спецшколы.

— Сквозное пулевое ранение левого предплечья, — констатировал тот. — Кость задета.

— Все заросло как на собаке.

— Выходное отверстие еще не затянулось...

— Сульфидином присыпать эту болячку я и у вас смогу. Чудно!

Кончилось тем, что Добросердов сам съездил в эвакогоспиталь и, кое-как уломав начальника и комиссара госпиталя, забрал документы старшины.

А теперь настроение старшины не нравилось майору. Да, и люди подобраны самые геройские и задание дано им невысказанно сложное, но разве он «иностранный наблюдатель» и не понимает, что только срочное и предельное напряжение всех сил спасет страну?

Майор сел за стол, закурил. Поднял листок со стола.

— Оружие мы вам даем хорошее. На пятнадцать человек — шесть автоматов ППШ с тремя тысячами патронов, четыре винтовки и четыре карабина с тысячей двумястами патронами, два револьвера — один комиссару, другой — радистке, шестьдесят шесть противопехотных мин, железнодорожных ПМС, к сожалению, нет, и тридцать четыре килограмма тола, один прибор «Брамит» — глушитель для винтовки с двенадцатью спецпатронами. Продовольствия на десять дней. Ну и дальше всякая мелочь...

— Мало! — резко сказал Черняховский. — Автоматов мало, патронов всего на пару хороших боев, мин и тола в обрез на три-

четыре приличные диверсии. Нет противопоеадных мил замедленного действия!. Нет ни одного ручного пулемета...

— Пулемет мы вам решили не давать: вам предстоит крайне тяжелый путь, больше трехсот километров по занятой врагом степи до района действия. Иголка покажется в тягость.

— Покажите-ка, какие вы нам «мелочи» даете! — Черняховский взял со стола листок. — Четыре электрических фонаря, один бинокль — мало! Компасов — три. Мало. Аптечка — одна, индивидуальных пакетов — двенадцать, а нас пятнадцать, видимо, кто-то застрахован от пули. А это что? Спичек — три коробка! Довоевались!

— Дефицит, товарищ старшина! Сами знаете.

— Однако вы, товарищ майор, не бросили курить. И вся Астрахань курит, плюя на дефицит, — сквозь зубы выдавил Черняховский. — А чем мы будем бикфордов шнур поджигать, когда кончатся эти несчастные три коробка?

— Хватит, товарищ старшина! — повысил голос майор. — Мы дали вам все, что могли. Вы что — на попятный, отказываетесь от задания?

Лицо Черняховского потемнело. В глазах вскипело бешенство. Но он сдержался.

— Не надо так, — сказал он с недоброй усмешкой. — Нервы у нас у всех не в порядке.

— Я к тому, что мы никого не неволим, — медленно проговорил майор. — Посылаем только добровольцев.

— Мы готовы выполнить задание! — сказал вдруг Василий Быковский и с открытой дружелюбной улыбкой взглянул сначала на начальника спецшколы, а потом на Черняховского.

Старшина хмуро глянул на комиссара, но, встретив обезоруживающую ясную улыбку, отвел взгляд. Помолчав, Черняховский сказал:

— Самый короткий срок подготовки к такому заданию — два месяца.

Добросердов печально улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Самый большой срок — две недели. Кстати, Космодемьянская готовилась всего неделю-две.

Черняховский долгу минуту смотрел в окно. За набережной под ненастным ноябрьским небом виднелась древняя башня Астраханского кремля, ветер швырял, приклеивал к окну размоченные дождем желто-оранжевые листья. Дождь и снег. А каково там, в степи, сейчас!..

— Что в сводке? — спросил он наконец.

— С тех пор как наши оставили Нальчик, только одна сводка — наши войска ведут бои с противником в районе Сталинграда, Туапсе и Нальчика. В общем тихо. Тишина перед бурей. А откуда ветер подует — не знаю. Думаю — с востока.

Добросердов всегда так думал. С двадцать второго июня. Наперекор очевидным фактам, назло элементарной логике. И это не был показной официальный оптимизм. Это была негибкая вера в правоту и силу своего дела. Вера, которая утраивала силы, когда силы были на исходе, и творила чудеса, когда дело казалось безнадежно проигранным.

Черняховский еще раз посмотрел на карту и отдельно, веско произнес:

— Одно из двух. Или немцы погонят наших за Волгу до Урала, и тогда наша группа в тылу у них погибнет за десять-пятнадцать дней, или наши погонят немца и освободят нас. Если победят немцы, жить не хочу, поэтому пойду в тыл врага...

Он встал и без улыбки пробасил:

— Добре! Выходит, комиссар, некогда нам рассиживаться да лясы точить. Айда к ребятам!

Он подошел к столу, открыл новую пачку «Прибоя», достал тоненькую папироску, закурил и сунул Майоровы спички в карман.

— Запиши, майор, для истории — группа «Максим» перед выходом на задание получила четыре коробка спичек.

Он вышел не прощаясь. Пожав руку майору, вышел Быковский.

Майор походил из угла в угол. Потом подошел к столу, снял телефонную трубку, набрал знакомый наизусть номер.

— Что-нибудь есть? — спросил он. — Нет? Ладно, позвоню утром.

Группы, посланные в тыл врага, так и не восстановили связь с Большой землей.

Разговор этот произошел накануне седьмого ноября. А седьмого ноября в спецшколе был большой праздник. За ужином каждый выпил

свои «фронтные сто граммов». А все пятьдесят девушек получили американские подарки — маленькие изящно упакованные посылки с ярлыком: «Мы вносим наш вклад». В своих посылках Нонна и Валя обнаружили тончайшие нейлоновые чулки, шелковые комбинации, по флакончику духов и по банке кольдкрема. При виде этих союзнических подарков по заинтересованной толпе пробежал шум — восторга и радости, недоумения и возмущения.

— Красота какая! У нас таких не делали!

— Ничего себе «вклад»! А вторым фронтом и не пахнет!

После ужина клуб был битком набит; показывали «Мы из Кронштадта». Затаив дыхание смотрели курсанты, как с высокого обрыва беляки бросали в море красных моряков с привязанными к шее тяжелыми камнями. Курсанты смотрели на бесстрашных ребят в тельняшках как на своих современников, как на ребят из своей же части. Стерся рубеж двух десятилетий, исчезла пропасть между поколениями. Через две-три недели каждый из сидевших в зале мог попасть в руки такого врага, какого еще не знало ни одно русское поколение со времен татаро-монгольского ига, и каждый видел себя на краю того обрыва, пытался заглянуть себе в душу...

У Володи предательски щипало глаза. Он тарачил их в темноте, чтобы, не дай бог, не пролить непрошеную влагу и не осрамиться перед Колей и Нон-ной! Ничего себе — диверсант и разведчик! Точно девчонка, исщипал он себе бедро, напрасно надеясь болью отвлечь себя от того, что твори-лось на экране. Его страшило, что не сумеет взять себя в руки до того, как в зале вспыхнет свет.

После фильма курсанты показали наспех сколоченную программу художественной самодеятельности. Плясали гопак, с чувством читали «Жди меня», пели «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы» и о родном Днепре, оставленном немцам. Володя с успехом исполнил под баян «Вечер на рейде». А Коля Кулькин — нос картошкой, рот до ушей — повязал голову синим платочком и спел под дружный хохот курсантов сатирический вариант «Синего платочка» — «Драпают фрицы прочь от столицы, им не вернуться домой».

Потом танцевали. Черняховский раза два-три приглашал чем-то приглянувшуюся ему крепко сбитую девушку лет двадцати, скуластую и черноглазую. Танцевал он ловко, но с мрачным видом и без всякого удовольствия. Девушка тоже молчала, но разглядывала его с

напряженным интересом и все словно порывалась сказать ему что-то. Он еще раз окинул ее взглядом — полногрудая, плотная, рот полуоткрыт.

— Может, хватит выкаблучивать? — спросил он наконец. — Надоели эти танцы-манцы. Дышать нечем. Пройдемся?

Они оделись и вышли на улицу. Морозило. Во всем городе ни огонька — светомаскировка.

— А вы хорошо танцуете! — сказала она.

Да, когда-то он был веселым парнем, такие антраша выделял, на танцплощадках призы брал. До войны он был совсем другим человеком.

— Медсестра? — спросил он.

— Нет, радистка.

— На фронте была? — Он взял ее под руку.

— Нет. В штабах работала.

— Сама напросилась в этот спецсанаторий?

— Да.

— Родом откуда? — Он подвел ее к набережной.

— Из Луганска. Вообще-то не из Луганска, а из Ростовской области, хутор Ново-Русский. В тридцать восьмом пошла, пешком пошла в Луганск, поступила в контору связи. — Говорила она тихо, раздумчиво.. — Сначала на побегушках. Смеялись — куда, мол, тебе, деревенской недотепа! Была почтальоном, потом на «ундервуде» стучала, потом телеграфным ключом на комбинате «Ворошиловградуголь». Когда немцы подошли, мобилизовали, научили на коротковолновом американском «северке» работать.

— В общем как в кинокартине «Светлый путь»... Замужняя?

— Нет... Да что это вы меня, товарищ старшина, допрашиваете, точно в «Смерше»?

Внезапно он притянул ее к себе, теплые губы скользнули по ее щеке.

Она стала вырываться, уткнулась ладонями в широкую грудь.

— Да брось ты эти фанаберии! — Он еще сильнее обнял ее и с силой, неуклюже и холодно поцеловал. — Брось! Может, через две недели погибать нам!..

Она вырвалась и побежала по лужам. Он вполголоса выругал себя, закурил, поднял мокрый воротник шинели. Внизу, в потемках,

слышался сонный плеск реки.

Утром, сразу же после завтрака, у выхода из столовой она подошла к нему — та самая, скуластенькая, некрасивенькая, с черными быстрыми глазами.

— Товарищ старшина! — сказала она, краснея, с несмелой улыбкой. В ту минуту она была почти красивой. — Разрешите обратиться?

— Что еще?

— Младший сержант Печенкина направлена в вашу группу для прохождения дальнейшей службы!

Черняховский секунд пять непонимающе смотрел на нее, потом полез за спасительной пачкой папирос в карман галифе.

— Хорошо! — сквозь зубы, сжав челюсти, сказал он, сделав несколько глубоких затяжек. — Выйдем во двор, Печенкина!

Во дворе он отошел с ней к воротам, туда, где никого не было, и сказал тихо, но жестко:

— Вот что, Печенкина! Что было вчера — забудь. Ерунда на постном масле. Больше ничего такого никогда не будет. Ясно? Вы свободны!

И бросил ей вслед:

— Больше жизни, товарищ младший сержант! Поздним вечером в комнате радисток, когда уже все после отбоя легли спать, подружки спросили Зою Печенкину:

— А тебе как твой командир понравился?

Зоя повернулась к стенке, натянула одеяло на голову и горько заплакала.

Курсанты, выделенные в группу «Максим», уже обучались в школе около месяца. Если прежде они занимались диверсионно-разведывательной подготовкой по десять часов в день, а по вечерам смотрели кинофильмы и танцевали, то теперь группа «Максим» под руководством Черняховского «вкалывала» от побудки до отбоя. Преподаватели — старший лейтенант Безрукавный, лейтенант Чичкала, сам Черняховский и комиссар Максимыч принимали зачеты у группы по подрывному делу, стрельбе, тактике, топографии по программе Центрального партизанского штаба. Черняховский делился оплаченным кровью опытом... «Глазомер, быстрота и натиск...» — эти три принципа Суворова он раскрывал неустанно. Толковал о

большом — о мужестве, стойкости и товариществе, но чаще говорил о малом: как засечь пулемет по струйке дыма, вылетающей из пламягасителя, как отличить шум мотора автомашины от шума мотора танка, как связать «языка» и воткнуть ему в рот кляп. От некоторых советов командира не только девушек, но и кое-кого из парней в группе бросало в дрожь. Но каждый диверсант-разведчик обязан уметь бесшумно снять «языка». Классные занятия командир чередовал с физической закалкой — сам бегал с ними и подолгу ходил с полной боевой выкладкой в барханах Прикаспия.

Комиссар был неутомим: вел политбеседы, проводил читку газет и журналов, читал ребятам вслух «Радугу» Ванды Василевской и постоянно жаловался Черняховскому:

— Слушай! Что мне еще делать? Ну какой я комиссар — ведь в первый раз!..

Черняховский пожимал плечами.

— И я в первый раз в тыл врага. А в общем больше жизни!..

Максимиыч, этот веселый, простодушный человек, легко и быстро сдружился с группой. К нему, тридцатилетнему коммунисту, стали относиться, как к старшему брату, взыскательному, но доброму. Он умел ладить с молодежью — до того, как Астраханский окружком партии командировал его в спецшколу, он работал, военруком сельской школы. Неотесанный, даже мужиковатый, он не умел блестяще и звонко чеканить слова. Порой во время беседы он заставлял фыркать Володю Анастасиади своей образной, но не очень грамотной речью.

Однажды Володя получил письмо из дому, из Москвы, от родителей — первое письмо за все время разлуки. Не утерпев, на радостях прочитал письмо Максимиычу. Тот выслушал письмо и с невыразимой тоской сказал:

— Вот оно как получается, Анастасьев, — так он всегда называл Володю Анастасиади. — До Москвы, почитай, полторы тыщи километров отсюда, а родные пишут тебе, а до моих рукой подать, в соседней области проживают, но писать не могут — под немцем они.

И Володька узнал, что в селе Кочкино Заветинского района Ростовской области кЪмиссар оставил молодую жену Олю и годовалого сынишку, старуху мать и всех родных.

— А ты, Анастасьев, слышал, как поступают фашистские каты с большевистской родней? Завтра я вам всем расскажу...

На следующий день члены группы «Максим» собрались на ежедневную политинформацию в красном уголке. На стенах класса висели плакаты: «Народ и армия непобедимы», «Завоеванный Октябрь не отдадим», «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!» А рядом — совсем другие плакаты: «Устройство автомата ППШ», «Ручной пулемет Дегтярева»... Над батареей центрального отопления недавно повесили новый плакат: «За Волгой земли для нас нет!»

После политинформации Максимыч читал группе очерк Шолохова «На юге», опубликованный в «Правде»:

— «...Перед вечером проскакали через деревню ихние мотоциклисты. Потом прошло шесть штук танков, а следом за ними пошла пехота, на машинах и походным порядком. К ночи стала на постой часть какая-то особая: у каждого солдата по бокам каски нарисованы черные молнии, каждый глядит чертом...»

— Обожди, комиссар! — прервал чтение Черняховский. — Кто мне скажет, что это была за часть? Ну, что в рот воды набрали? Больше жизни!..

Все тринадцать курсантов молчали, и вид у них был совсем сконфуженный, как у школьников, не подготовивших урок.

— Эх, вы, разведчики называется! Долбили же вам!..

Хотя Черняховский был всего, на десяток лет старше большинства своих подчиненных, он, как это нередко бывает у людей старшего поколения, уже успел убедить себя, что поколение, встретившее войну на школьной скамье, зеленее, и желторотее, и во всех отношениях не чета тому поколению — поколению Черняховского, — которое строило Комсомольск и Магнитку, рвалось в Испанию, воевало в финскую. Ему казалось, что и Володя Анастасиади, и Нонна Шарыгина, и все юнцы в его группе избалованы, «слабы в коленках». Потому и хмурился он и говорил резко, с раздражением, твердо веря, что по-настоящему воевать, да еще в тылу врага, могут только его ровесник:..

Нонна Шарыгина — самая младшая в группе — вспыхнула вдруг и подняла руку.

— Тебе что? Из класса приспичило выйти? Пылая жаркой краской от обиды, Нонна сказала:

— Это была дивизия СС «Викинг». Вы нам говорили — каски у них с черным знаком СС по бокам...

— Ай да пигалица! — изумился командир. — Давай дальше, комиссар!

— Так вот что пишет про зверства фашистских мерзавцев мой земляк Шолохов: «...Вышел я на рассвете за калитку. Гляжу — сосед мой, Трофим Иванович Бидюжный, лежит возле колодца убитый, и ведро возле него валяется, Убили за то, что ночью вышел воды зачерпнуть, а по ихним законам мирным жителям ночью и до ветру выйти не разрешается. Утром они еще одного, хлопчика двенадцати лет, застрелили. Подошел он к ихней мотоциклетке поглядеть — ребятишки-то ведь до всего интересанты, — а фашист с крыльца прицелился в него из револьвера, и готов. Мертвых хоронить не разрешали. Матери-то какво было глядеть на своего сынишку! Глянет из окна, а он лежит около сарая, снегом его заносит, глянет — и упадет наземь замертво...»

Голос комиссара вдруг прервался, все перенесли мысленно из донской станицы, где бесчинствовали «викинги», в класс астраханской спецшколы и с изумлением заметили, что по плохо выбритой щеке комиссара, коммуниста, тридцатилетнего казака, застревая в щетине, ползет слезинка. Все смотрели куда угодно, только не на Максимыча. Володя Анастасиади вспомнил разговор с комиссаром накануне и подумал, что он еще не ответил родителям. А Черняховский резко проговорил:

— Дальше, комиссар!

Максимыч пожевал против воли кривящиеся губы и, дернув кадыком, тихо продолжал, низко склонив голову:

— «...Что же, лежит малое дитя, согнулось калачиком и к земле примерзло. Девки возле школы лежали: юбки поверх голов завязаны телефонной проволокой, ноги в синяках...»

— Читай, читай, комиссар! Больше жизни!

— «Кому надо мимо школы проходить, стороной обходят. Только тогда и прибрали убитых, когда эта часть ушла...»

Каждый день этих двух недель комиссар деревянным голосом читал одну и ту же сводку: «Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика».

...Странными делами приходилось порой заниматься командиру диверсионно-разведывательной группы. Черняховский добился

досрочной выдачи сухого пайка для группы. Получив его на складе, сунул в вещмешок несколько банок консервов и шматок сала с лиловой казенной печатью и сказал подвернувшемуся Коле Лунгору и Володе Владимирову:

— Пойдемте со мной. Дело есть.

Добыв увольнительные, он повел ребят напрямиком на базар, по дороге инструктируя их:

— Вы, я вижу, ребята оборотистые. До зарезу нужны спички. Две-три «катюши» — кресало с огнивом. Вот вам полтыщи, после праздника осталось. Но деньги сейчас почти ничего не стоят. В «сидоре» — харч. Задача — выменять спички на консервы и сало. Патрулю не попадаться. Ясно?

— Ясно... — неуверенно протянул Лунгор, поглядывая на базарную толкучку. — Только я слесарь хороший и снайпер-подрывник ничего вроде, а вот насчет базарных дел слабоват.

— Ты мне про себя не рассказывай, — отрезал командир. — Все про тебя знаю, футболист. Жил ты, Коля-Николай, под Лисичанском в Донбассе, слесарил, в футбол знаменито играл, а пришел немец — отец с матерью в оккупации остались, а ты эвакуировался, браток, на Урал. Там тебя призвали, в июле ранили под Ростовом, потом — госпиталь, а теперь ты партизан и выполняешь мой приказ. Может, я тебя еще и там, в тылу у немцев, вот так на базар пошлю. В часть без спичек и «катюш» не возвращаться. — Он посмотрел на Владимирову, всегда грустноглазого и задумчивого, но ничего не добавил, сказал только: — Все! А ну, больше жизни!..

И пошли на толкучку слесарь Лунгор и Владимир Владимирович Владимиров, названный так в детдоме безымянный и бесфамильный подкидыш, ставший в пятнадцать лет рабочим-судосборщиком, а в семнадцать — подрывником в группе «Максим».

Нахмурясь, Черняховский проводил их глазами и прошелся по базару. Цены не радовали — за кило сала просили шестьсот рублей, за кило говядины — двести, за литр молока — полсотни, кило хлеба — сто рублей. Он выбрался из толпы и зашагал по лужам на полевою почту — надо было черкнуть матери, сообщить, что он скоро уезжает в длительную командировку, что она будет получать за него деньги по аттестату — семьсот рублей в месяц. Надо будет ребятам из группы сказать, чтобы не забыли деньги родителям послать — для многих это

будет первая в жизни получка. А может, мать с отчимом уже эвакуировались? Ведь только Кавказский хребет отделяет немцев от Сухуми. Сложив исписанный листок треугольником, он написал адрес: Сухуми, санаторий «Агудзера», Черняховской Нине Георгиевне. В санатории теперь, наверно, госпиталь...

На улице он услышал неясный крик, увидел небольшую толпу военных и штатских. Здоровенный пьяный парень в фуражке с крабом и бушлате — наверно, из каспийской или волжской флотилии — бил у калитки истошно вопившую молодуху. Рослый, плечистый парень лет двадцати, в кубанке и венгерке, перекрещенной портупеей, схватил матроса за правую руку и, улыбаясь, предупредил:

— По-хорошему, кореш, говорю, брось бабу бить!..

Другой морячок потянул миротворца назад:

— А ты не лезь, пехота, а то и тебе накостыляем. Твоя хата с краю. Она с интендантом путается...

Но парень, улыбаясь еще шире, вновь вцепился в руку драчуна.

— Кончай, говорю, концерт! По мне, так можешь дома у себя бить, а не на людях. А то какой же я, граждане, мужчина, ежели я мимо пройду!

Драчун взревел и, отпустив молодуху, кинулся с кулаками на парня. Увесистый волосатый кулак просвистел у парня над самым ухом, а в следующее мгновение замелькали руки, ноги и черные брюки-клевш, и верзила очутился в луже. Молодуха закричала еще пуще и, растопырив пальцы рук, норовила вцепиться ногтями в своего избавителя. «Полундра!» — крикнул морячок. Черняховский оглянулся — к месту происшествия подбегал парный комендантский патруль с автоматами. В один миг старшина схватил парня за рукав, ногой вышиб калитку и втащил его во дворик.

— Стой! Стрелять буду! — грозно крикнул сзади патрульный.

Они сломя голову пробежали мимо перепуганного цепного пса, нырнувшего в конуру, в глубь двора, по огороду, перемахнули через дощатый забор, снова пробежали по вскопанным картофельным грядкам, пересекли еще чей-то двор и, открыв снаружи калитку, чинно, как ни в чем не бывало вышли на людную улицу недалеко от базара, смешались с пестрой толпой.

— Здорово мы хвост отрубили! — рассмеялся парень, блеснув крепкими белыми зубами. — А ты орел, старшина, хотя, честно говоря, я старшин смерть не люблю — загонял меня один на строевых занятиях, а потом первым в плен сдался! Видел, как я кореша того? Как звать-то тебя? Солдатов я. Из Севастополя. Зови запросто — Володей. Слушай, тут пивка негде дернуть, а? Неужто я задаром удрал в самоволку! Когда нас отводили в Астрахань на переформировку, ребята во сне видели черную икру с жигулевским! Только арбузы и хороши в этой Астрахани!

— Разведчик? — спросил Черняховский. — Дивизионный?

— Факт, — улыбнулся тот. — А ты откуда знаешь?

— Не по уставу одет — раз. Трофейные часы с браслетом во время драки блеснули — два. Сапоги у тебя с застежками с немецкого офицера — три. Выражение «отрубить хвост» — четыре. Прием джиуджитсу, которым ты свалил моряка, — пять...

— Ну прямо Пинкертон! — захохотал Солдатов. Через час Черняховский привел Солдатова в часть.

— Прошу оформить ко мне заместителем по разведке, — сказал он майору Добросердову.

...На всех фронтах, на всей стране, на всем мире лежал тогда кроваво-красный отблеск сражения на Волге. Особенно ярко горел этот отблеск в Астрахани, которая по приказу Гитлера подлежала захвату немедленно после Сталинграда. Город заполнили эвакогоспитали, пересыльные пункты, отправлявшие людей туда, за Волгу, в адское пекло, где не успевали рыть братских могил. Хмуро торчали на фоне осенних туч, то быстролетных, то зловеще медлительных, башни и стены Астраханского кремля.

Черняховский ходил по городу вместе с Макси-мычем, для которого Астрахань была если не пупом вселенной, то по крайней мере самым большим городом его жизни — в городах покрупнее комиссару не приходилось бывать. Дикая тоска теснила сердце Черняховского. И тоску эту лучше всего могло объяснить местоположение прифронтовой Астрахани на карте Союза. Такое чувство было у Черняховского в этой Астрахани, точно поставил его немец спиной к стенке!

Астрахань — ворота в Бухару, Иран, Индию... Комиссар показывал ему прежние караван-сарай. Рассказывал под крик чаек

историю города, построенного на месте древней столицы хазаров. Рассказывал с таким энтузиазмом, что Черняховский покосился на Максимыча — забывается комиссар, не соображает, что он, Черняховский, не какой-нибудь турист, а солдат, который пятился, отстреливаясь, истекая кровью, две тысячи километров от границы, пока не уперся в море и пустыню. Астрахани — это окраина, рубеж, конец света. Ну, не света, так Европы. За Астраханью — Восток, Азия!.. За Астраханью верблюды ходят! А бывший военрук неполной средней школы увлеченно лез в исторические дебри, рассказывал о Чингис-хане и о внуке его Батые, основателе Золотой орды, о возникновении в XV веке Астраханского царства, о том, как Иван Грозный взял Астрахань у хана Гирея и присоединил Астраханский край к Московскому государству. Вскоре и сам Черняховский заслушался этой почти забытой после школы повестью давно минувших дней. Глядя на кремль, он живо, как в кино, представлял себе штурмующую его пеструю лавину восставшей казацкой голытьбы, знамена Стеньки Разина под этими стенами и самого атамана, который, быть может, стоял после взятия города вон на той башне вместе со своими сподвижниками. А через год пытали атамана страшными пытками, но ни слова из него не вытянули. И четвертовали Разина на Красной площади...

Шли годы. Вниз по Волге плыли не только купеческие корабли за солью и икрой, но и гекботы и гильоты. Плыли в основанный Петром Первым астраханский порт. Отсюда Петр вел войну против Персии и Турции. В Астрахани бушевали стрелецкие бунты. Вновь гуляла в степи казацкая вольница, к Емельяну Пугачеву убегали астраханские казаки, пока и «мужицкого царя» не четвертовали в Москве царские слуги. Когда Наполеон повел «Великую армию» на Россию, войско астраханских казаков ополчилось со всей Россией на врага.

В начале века губернский город Астрахань был грязным и гиблым городом. Много раз опустошали его не только турки и казаки, но и чума, холера, пожары и наводнения. То и дело гремели набатом, возвещая о новой беде, колокола двух соборов и трех десятков церквей. Но не знала Астрахань, как и вся Россия, беды горше той, что надвигалась теперь с запада. Когда налетали немецкие бомбардировщики и выли сирены, гудки пароходов и паровозов, казалось, это Астрахань, это сам город воет в предсмертной тоске.

Астраханцы со дня на день ждали такого же налета бомбардировщиков, какой разрушил Сталинград двадцать третьего августа.

Когда немцы пытались в конце лета прорваться к Астрахани, Ставка бросила на защиту города стрелковую дивизию, три стрелковые бригады и части двух укрепленных районов. Им удалось остановить врага на подступах к Волге в калмыцких степях — на рубеже Енотаевка — Юста — Халхута. Но надолго ли? Судьба не только Астрахани, судьба всего фронта, всей войны должна была решиться там, на развалинах волжской твердыни.

Черняховский и комиссар видели, как готовилась Астрахань к обороне. И оборонялась — «юнкеры» нередко прилетали бомбить город и порт, снабжавший Сталинградский фронт оружием и боеприпасами. Не только кремль — весь город был забит войсками. Формировались новые танковые и моторизованные полки. Под простреленные спасенные из «котлов» красные знамена вставляли новые дивизии. Все они уходили — одни в Сталинград, другие на Кавказ. А «мирные», не военнообязанные астраханцы по шестнадцать часов в сутки рыли окопы на берегах Волги, и в больших штабах, заброшенных сюда вихрем войны из Белоруссии, с Брянщины, доставали забытые со времен гражданской войны карты Урала и заволжских степей.

Черняховский и комиссар хорошо знали, что спецшкола готовила командно-политические кадры и инструкторов-подрывников во всех районах округа и даже Дагестанской республики на случай захвата этих районов гитлеровцами. Знали они, что закладываются тайные продовольственные базы для будущих партизан в приволжских лесах в низовьях Волги. Город трещал от огромной массы людей, эвакуированных из Украины и Крыма. Эти люди собирались опять ехать куда-то на восток. Но ни Черняховский, ни комиссар не верили, что еще можно куда-то отступить — за Волгу, за Урал. Нет, надо стать насмерть. Потому пошел в партизаны Черняховский. Потому отказался Максимыч остаться инструктором в спецшколе.

И потому Черняховский, постояв с комиссаром над Волгой, поглядев в сумрачные степные дали за рекой, достал из нагрудного кармана сложенный вдвое листок и сказал:

— Прочитай-ка, комиссар!

Максимум пробежал глазами по заявлению и с улыбкой сказал:

— Я — за. Только неверно ты тут написал.

— Что неверно? — нахмурился командир.

— Да вот ты пишешь: «Хочу умереть за Родину...» А мы не смертники с тобой, не мученики. Я, Леонид, лучше тебя знаю степь, знаю зимнюю степь, представляю, как трудно нам придется в этой почти необитаемой степи в тылу миллионной немецкой армии. Я тоже готов умереть, но я вовсе не хочу умирать! Ведь сам ты только и толкуешь — «больше жизни!»...

— Ладно, переправлю. Ты не понял. Я грудью амбразуру не закрою, под танк с гранатой не кинусь. Мне мало дота, мало танка. Помирать, так под самую дорогую музыку! Рекомендацию дашь?

— Эх! Кабы рекомендации давали только тем, с кем готовы пойти в тыл врага! Конечно, дам, командир!

Леонид Матвеевич Черняховский ушел в тыл врага коммунистом.

Шестнадцатого ноября он получил партбилет и в тот же день сдал его. Сдал свой партбилет и Василий Максимович Быковский. На стол комсорга спецшколы легло девять комсомольских билетов — Степы Киселева, Коли Кулькина, Коли Лунгора, Вани Клепова, Володи Анастасиади, Павла Васильева, Нонны Шарыгиной, Вали Заикиной, Зои Печенкиной. Сдали все документы, все письма и фотокарточки любимых и близких остальные члены группы № 66 «Максим» — Володя Солдатов, Ваня Сидоров, Володя Владимиров и Коля Хаврошин. Черняховский расписался в получении приказа о задании, поставленном перед группой «Максим». Вся группа приняла партизанскую присягу.

На рассвете семнадцатого ноября из двора дома № 71 по Красной набережной выехал крытый «студебеккер». Только один «посторонний» человек провожал группу «Максим». Стоя одиноко на углу Красной набережной в черной от угля ватной куртке, он с узелком в руках с час ждал появления грузовика. Он проводил его долгим взглядом, махнул рукой, потом перекрестился. Этот «посторонний» человек был отцом Коли Хаврошина, а в узелке был сахар, полученный по карточке, — сыну хотел отдать.

Расплескивая полузамерзшие лужи, грузовик помчался к причалу волжской флотилии. В порту пятнадцать человек, одетых в шинели, ватники и ватные брюки, с ушанками на голове, вооруженных

автоматами, винтовками и карабинами, гуськом поднялись по мокрому скользкому трапу на свинцово-синий военный катер. Шестибалльный ветер с Каспия нес ледяной дождь вместе со снегом, трепал вылинявший рваный флаг над катером.

Майор Добросердов вошел на катер последним и крепко пожал руки всем членам группы. Скупые, неловкие слова, по-мужски крепкое рукопожатие. На минуту он задержал широкую жесткую ладонь Черняховского в своей руке и тихо сказал:

— Помните! Никаких боевых операций до установления связи с группами Кравченко и Беспалова. Как установите с ними связь, немедленно радируйте! Может, узнаете что и о других — о Паршикове, Ломакине... Вся надежда на тебя, старшина!..

Черняховский понял: у Большой земли нет связи с группами, и майор боится, что и «Максим» пропадет, не узнав о судьбе групп Кравченко и Беспалова.

Бронекатер отчалил от пристани и пошел по маслянистой темной воде вверх по течению, разрезая носом высокую волну.

Майор долго махал им вслед. Вернувшись в часть, он со вздохом подписал приказ, снимавший с довольствия членов группы «Максим».

...Ребята сняли тяжелые вещевые мешки. Все были небывало возбуждены. Глядяв иллюминаторы на свинцовые волны, исхлестанные дождем, на отстававшие от катера колесные пароходы, ребята пели боевую песню, известную всем, кто проходил подготовку в спецшколах перед отправкой в тыл врага:

Слушают отряды песню фронтовую,
Сдвинутые брови, твердые сердца...

Командир сидел над картой-пятикилометровой и время от времени задавал комиссару вопросы о маршруте похода. Комиссар пел вместе со всеми. Черняховский изучающе поглядел на Максимыча: тот был тоже радостно возбужден, и со стороны могло показаться, будто он просто счастлив тем, что возвращается в родные места, к жене и сыну. Но ведь комиссар знает — группе предстоит такой переход, какой редко выпадал партизанам. Трехсоткилометровый марш исключительной трудности в гиблом краю, в котором уже бесследно

пропала не одна группа вот таких же готовых на все энтузиастов. Черняховский посмотрел в запотевший иллюминатор. Вот уже много месяцев — с июля — несут свинцовые воды Волги вместе с оглушенной взрывами рыбой трупы и обломки разбитых бомбами переправ...

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Полтораста километров вез их бронекатер против течения вверх по разбушевавшейся Волге. Ребята продолжали петь песни. Запевали Володя Анастасиа-ди и Коля Кулькин. Нежно звенело чистое сопрано радистки Зои. Хорошо пел украинские песни Коля Лунгор. Спели о Катюше и об Андрюше, о веселом ветре и о застенчивом капитане, о темной ночи, когда пули свистят по степи, и о том, что до смерти четыре шага. И у каждого — кроме, может быть, командира, уткнувшегося в карту, — проплывали перед мысленным взором разрозненные картины детства, и юности, и первых месяцев войны. И хотя далеко не все было в детстве и юности, а тем более в войну, светлым, солнечным и счастливым, вспоминалось только самое хорошее.

И комиссар, пробегая взглядом по лицам ребят, думал, что вот каждый думает о своем, а за этой своей судьбой стоит и одна общая судьба — всенародная судьба рядовых строителей новой жизни, кипучей жизни тридцатых годов с их высоковольтным энтузиазмом и патриотизмом, с ударничеством и стахановским движением, с безоглядной верой в Сталина и нетерпеливой верой в лучшее завтра. Жили большими делами, великими надеждами, работали в охотку, туго натянув ремень. Теперь вся эта довоенная жизнь рисовалась нескончаемым праздником, и это было самым важным, самым сильным оружием на войне.

В мокрых от брызг иллюминаторах проплыли серые избы села Среднего Лебяжьего на берегу.

Родина послала в бурю огневую,
К бою снарядила верного бойца!..

— Слушай! — Черняховский потянул комиссара за рукав ватника. — Ну ладно, нет там в степи ни деревьев, ни кустов, ни хлебов, ни высоких трав, но хоть балки, овраги там попадаются? И хватит уж глотку-то драть...

— Балок там до самых Ергеней никаких нет, — ответил, печально усмехнувшись, комиссар. — Это тебе не донская степь. Местность, как говорится, непригодная для оседлой жизни. А петь не мешай — в последний раз поем...

У Володи Анастасиади от этих слов мороз по коже продрал. Но когда стихла песня о Железняке, навеки оставшемся в степи, он тут же запел новую — «Прощай, любимый город!» — свою любимую одесскую. Потом девчата запели про бурю, ветер, ураганы и про нестрашный им океан.

Нежданно-негаданно к ним заглянул курносый матросик в мокром бушлате и крикнул:

— Вы, того, не паникуйте, но нас тут «мессер» высматривает! Пока сидите тихо!

Оборвалась песня.

Солдатов и еще человек пять пошли было посмотреть что к чему, но Черняховский резко сказал: «Сидеть!», и все сели, а Володька Солдатов сделал вид, что ему вовсе не интересно — больно надо любоваться каждым «мессером», уж кто-кто, а он насмотрелся на этих «мессеров».

Черняховский взглянул на комиссара и негромко сказал:

— Пойди посмотри!

Максимум вылетел на тесную, мокрую от брызг палубу и застал как раз тот момент, когда «мессер», вынырнув из голубой прогалины в небе, с ревом пронесся над широким волжским плесом и полоснул короткой очередью по корме и по мачте катера.

— Право руля! — хрипло скомандовал капитан.

Матросы ответили «мессеру» отчаянной пальбой из трескучих зенитных пулеметов, и «мессер», сделав круг над рыбацким поселком Шамбаем, улетел. Какой-то матрос-зенитчик азартно заорал:

— Никак попали! Глянь-ка, дымок!

— Так же пилот сигару курит! — насмешливо сказал его второй номер.

Капитан подошел к Максимычу и, закуривая трубку, сказал, улыбаясь глазами:

— А вы везучие. Этот «мессер» просто где-то все боеприпасы успел расстрелять!

После этого боевого как-никак эпизода настроение у ребят еще больше повысилось, снова все пели песни. Потом принялись за сухой паек — ели бутерброды с салом. Солдатов тайком от командира клянчил водку у девчат.

Под вечер, когда стало укачивать даже парней, еще раз объявили тревогу — с запада на восток пролетел самолет-разведчик, тоже с черными в желтых обводах крестами, марки «фокке-вульф». Но «костыль» не заинтересовался катером, полетел дальше, к луговому берегу, не сделав ни одного выстрела.

Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону...

Стемнело рано. Шел восьмой час путешествия по Волге. Ребята умолкли. В темноте Володька Анастасиади стал искоса поглядывать на Нонну. Нонна стрельнула в него взглядом из-под пушистых черных ресниц и, потупившись, стала обтирать носовым платочком казенную часть карабина. Зоя зачем-то взяла рацию, как ребенка, на колени и, раскрыв защитного цвета сумку, что-то укладывала и переукладывала внутри. Солдатов уснул и всхрапывал на плече у пригорюнившейся Вали, Комиссар в пятый раз громко рассказывал Павлику Васильеву о встрече с «мессером». Черняховский сунул карту в кирзовую полевую сумку и хмуро задумался, по очереди вглядываясь в сидевших напротив партизан своей группы. Почти все задымили в полутьме папиросами, закурив для экономии от одной спички.

Почувяв, что настроение изменилось к худшему, Коля Кулькин сказал:

— А не жалает ли уважаемый публикум услышать, как Коля Кулькин, двадцать второго года рождения, сорок второй номер сапог, заделался на страх Гитлеру партизаном?

— Желаем! Давай жарь, Коля! А ну-ка, соври что-нибудь!

— Зачем врать? Я как на духу. Так вот, значит. Лежу я в госпитале, дырку штопаю, что фриц мне один осколком пропорол в таком неудобном, извиняюсь, месте, что я целых два месяца стоя кушал. Раз вызывает меня из палаты новенькая сестра Настя на рентген. Прихожу к врачихе. «Ранбольной Кулькин?» — спрашивает. «Так точно», — говорю. И натурально, сымаю штаны, а она: «Не надо, — говорит. — Мне твоя грудная клетка нужна». — «Пожалте!» — говорю. Просветили меня в два счета насквозь, и пошел я в бильярд играть, а через несколько дней начинаю я замечать, что Настя, сестричка милосердия, на меня как-то очень жалеючи смотрит. Ну, я, как герой женского фронта, глазки ей строю. Сестричка ничего из себя, в кудряшках беленьких. Вот и строю я генеральный план наступления на Настино сердце. Время избрал я самое что ни на есть подходящее для такой операции — Настино ночное дежурство. Подозвал к себе сестричку. Все спят в палате. А она спрашивает жалостно так: «Тебе что, Кулькин, утка нужна или судно?» — «Нет», — отвечаю. И вздыхаю. «Плохо, ранбольной, себя чувствуешь?» — «Сердце, — отвечаю, — не на месте!» И за ручку беру. А она вдруг в слезы. «Ох, Коля, Коля, — говорит, — не жилец ты на этом свете!» Ну я, натурально, остолбенел. Как пыльным мешком из-за угла. И, братцы мои, вытянул я из Настеньки мало-помалу страшную врачебную тайну. Оказывается, рентгеновский снимок показал, что рак легких у меня и жить мне, несчастному, осталось от силы пару месяцев! И вся любовь! До утра я лежал в холодном поту, а утром отписал отцу-матери в поселок наш, поклонился всей родне. И к обеду принял я великое решение. «Вот что, Николай Степанович, — сказал я себе. — Воевал ты не ахти как, все жизнь свою берег, на груди твоей широкой нет и медали одинокой! А теперь, когда ты все равно не жилец, неужто без славы загнешься?! Нет, помирать — так с музыкой!» И написал красноармеец Николай Степанович Кулькин, двадцать второго года, русский, бывший столяр, проживавший в поселке Ворошилова, третья Елшанская улица, дом шестнадцать, заявление — прошу направить меня поскорее в тыл врага!

Ребята рассмеялись. Солдатов захохотал.

— А как же твой рак? — деликатно спросила Нонна, глядя на Колю Кулькина широко открытыми глазами.

Тот состроил скорбную мину.

— В том-то и трагедия всей моей молодой биографии. Выписали меня, как только стал я садиться на стул без крика, а про рак ни слова. Я, натурально, ничего не понимаю. А тут Настенька подвернулась. «Ты меня, — говорит, — ранбольной Кулькин, извини, очень я перед тобой виновата. Спутала я тебя с твоим однофамильцем из другой палаты. Того, горемычного, давно в мертвецкую снесли, а ты, Коля, здоров как бык. Поздравляю!» Я чуть в обморок не упал — спасибо Насте, ватку с нашатырным спиртом под нос сунула... Очнулся я и как заору: «Мамочка! Роди меня обратно!»

Тут уж захохотала вся группа, и даже Черняховский усмехнулся и благодарно взглянул на Кулькина. Худо тому отделению или взводу, отряду или группе, где нет своего Васи Теркина...

А Кулькин не унимался. Теперь он солировал:

Ах ты, лодочка-моторочка, моторочка-мотор!
Перевези на ту сторону, где мой
Фрицхен-ухажер!

И снова пытливо вглядывался в лица разведчиков командир группы. Впереди такие трудности и опасности, о которых они и понятия не имеют. Хватит ли сил у этих юнцов?..

На правый берег Волги, в Енотаевке, высадились вечером. Шел снег пополам с дождем. Их встретил на темной пристани, прилепившейся к узкой прибрежной полосе под обрывом, продрогший человек в мокрой кожанке.

— Альтман, — представился он Черняховскому, — из Калмыцкого обкома. Как доплыли? — И добавил вполголоса: — К переходу линии фронта все готово!

Черняховский попрощался с капитаном и командой катера и повел группу за представителем обкома вверх по крутой деревянной лестнице. Они поднялись на высокий берег, где в лицо им сразу ударил ветер, и пошли по улице села. В избах — ни огонька. Светомаскировка, как и в Астрахани. Но село не спало. Слышался говор, пахло варевом и дымом полевых кухонь, сновали тени людей в шинелях, шумели моторы.

— Группа поужинает здесь, — сказал Альтман, показывая на большую избу, перед которой стоял крытый грузовик. — А мы с вами и комиссаром зайдем в соседнюю избу, потолкуем.

В избе, занятой разведотделом штаба 51-й армии, Альтман познакомил Черняховского, Максимыча и Солдатова — командир прихватил его с собой — со щеголеватым капитаном с двумя орденами на диагоналевой гимнастерке. Капитан допил чай из кружки и развернул карту-двухкилометровку на грубо сколоченном столе.

— Если повезет, — сказал он, — то через рубеж вы перейдете без потерь. Вот смотрите! Фронт в нашем районе стабилизировался к исходу двенадцатого сентября. Немец окопался в степи в пятидесяти километрах к западу от Енотаевки, где вы сейчас находитесь, за калмыцким селением Юста. Тылы охраняются также частями Седьмого румынского пехотного корпуса. До Юсты я подброшу вас на машине. Вы пересечете линию фронта километрах в десяти северо-западнее Юсты. Сплошной линии фронта на протяжении пятидесяти-шестидесяти километров там нет — как под Москвой прошлой зимой. Эта полоса патрулируется противником. Дальше озеро Сарпа, видите, оно тянется полосой с юго-востока на северо-запад. От южной оконечности озера фронт тянется до Сталинграда. Вот здесь, к югу от озера, — это в ста семидесяти пяти километрах юго-юго-восточнее Сталинграда — вы перейдете охраняемую противником грунтовую дорогу. Она идет из Цаган-Усун-Худук — это поселок совхоза «Сарпа» — на юг к селению Утта. От этой дороги по прямой на юго-запад до курганов на Маныче, где вы собираетесь базироваться, — около трехсот километров пути по голой степи в тылу немцев. Вопросы будут?

Капитан закурил трофейную трубку. Черняховский молча смотрел на карту. Альтман поднес к глазам руку, взглянул на часы.

— Тогда разрешите мне задать вам вопрос, — сказал капитан, — почему вы не летите туда самолетом с парашютами?

— Потому, что мне дали в путь три коробка спичек! — со злой дрожью в голосе бросил в ответ Черняховский. — Потому, что на фронте у нас не хватает самолетов!

Капитан покачал головой, вздохнул и, свертывая карту, сказал:

— Да-а-а! Ну что ж! Давайте, товарищи, поужинаем да выпьем наркомовских сто граммов перед дорогой. За ночь вам надо полсотни

километров отмахать. Погодка подходящая будет — туман.

— Сводка прежняя? — спросил Максимыч.

— Да, бои в Сталинграде, под Туапсе и под Нальчиком!

Наскоро поужинали стылой гречневой кашей из отдававшего хозяйственным мылом концентрата, приправленного «вторым фронтом» — американской свиной тушенкой. Ели молча, под тихий треск фитиля во фронтовой коптилке из снарядной гильзы. Капитан налил в четыре кружки водки из алюминиевой походной фляжки. Черняховский отрицательно мотнул чубом и отставил кружку, комиссар последовал его примеру, Солдатов чокнулся с капитаном и Альтманом и, выпив, потянулся было к кружке комиссара, но Черняховский положил на кружку ладонь:

— Хватит с тебя! Кончай и иди скажи ребятам, чтобы через пятнадцать минут были готовы к маршу. Водку всю слить в бутылки и сунуть в мешки. Все фляжки наполнить водой — в безводную степь идем!

Да объясни, чтобы много не ели, есть перед опасным делом вообще не рекомендуется — любая рана в живот станет смертельной. Проследи, чтобы оружие и снаряжение у каждого было подогнано, чтобы ни стука, ни бряка. Проверь оружие.

Когда Солдатов ушел, Черняховский спросил капитана:

— Нельзя ли отвлечь внимание немцев демонстративными действиями под Юстой и особенно под Цаган-Усун-Худуком?

— Это не предусмотрено, — ответил капитан.

— И никакого огневого прикрытия?

— Нет. Переходить надо без шума. Черняховский отодвинул от себя миску. — Понятно. Идем.

Группа уже была готова к выходу, когда в избу вошли Черняховский, Максимыч, Альтман и капитан, застегивавший новенький овчинный полушубок. Только Валя Заикина, ломая в спешке карандаш, надписывала адрес на открытке, положив ее на брезентовую санитарную сумку с красным крестом. Завидев начальство, встали «старички», знакомые с воинской дисциплиной, — Степа Киселев, Коля Кулькин, Коля Лунгор, Ваня Клепов. Нехотя встал, застегивая гимнастерку поверх матросской тельняшки, севастополец Володя Солдатов.

— Сидеть! — сказал Черняховский, обводя всех суровым взглядом.

Момент был торжественный. Все замерли и молча смотрели на командира. Многие ждали каких-то особенных слов. А командир сел около печки на табуретку и самым обыденным тоном произнес:

— За ночь нам надо пройти полсотни километров. Застрянем в пути — капут. Тот, кто плохо завернет портянки, погибнет. Всем снять сапоги.

Он стащил свои сапоги, развернул новые байковые портянки.

— Ты тоже, комиссар. И ты, Солдатов.

— А я не маленький! — слышно пробормотал Солдатов, но повиновался.

Командир снял десятилинейную керосиновую лампу с крючка и, шлёпая босыми ногами, обошел всех членов группы.

— Шарыгина! Это что за номер? Носки, две пары портянок и два экземпляра астраханской «Волги»?!

— А что же мне делать, если у меня тридцать шестой, а на складе не было сапог меньше тридцать девятого размера.

— Так я и думал. Все новички натерли бы кровавые волдыри. За потертость ног буду наказывать! Смотрите, как это делается. Солдатов, помощи девушкам! Шарыгиной стельку подложи из газетной бумаги!

Когда, наконец, с помощью опытных пехотинцев все снова обулись, Черняховский подошел к девушкам и поднял их зеленые вещевые мешки. Держа за лямки вещмешок Нонны, он подошел к Степе Киселеву и поднял другой рукой его мешок.

— Что ж это, мил-друг! — сказал он ему укоризненно. — У такого здоровяка, Ивана Поддубного сидор весит столько же, сколько у девчонки-пигалицы. А еще комсорг! А ну-ка, мужики старослужащие, разгрузить девчат! Заберите тол, патроны — не все, конечно. Радистке оставить рацию, один комплект радиопитания и пять кило продуктов энзе. Владимиров! Прикрепляю тебя к радистке — головой отвечаешь за нее и за рацию. Медсестре оставить пятнадцать килограммов сверх медикаментов. Пигалице...

— Товарищ командир! — вдруг запальчиво вскрикнула Нонна, и в глазах ее блеснули слезы. — Я вам не пигалица, а подрывник...

— Ладно, ладно! Народному мстителю Шарыгиной оставьте десять кило. Чтобы ее ветер в степи не унес. Уложить все так, чтобы

ни стука, ни бряка. Консервы завернуть в белье и газетную бумагу. Фляжки с водой — под ватники, чтобы не замерзла.

Нонна выхватила у командира свой вещмешок. Ох, как она испугалась, подумав, что он начнет проверять содержимое мешков! У нее там и комбинация, и чулочки, и духи американские. Куда ж их было девать — не выбрасывать же!

Когда все «сидоры» были снова завязаны, Степа Киселев взвесил в руках свой до отказа набитый мешок.

— Ничего себе! Пудика два с гаком.

— Выходи! — скомандовал командир. — Обожди! — поднял руку комиссар.

Все повернулись к нему с надеждой, что вот сейчас он скажет какие-то нужные слова, и боясь любых слов в эту минуту.

Но комиссар сказал только хриловато:

— Присядем, друзья, перед дорогой!

И все молча сели. И капитан из разведотдела сел, нетерпеливо глянув сначала на ходики на бревенчатой стене, потом на свои часы.

Тикали ходики. Потрескивал фитиль в лампе, заправленной бензином с солью. Вызывали под ветром стекла завешанных плащ-палатками окон. За печью вкрадчиво шуршали прусаки. Нонна вытянула шею, чтобы увидеть себя — такую чужую, в шинели и с карабином — в подслеповатом настенном зеркале в резной фанерной раме.

— Выходи! — вставая, сказал командир и вышел первым, не оглядываясь.

Из раскрытой двери зябко, промозгло пахнуло холодом и сыростью. Володя Анастасиади вышел, тоже не оглядываясь. Взволнованный, счастливый, полный отваги, он смотрел только вперед. Следом, с теми же блестящими глазами, заспешили, сталкиваясь в дверях, Нонна, Коля Хаврошин и другие новички. За ними вышел Максимыч. «Старички», кто стоя, кто еще сидя, понимающе переглянулись. Эти, пусть и не вполне отчетливо, знали, на что шли.

Коля Кулькин усмехнулся и, повернувшись к образам в красном углу, перекрестился с поясным^по-клоном и сказал:

— Ну, Никола-угодник, помогай христолубивому воинству!

Но даже Володька Солдатов не улыбнулся. Надевая трехпалые рукавицы, Володька оглядел долгим прощальным взглядом избу, приметив и десятилинейку, и покрытый чистым рушником хлеб на столе, и кадку с водой у двери, и кровать со стеганым одеялом и горкой подушек. Потом он снял рукавицу и положил ладонь на еще теплый шершавый бок печи. Ему словно хотелось унести с собой в черную степь частицу уюта и домовитости, живое тепло русской избы. Никогда не ругавшийся Паша Васильев, сержант-кадровик, бывший счетовод тамбовского колхоза «Всходы социализма», выругался, помянув бога, Христа и Адольфа Гитлера, а комсорг Степа Киселев, всегда невозмутимый., всегда молчаливый, уже в дверях сказал со вздохом:

— Надо бы нам, старичкам, взять шефство над новичками...

— Мировая идея! — обрадовался Коля Куль-кин. — Так и быть — беру шефство над Валечкой или Зочкой!

Смех двадцатилетних «старичков» в темных сенях прозвучал не очень весело.

Володя Анастасиади прерывающимся от возбуждения голосом сказал Нонне Шарыгиной:

— А знаешь, Нонна, Зоя Космодемьянская на задание вышла тоже семнадцатого ноября — ровно год назад!..

Его услышал Степа Киселев. И комсорг вдруг остро почувствовал, какую нелегкую взвалил он на себя ответственность — он, комсорг, в ответе за Володю, за всех новичков, которые войну рисуют себе лишь по газетам и фильмам, совсем не знают войны, не знают, какой это жестокий, сильный и хитрый враг — фашист!..

Минут через десять грузовик, не зажигая фар, повез группу по едва видной в туманных потемках дороге в Юсту. Теперь уже никто не пел. Холодный степной ветер насквозь продувал кузов.

В полном мраке под тентом командир высек искру с помощью кресала и огнива, прикурил от трута и сказал:

— Спички не тратьте, беречь от воды и пота. Спичками поджигать только бикфордов шнур. Все коробки, что на толкучке да сало и консервы выменяли, сдайте Васильеву, сержанта Васильева назначаю своим заместителем по диверсиям. Вот так. Воду тоже беречь!

— Ой, девчата, — вдруг вскрикнула Наина, — я зубную щетку и пасту в тумбочке оставила!

Солдатов зло рассмеялся. — А бигуди прихватила?

Ехали по изрытой танками дороге почти три часа.

Когда машина остановилась в Юсте, капитан вылез из кабины, подошел к заднему борту и с напускной веселостью в голосе сказал:

— Вылезай, приехали!

Черняховский выбрался из кузова и приказал:

— Сидеть до моей команды! Товарищ Альтман! Идите сюда, поговорить надо.

Он оглянулся. Едва виднелись смутные контуры не то юрт, не то изб. За Юстой — рубеж, кордон, передовая. Так далеко на восток немец еще нигде не забирался.

У него больно сжалось сердце — от Карпат до Юсты в калмыцкой стели — две тысячи километров отступила Россия. И с нею в дыму и пламени по горьким дорогам отступления шел он, Леонид Черняховский. А теперь впервые пойдет далеко на запад.

Капитану он сказал:

— Мы не успеем за ночь пройти пятьдесят с лишним километров да еще с тяжелым грузом. Опоздали. Сейчас почти одиннадцать часов. До рассвета восемь-девять часов. Если все пойдет хорошо, рассвет застанет нас как раз при переходе охраняемой дороги.

Капитан с раздражением пробормотал что-то себе под нос. Альтман быстро сказал:

— Вы правы, но что же вы предлагаете?

— Одно из двух: или откладываем переход на завтра на девять вечера, или вы подбрасываете нас еще на двадцать километров вдоль линии фронта на северо-восток-восток.

— По бездорожью?! — спросил капитан. — Как пить дать застрянем. Вон развезло все опять!

Черняховский прошелся с хрустом и треском по льду подмерзшей лужи в глубокой колее.

— Морозец крепчает.

— Я машину губить не намерен.

— Меня волнует не ваша машина, а люди и выполнение задания.

— Что ж, тогда отложим на завтра. Только я предупреждаю — я доложу о вашем отказе перейти фронт командованию...

— Хоть самому господу богу!..

— Не горячитесь, товарищи! — вмешался Альтман, закуривая в темноте от зажигалки. — И не будем тратить время. Завтра обстановка на фронте может резко измениться. Рискнем поехать по бездорожью.

— Я не разрешаю! — повысил голос капитан.

— Ответственность беру на себя. Поехали!

— Товарищи! — сказал Максимыч, спрыгнув на землю из кузова. — Дайте я сяду с водителем, укажу дорогу — тут калмыки скот гоняли, а дальше вьючная тропа пойдет.

Однако водитель очень скоро сбился в потемках с пути. Качало хуже, чем на Волге. Ребят в кузове швыряло из стороны в сторону, взад и вперед, как в десятибалльный шторм на Каспии. Несколько раз машина начинала буксовать на гололеде, и тогда все, включая ворчавшего капитана, вылезали из кузова и дружно толкали вперед пятитонный «студебеккер».

— А ну, больше жизни! — торопил Черняховский. — Мороз крепчает — туман рассеивается!

Время от времени свирепый степной ветер, дувший с запада, доносил до них приглушенные расстоянием звуки стрельбы, и у всех, у новичков и «старичков», тревожно сжималось сердце.

Все, кроме Черняховского, с облегчением вздохнули, когда через полтора-два часа этой сумасшедшей езды «студебеккер» стал в бархане посреди степи: что-то испортилось в моторе. Колеса увязли в песке. Им не удалось сдвинуть с места грузовик. Водитель поднял капот и стал искать поломку, капитан бормотал ругательства и грозился, что будет жаловаться, а Черняховский, посмотрев в кабине на карту, командовал:

— Идем к фронту! Солдатов и Клепов — в дозор. На расстоянии видимости. Идти в рост. Дистанция три метра. Азимут — двести тридцать пять градусов. Остальные за мной!

Кто за кем идет, где в походном строю место командира, комиссара, радистки, где самые надежные автоматчики, где девушки — все это давно и досконально продумал командир.

Солдатов взглянул на компас, перевесил автомат на грудь.

— Айда, Ваня!

Черняховский снял рукавицу и торопливо пожал руку Альтману. К капитану подошла Валя Заикина.

— Опустите, пожалуйста, эту открытку в ящик! Капитан протянул руку Черняховскому.

— Не поминай лихом. Думаю, через месяца два-три повстречаемся. Ну, ни пуха...

Но он уже не существовал для Черняховского. — Иди к черту! Комсорг, пойдешь замыкающим! Альтман встрепенулся вдруг, прочистил горло.

— Товарищи! — сказал он торжественно.

— Не надо! — мягко прервал его Черняховский. — Не надо громких слов. Некогда!

Группа гуськом двинулась за дозорными. Марш начался.

Глядя вслед группе, Альтман и капитан слышали, как Черняховский глухо называл фамилии: кому на ходу вести наблюдение вправо, кому — влево.

Комиссар стоял, поджидая командира, вглядываясь в лица проходивших мимо парней и девчат, еще недавно совсем чужих и незнакомых. И он вдруг всем сердцем почувствовал, что нет теперь для него на свете парней и девчат важней и родней, и сердце защемило от острого сознания своей ответственности за них.

Солдатов шел и тихо говорил Ване Клепову:

— Степь-то, а? Голая как коленка. Обеспечь-ка скрытность передвижения! Ежели защучат — хана, брат! Пиши пропало!

— Маскхалаты зря не выдали.

— Эх, молодо-зелено! Их на складе еще не получили — раз. И земля сейчас пегая — два. Гляди, снега меньше, чем голой земли. Спасибо, туман хоть, видимость плохая...

Солдатов едва слышно насвистывал «Синий платочек». Под ногами тревожно шуршала, цеплялась за ноги мерзлая сухая полынь. Время от времени Солдатов переставал свистеть, останавливался, с полминуты прислушивался к завываниям ветра в степи.

— Используя, говорят, складки местности. А где они, спрашивается, эти самые складки? Верно, господь бог эту местность заместо гладильной доски использует. О партизанах он вовсе не думал, создавая эту степь!

— Брось трепаться! И свистеть брось! Веди наблюдение...

— Цыц! Кто тут старший? Смирно! И как говорит наш командир — больше жизни!

Через полчаса в мглистой тьме впереди смутно забелела, клонясь к земле, бледная ракета.

— Видишь? — прошептал Ваня Клепов.

— Не слепой! — обиделся Солдатов.

Говорят, только один человек из десяти наделен «кошачьим» зрением и один страдает «куриной слепотой». Солдатов видел в темноте, как кошка.

— Так свернем давай! — сказал Ваня.

— Не надо. Там нет фронта, пусто, это их разведчики шныряют. Посмотрим, где следующая загорится. Вон она! Левее — значит, к Утте идут.

— А вон еще одна правей! Переплет!.. Может, командиру доложить?

— Леня сам все видит. Не робей, Ваня! — усмехнулся Солдатов. — Со мной не пропадешь! Ветер в нашу сторону дует. Гляди под ноги — тут уже могут быть мины!

Солдатов вдруг остановился и, повернувшись боком к ветру, закурил, прикрыв огонь от спички ладонями.

— С ума сошел! — зашипел Ваня.

— Не дрейфь, салага! Ты еще не знаешь Солдатова! Свет от спички на километр видать, от папиросы — на полкилометра, да не в такую ночь. А кроме того, я Леню Черняховского, если по правде сказать, в таком деле больше немцев боюсь, но и он ничего не заметит. Полный вперед! Проклятая степь! Попробуй-ка тут сличить местность с картой!

Ворча, покуривая, насвистывая, Солдатов ни на секунду не ослаблял наблюдение. Сектор наблюдения — вся степь впереди, мысленно разделенная на зоны: дальнюю, среднюю и ближнюю. Снова впереди, немного ближе зажглась ракета, описывая низкую дугу над невидимым горизонтом. В ее слабом, дрожащем анилиновом свете закурился снежной пылью узкий участок степи. Солдатов шел теперь немного медленнее, кошачьей походкой, осторожнее ставя ногу на носок. Он поднял уши шапки-ушанки, положил руки на дуло и приклад ППШ.

Снова впереди почти одновременно зажглись две осветительные ракеты. На этот раз донеслись два слабых хлопка — два выстрела из ракетниц. Траектория полета — с юго-запада на северо-восток,

перпендикулярно линии фронта на этом участке. На глаз определить расстояние до ракет трудно, мешает туман. Солдатов остановился, поднял и резко опустил руку — знак «Ложись!». Оглянувшись, увидел: сигнал понят, командир лег, за ним залегла и вся группа. Солдатов поднес к глазам светящийся циферблат «омеги» и стал нетерпеливо ждать новых ракет. Минут через пять впереди, немного левее, вновь взвилась ракета. Он засек время: 0,57. Уставился немигающим взглядом на секундную стрелку. Звук хлопка донесся ровно через три секунды. Он быстро сосчитал в голове: зимой звук распространяется на 20 метров в секунду быстрее, чем летом, — 320 метров в секунду, 320 на три (число секунд) — 960 метров. Может, немного дальше — ветер донес по равнине звук скорее, ночь его усилила. Значит, около километра до немцев.

Солдатов кинул взгляд на компас. Ракета догорала в 20 градусах западнее заданного азимута. Он встал и поднял обе руки вверх: «Продолжать движение!» Как назло, почти стих ветер, стало тише. С северо-востока донесся едва слышный звук автоматных очередей. Скорее всего немцы-охранники в этом калмыцком селении совхоза «Сарпа» палят для острастки. Автоматные очереди слышны ночью на расстоянии трех-четырех километров.

Пройдя около четырехсот метров, Солдатов подал новый сигнал: «Внимание!» Теперь следовало опасаться новых вражеских ракет. Пройдя еще метров двести, он нагнулся, сунул в рот докуренную папиросу, затушил ее и положил в карман — окурочек «Путины» не следовало оставлять там. И курить — даже умело, даже в кулак — больше нельзя было.

— Ну, Ванек, или пан, или пропал!

Ракета! Солдатов мгновенно залег, оглянулся. Порядок — все залегли, лежат правильно — не на снегу, а на темной плешине земли.

— Раз, два, три... — шепотом считал Солдатов.

— Ты что?

— Ракета горит девять секунд. Чему тебя в твоей пехтуре учили?

Ракета — ее выстрелили слева, в пятистах метрах, — погасла. Он снова встал, подал сигнал: «Делай как я!» Ване Клепову приходилось одновременно зорко следить за действиями старшего дозорного и оглядываться на силуэт командира, маячивший позади, — не подаст ли какой сигнал? Несколько раз он говорил Солдатову:

— Не спеши! Теряю зрительную связь с группой! Теперь шли, низко пригнувшись. Щелчок — это Солдатов взвел автомат. Когда по расчетам Солдато-ва до места, где немцы выстреливали ракеты, оставалось метров сто пятьдесят, он остановил группу и прислушался. Вдруг схватил Ваню за руку — впереди смутно слышался говор. Немецкий говор! Желто блеснул огонек спички. Солдатов вскинул руку с автоматом: «Вижу противника!» Второй сигнал: «Ложись!» Минут через пять немцы ушли влево. Он сказал:

— Прикрывай! Пойду гляну, что к чему. Видал — чуть не нарвались. Скажи мне спасибо!

— Дай я пойду! Ты старший — я тебя должен прикрывать.

— Выполняй приказ, Клепов! — скомандовал ему Солдатов отползая по-пластунски.

У Вани не было часов. Ему казалось, что Солдатов давно должен вернуться, он уже собрался было доложить командиру, как вдруг увидел быстро ползущего к нему разведчика. Привстав, Солдатов поднял вверх правую руку, подал сигнал «Путь свободен» и ящерицей пополз обратно. Ваня передал сигнал- командиру и поспешил за Солдатовым.

Вскоре он дополз по следу Солдато-ва до неширокой тропы в снегу, изрытой коваными немецкими сапогами. Вот и свежие шипастые отпечатки. Они шли здесь только что, пускали ракеты и пристально вглядывались в степь. От этой мысли Ваня задохнулся, ему стало жарко.

— Сюда! Сюда! — услышал он сбоку яростный полусшепот Солдато-ва.

Ваня подполз к нему, и Солдатов сказал злым шепотом:

— Балда! Проворонил мой новый след — то первый был. Пересекать тропу надо не по снегу, а по земле вот здесь. Ползи дальше, я командира дождусь,

В руках он мял окуроч немецкой сигареты, подобранный на тропе. По состоянию табака и бумаги он и без ракет мог определить, когда проходили немцы.

Командиру он сказал:

— Товарищ командир! Дозволь, я этим гадам гостинец тут оставлю? Наверняка патруль подорвется!

— Что! А ну, убирайся отсюда! Вперед!

Ракеты еще долго слабо вспыхивали и гасли в темноте за спиной. Потом их проглотила ночь. Еще через час безостановочного движения Черняховский сменил Солдатову и Клепова.

— Опять в дозор пойдешь под утро, — сказал он Солдатову. — Перед охраняемой дорогой.

Солдатов довольно улыбнулся — от этого командира, видать, похвалы не дождешься, но ему, Солдатову, больше всяких похвал по душе именно такое признание его незаменимости как разведчика. И он опять стал насвистывать «Синий платочек».

Володя Анастасиади специально подошел ближе всех к командиру, мозолил глаза, чтобы тот послал его, Анастасиади, в дозор, но командир — вот обида — снова выделил «старичков» — Колю Лунгора и Колю Кулькина. Обиженный Володя утешился мыслью, что только ему одному из новичков дали не винтовку или карабин, а новенький, с заводской смазкой автомат ПППШ!

Медленно прополз час, другой. Туман почти совсем рассеялся; порой его пелену совсем относил в степь. В прорехе бысролетных низких туч льдистым блеском вспыхивали звезды. Местами там, где на поверхность выступала соль, земля «потела» и под ногами чавкала грязь. То на сапоги огромными комьями налипала глина, то все скользили и падали на льду. Володя Анастасиади снова и снова поднимал с земли Нонну. Падал сам. Владимиров взмок, поддерживая и ставя на ноги радистку Зою, а к утру, когда девушка совсем обессилела, ему пришлось нести еще ее сумку с радиобатарейми. На ходу он стал пить воду из фляжки.

— Передать по колонне, — сказал командир, — воду пить только с моего разрешения! Снег есть только самый чистый и понемногу!

Черняховский шел все тем же широким шагом. Всем было ясно: если рассвет застанет их между двух огней — между двумя гитлеровскими гарнизонами — немцы перестреляют их в открытой степи, как куропаток. А нестерпимая усталость подавляла все, даже сознание смертельной опасности, даже инстинкт самосохранения. Они шли за командиром, шатаясь и падая, и непреодолимая апатия расслабляла волю, сковывала ум и тело. Только бы лечь и уснуть, лечь и уснуть... Не хватало сил перевесить винтовку с одного плеча на другое, переставлять сбитые в кровь ноги в промокших и заледеневших сапогах. Не было сил нести непомерно тяжелый мешок

за спиной. Но опять раздавался грозный голос командира, ненавистный в ту минуту и спасительный.

Ему, командиру, было труднее всего. Сильнее дикой усталости и боли от незаживающей раны было в нем чувство ответственности за выполнение задания, за жизнь вверенных ему парней и девчат. Удастся ли перейти дорогу? Не сбилась ли группа с пути? Вон опять упала Шарыгина, если не сможет встать, на руках далеко не унесешь — это погубит группу, нельзя и оставить гитлеровцам.

— А ну, орелики! — то и дело хрипел Максимыч. — Мы ведь на запад, на запад идем!

Опять соленая роса на солончаке. Похоже на снег, а это белая корка соли. Опять гололед. Опять падает Нонна. За ней Валя. А вдруг кто-нибудь ногу подвернет?..

Володя Солдатов шел сзади и все насвистывал или даже тихонько, еле слышно напевал: «Синенький, скромный платочек...»

Шел седьмой час пути, когда Черняховский остановил группу на привал — почти все снопами упали на землю. Командир подозвал к себе Солдатова. Вместе с Солдатовым к командиру подошел Ваня Клепов.

— Сядем. Посмотрим карту. Солдатов — фонарь! Клепов! Прикрой-ка свет. Вот Богоцехуровский улус — калмыцкий район. Мы прошли около тридцати пяти километров и находимся, по моим расчетам, вот здесь, около этой группы худуков — степных колодцев, их калмыки вырыли. Твоя задача — как можно скорее найти эти худуки. Чтобы мы могли точно сориентироваться по карте. Это крайне важно для успешного перехода дороги! Иди вот в этом направлении! К худукам близко не подходи — могут быть мины. Возьмешь с собой Анастасиади! Вернетесь по своим следам. А ну, одна нога здесь — другая там!

— Я возьму с собой Ваню Клепова, — сказал Солдатов.

— Возьмешь с собой Анастасиади! — отрезал Черняховский. Командир хотел, чтобы все новички поочередно приобщились к разведывательному опыту Солдатова.

Проводив взглядом дозорных, командир встал и негромко произнес:

— Кулькин, Лунгор, Киселев, Васильев! Занять круговую оборону! На расстоянии видимости, Кулькин — на север, Лунгор — на

запад, Киселев — на юг, Васильев — на восток. Остальным — отдыхать десять минут. Можно выпить два-три глотка воды. Кто до ветру — хлопцы направо, прочие налево! Брось ржать, Кулькин! Марш на пост!

Многие уже не слышали командира — они уснули, как только повалились в изнеможении на мерзлую землю. Только Нонна усилием воли не давала уснуть усталому мозгу — она ждала Володю Анастасиади. Через десять минут дозорные не вернулись, но Черняховский все равно стал тормошить и будить всех,

— Вставай, комиссар! Буди этих туристов! Печенкина, проснись! Всем встать и пройтись. Пальцами ног шевелите! Кто обморозится — тому крышка. Вставай, Заикина! А ты, Владимиров, особого приглашения ждешь? Шарыгина, приказываю встать! Водки глотни! Только немного — водка все тепло из тебя на морозе выдует!..

Все чаще и тревожнее поглядывал командир на восток, туда, где за калмыцкой степью, за широкой Волгой занималась утренняя заря. Уже пять утра! Пока еще виднелся только бледный мазок над горизонтом, но шли минуты, прошло еще десять, пятнадцать минут, дозорные все не возвращались, и мазок на восточном горизонте светлел, рос вширь и ввысь, и командир вдруг разглядел, увидел, что у комиссара изо рта с каждым выдохом густо валит пар, промокшая от пота ватная куртка тоже клубится паром. Да, светало!..

— Всем сесть, — хрипло выговорил Черняховский. — Перемотать портянки. Заикиной осмотреть всем ноги.

— Идут! Идут! — воскликнула вдруг Нонна. — Солдатов идет, товарищ командир!

Пряча волнение и радость, Черняховский прочистил горло и резко сказал: — Не ори на всю степь, сорока!

Солдатов устало подошел к командиру и виновато проговорил:

— Не нашли, нет этих проклятых худуков! На севере слышали стрельбу из немецких винтовок и автоматов. Значит, там этот... как его... Цаган-Усун-Худук. В трех километрах. А дорога совсем рядом — вон там торчат телеграфные столбы.

Дорогу группа переходила в том же порядке, что и пешую тропу, где чуть не столкнулись носом к носу с немцами. Солдатов разведаль участок между двумя немецкими дзотами, Черняховский выставил в кювете по два автоматчика в боковое охранение — они не спускали

глаз с дзотов, похожих в туманной мгле на невысокие курганы. Все ползли. Подползли к краю дороги, а там встали и, тревожно вдыхая слабый запах этилированного бензина, пригнувшись, ступая боком, быстро пересекли широкую, изрытую, изъезженную танками и автомашинами грунтовую дорогу с глубокой колеей. Вновь, впервые после госпиталя, увидел Черняховский такой знакомый и ненавистный след, отштампованный покрывками семитонных «бюссингов» с их характерным рисунком. Эту фашистскую печать на советской земле видел он на дорогах Белоруссии и Орловщины, под Харьковом и у брода через взбаламученный Дон.

— Ну разреши, Леня! Я мигом. Может, танк или самоходка подорвется. Или машина с эсэсовцами!

— Дорогу не трогать! Заминируй тремя противопехотками наш след!

Да, кабы не степь, а лес!.. В степи группа идет, оставляя, как караван верблюдов, ясный след!

Когда группа отошла с километр от дороги, замыкающий Степа Васильев передал в голову колонны:

— Машины!

Черняховский оглянулся — теперь и он услышал завывания моторов, увидел световые конусы, отбрасываемые автомобильными фарами.

Опять пронесло!

И вдруг вспышка и грохот взрыва! Колонна стала. Кругом полетели разноцветные ракеты, послышалась автоматнo-винтовочная стрельба. По степи засвистели пули. Черняховский подполз к Солдатову, ухватил его за ворот так, что пуговицы полетели.

— Твоя, герой, работа?!

— Полегче! Не бойся: фрицы подумают, это наши фронтовички сработали!..

— Молчать... твою!..

Солдатов отполз, тихо насвистывая.

Еще целых два часа после того, как погасли позади ракеты и стихла стрельба, вел, тянул, гнал вперед группу Черняховский. Солончаки теперь на границе Богоцехуровского и Икипохуровского улусов попадались обширные и частые. Соляной раствор просачивался в раскисшие сапоги и огнем обжигал натруженные, окровавленные

ноги. Последние пять километров Анастасиади почти нес на себе Нонну, повесил за спину ее карабин. Когда он сам вконец выдохся, на помощь к нему, ворча и ругаясь, пришел Коля Кулькин. Степа Киселев взял у радистки сумку и тащил на себе теперь около сорока килограммов. Паша Васильев поддерживал Валю, силком вырвав у нее санитарную сумку, но скоро сам стал падать, и его сменил комиссар. Валя спотыкалась на каждом шагу. Перед глазами у нее плыл красный туман, а в ушах грохотало так, как грохочет Каспий в самый сильный шторм.

— Вперед! Орёлики! — звал Максимыч.

На рассвете над ними проплыла свинцово-синяя снеговая туча. Она припорошила снежком след группы в степи. Это безмерно радовало комиссара. Но прошла туча, и очистилось небо, и на востоке запылала великолепная, но совсем не желанная заря. С тоской глядел он на серые, изнуренные лица товарищей, на почерневшее лицо командира. И с еще большей тоской — на редкую, низкую и чахлую поросль солянки и тамариска на солончаках.

Ваня Клепов подошел к командиру и доложил:

— Худук — двадцать метров слева! Черняховский сразу же достал карту из полевой сумки, теперь он сможет сориентироваться — в этом районе на карте помечены всего два худука!

— Вперед! Шире шаг! Ух, дохлые мухи!

— Еще немного, — сказал, тяжело дыша, комиссар, — и солонцы кончатся...

Было уже совсем светло, когда проклятые солончаки остались позади и вновь потянулась полынная степь с клочками низкорослого тальника в мелких лощинках.

Упала Нонна. Прямо лицом наземь. С ней повалился Анастасиади. Володя поднялся и пытался ватными от усталости руками поднять девушку, но это ему никак не удавалось. Все остановились. К Нонне подошла Валя, стала на колени и, всхлипнув, проговорила:

— Обморок вроде... Да что я, врач, что ли?! — И вдруг обхватила Нонну руками и, прижавшись к ней, закрыв глаза, тихо, расслабленно и горько заплакала.

Володька Анастасиади сел и в полной растерянности посмотрел на Валю, всегда такую сильную и бодрую, затем со страхом перевел взгляд на бледное, с закрытыми глазами лицо Нонны.

Предвидя остановку, повалился наземь один, второй, третий... Зоя почти висела на Степе Киселеве.

— Вперед! — яростно хрипел Черняховский. — Народные мстители! Гроза немецких оккупантов! Заикина! Отставить слезы! Сопли не распускать! Больше жизни!..

Максимиыч рванул за ворот, сдвинул на затылок ушанку.

— Все, Ленья! Лучше вон той низинки с тальником мы ничего не найдем для дневки... А ребята-то, а? Ну, зря ты это... Орлы, ей-богу, орлы!

Он подошел к Нонне.

— Дай ей водки, Валя!

Черняховский со злостью взглянул сначала на мглисто-алый шар солнца над дымно-багровым горизонтом и пустынную степь с лоснящейся темной землей и розовым отблеском на пятнах снега и соли, потом на трофейный «анкер» — 9.20...

— Группа! — сказал он, напрягая охрипший голос. — За комиссаром — в тальник! Вы трое — Кулькин, Лунгор, Сидоров — занять круговую оборону! Вас сменят через полчаса Васильев, Хаврошин, Анастасиади. Третья смена — Киселев, Клепов, Владимиров... Остальным — лечь, снять наполовину сапоги, вот так, натянуть выше головы воротники шинелей, дышать собственным теплом!

Володя Анастасиади уже ничего не слышал. Вместе с Киселевым и командиром он кое-как дотащил бесчувственную Нонну до тальника, повалился рядом с ней, дернул кверху воротник шинели у Нонны, и тут же все радужно поплыло у него перед глазами, как на пляже в Одессе, когда он смотрел сквозь осколок бутылочного стекла на озаренный солнцем прибор.

Через полчаса его разбудил Кулькин. — Долго мне тебя будить? Вставай на пост! Проснись, говорят! Автомат забыл. Вон туда ползи, по моим следам! Да не в рост — ползи! Ноги замерзли небось? Сказано было — спустить наполовину сапоги... Шевели пальцами! Потому и смена через полчаса.

Поземка заносила неподвижные тела.

— Через полчаса разбудишь Владимирова, — глухо сказал, ложась и натягивая воротник выше головы, Кулькин, — а он меня

потом. Да! Возьми часы! Эх, «Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой за-а-амерзал ямщик.....»

Коля уснул, шевеля обветренными губами. Володя, дрожа от холода, грязный, мокрый, вконец разнесчастный, сцепил зубы и пополз, отстраняя рукой сучья тальника, острые, как сабли от намерзшего инея...

Солнце светило ярче и выше. Нонна совсем по-детски всхлипывала во сне. Рядом лежал на животе, прихрапывая, подложив руку под голову, командир. Шапка у него сбилась набок, и то ли показалось Володе, то ли на самом деле в свалявшемся чубе Черняховского заметно прибавилось седых волос.

6. Черный марш



Карл так разошелся, хватив неразбавленного спирта, такие закатывал речи, что Петер счел за лучшее закрыть дверь купе.

— Мы черные викинги, — кричал этот потомок одного из магистров Тевтонского рыцарского ордена, — и нет ни в эс-эс, ни в вермахте парней отчаяннее нас! Тебя, фанатика Франца, и тебя, Петера — ландскнехта, джентльмена удачи! У нас, мои дорогие братья по расе, того и гляди угодишь в специальный рай для эсэсовцев, в Валгаллу, где ангелы в черных мундирах поют «Хорст Вессель», сопровождая себе на золотых арфах. Герои! Гордые тевтоны! Сыны Нибелунгов! Мы все стоим одной ногой в могиле! И в петлицах у нас, женихи смерти, не черепа, а наши личные посмертные фотографии в самом недалеком будущем!..

— Ерунда! — запротестовал Франц. — Я закончу войну где-нибудь на Огненной Земле и вернусь сюда гаулейтером Крыма! А пока вызволим камерадов и Паулюса, укрепимся на Волге, и поеду я с вами в заслуженный отпуск. В Виттенберге все штафирки сдохнут, когда увидят нас в форме, с крестами и медалями! Девочки все у наших ног,

шнапс льется рекой. А потом махнем в Гамбург, взглянем на метро, пройдемся по набережной, будем дуть пиво в портовом кабаке «Одиннадцать баллов», великолепное пиво из той пивоварни на Санкт-Паули. В Гамбурге — лучший в мире «черный рынок», там мы выгодно сбудем наши русские трофеи — золотишко, комиссарские часы... А потом на всю ночь закатимся в «Зеленую обезьяну», туда, куда прежде не пускали нас, школяров-молокососов, изведем все то, без чего не согласен умирать ваш покорный слуга Франц Хаттеншвилер!

Франц и Карл уснули, сидя рядом на жесткой лавке. Петеру, как всегда после выпивки, не спалось. Он достал из кармана мундира толстую записную книжку — свой дневник. Давно из-за непрерывных боев не перелистывал он его и не писал в нем. Нельзя так запускать дневник. Ведь Петер втайне лелеял надежду опубликовать свои записи. Ему есть что сказать людям — сколько ни читал он о войне, никогда никакие Гомеры не писали о таких грандиозных и ожесточенных сражениях, о таких реках крови, в каких довелось выкупаться Петеру.

28 июня 1941 года. Командир полка «Нордланд» штандартенфюрер СС Мюлленкамп собрал всех командиров подразделений на берегу Сана под маскировочным навесом — он опасается не русской авиации, ее не видать в небе, а жаркого солнца.

— Эс-эс! — начал он звонко. — Мне поручено зачитать вам план войны против России. Фюрер — канцлер рейха и вместе с ним германская нация уверены, что вы выполните ваш долг и будете беспощадно вести борьбу против врага до его уничтожения. СС, отборные войска высшего класса, всегда будут направляться на самые ответственные позиции и покажут германской нации, что она может положиться на них.

Офицеры, преисполненные сознания величия этой минуты, стояли, точно статуи.

— Дивизия СС «Викинг», — продолжал штандартенфюрер, — передана рейхсфюрером СС в оперативное подчинение генерал-полковнику Эвальду ван Клейсту, командующему Первой танковой группой, входящей в группу армий «Юг», которой командует фельдмаршал фон Рундштедт. До сего дня наша дивизия ждала свой танковый полк «Вестланд» — он находился на греко-югославской границе. Сегодня мы получили боевую задачу — вбить клин в шестую армию маршала Буденного в направлении Рава-Русская — Кременец.

Положение на фронте вам известно — противник взят врасплох и отступает по всему фронту...

Командиру полка пришлось умолкнуть на несколько минут. Над залитым утренним солнцем пшеничным полем пролетели, ревя моторами, три девятки «юн-керсов».

— На нашем направлении, — продолжал с прежним металлом в голосе штандартенфюрер, — положение самое тяжелое. В первый же день генерал Эвальд фон Клейст отбросил русских на пятнадцать километров, а двадцать четвертого прорвал фронт и устремился к Ровно. Но враг упорно сопротивляется. С двадцать третьего по сей день в районе Луцк — Броды — Ровно идет крупнейшее на всем фронте танковое сражение. Такого и под Седаном не было. Отчаянно дерется Девятый механизированный корпус генерала Рокоссовского. Враг остановил прыжок фон Клейста на Киев и сорвал план окружения главных сил Буденного в львовском выступе. Нам и еще шести дивизиям приказано сломить сопротивление русских. Выступаем завтра в четыре пятнадцать. Более детальные приказы будут отданы командирам танковых эскадронов и моторизованных рот полка.

Он помолчал, свертывая карту. Несколько дней назад штабные офицеры дивизии получили по десять больших пакетов топографических карт России от западной границы до Урала.

— Довожу до вашего сведения важный приказ ставки: комиссаров в плен не брать, стрелять на месте. Это особая война — беспощадная война идеологий! Впрочем, вряд ли она продлится больше трех-четырех недель. Надеюсь, не только «Дас Райх», но и наша дивизия не позже чем через месяц примет участие в параде победы на Красной площади в Москве.

— Зиг хайль! — грянули офицеры СС.

Все они завидовали дивизии СС «Дас Райх» — она должна была первой ворваться в Москву!

После совещания в штабе взволнованный Петер подошел к Францу и Карлу.

— Итак, начинается! — сказал он, сияя. — Поздравляю!

— Друзья! — пафосно изрек Франц. — Когда-то кровожадный фюрер гуннов Аттила нес с Востока смерть и ужас, а теперь настал черед Запада.

В полк «Нордланд» приятели попали всего две недели назад, прямо из училища. Даже в Виттенберг заехать, похвастать формой им не дали. В Люблине они явились в бывшую казарму 27-го полка польских гусар, занятую штандартом (полком) «Нордланд». Солдаты вермахта на люблинских улицах приветствовали приятелей вермахтовским салютом — приложив вывернутую вперед ладонь к козырьку фуражки, эсэсовцы — римским салютом, выбрасывая правую руку. Но командир полка штандартенфюрер Мюлленкамп встретил их сидя и неприветливо.

— Из училища? — пробурчал он. — Пороху не нюхали? Навоюешь с вами! Все, чему вас там учили, — дерьмо! Я сделаю из вас настоящих воинов-эсэсовцев!

Франца и Карла он назначил в танковый эскадрон, а Петера, к его возмущению и досаде, — в штаб полка.

В штабе Петер узнал, что 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг» была первой дивизией крестового похода Европы против большевизма. Ее сформировал Гиммлер из добровольцев-нацистов не только рейха, но и Голландии, Бельгии, Дании, Финляндии и Норвегии — из потомков викингов, из сливок нордической расы. Дивизия СС «Викинг» была намного сильнее обычной моторизованной дивизии вермахта — она состояла не из двух, а из трех мотопехотных полков — «Нордланд», «Вестланд» и «Дойчланд» и одного арtpолка, имела больше солдат, больше танков и броневиков, бронетранспортеров и мотоциклов, орудий и зениток. А главное, в офицерах и солдатах всемерно воспитывалось чувство исключительности и превосходства. Дивизия не входила в состав вермахта, подчинялась только рейхсфюреру СС. Армейские военно-полевые суды не имели никакой власти над «викингами». По замыслу Гиммлера, после победы над Россией дивизии СС «Викинг», «Дас Райх», «Мертвая голова» и бригада СС «Север» должны были стать корпусом полиции безопасности в оккупированной России и установить в ней «новый порядок».

Петер добросовестно изучил состав полка «Нордланд»: два эскадрона (батальона) легких танков, четыре эскадрона средних танков, одна мотоциклетно-стрелковая рота, рота пехотных орудий, рота противотанковых орудий, взвод броневиков, зенитчики, связисты... Большая сила!

Итак, война с Россией!..

— А как же германо-советский пакт?! — наивно спросил двадцать второго июня Петер, с волнением прослушав выступление Геббельса по радио.

— Как сказал мой ближайший предок, — ответил Карл, — пропасть между Германией и Россией нельзя заклеить бумажными обоями!

— Россия, — добавил Франц, — исконный враг Германии, а фюрер — гениальный дипломат!

Приятелям не терпелось принять боевое крещение — шестой день великой войны, а они все еще в тылу, в резерве. С завистью глядели они на бывалых танкистов, примчавшихся из Греции. Их танки были покрыты пылью дорог Фессалии, Македонии, Югославии, Венгрии, Богемии, Польского генерал-губернаторства, И завтра они ринутся в бой на русской земле.

Ночь тянулась бесконечно. Ежась от утреннего холодка, «викинги» сидели в бронетранспортерах и танках, прислушиваясь к непрерывной канонаде сотен орудий за Саном, к воющему гулу «юнкеров» в небе, глядя на кроваво-алую зарю, разгоравшуюся на востоке. И вот всюду вдоль берега Сана раздались сигнальные командирские свистки и сразу же взревели моторы. Над рекой, шипя, взлетела зеленая ракета. Ни барабанов, ни фанфар, зато слышен грохот не только своих, но и чужих пушек и пулеметов.

Бронетранспортеры мчались по украинским селам. На перекрестках дорог движение колонн регулировали фельджандармы с белыми и красными дисками. Вдали крупновские снаряды вспарывали тучный украинский чернозем. Пока все шло, как на маневрах.

В дотла разрушенном селе Вишня Петер увидел первые трупы красноармейцев. И женщин. И детей. За селом полковую колонну обстреляла горстка попавших в окружение русских артиллеристов. Петер соскочил вместе с другими с транспортера, бежал с ними под огнем по полю, палил вслепую из автомата, мало понимая, что происходит вокруг. Все словно кануло в багрово-жаркую мглу. И вдруг он увидел чужую зеленую круглую каску, чужого солдата в траве. Он бежал, этот солдат, согнувшись в три погибели, чужой солдат в грубых ботинках с обмотками. Петер нажал на спуск автомата и чуть не полкассеты выпалил в каску, в голову, в спину. И в один миг мгла

рассеялась, и в резком, безжалостно резком фокусе Петер, этот вчерашний гимназист и бакалавр искусств, вдруг увидел — голова у солдата раскололась, как арбуз. Петер выхватил рожок из автомата, остолбенело глянул на желтые патроны. «Боже мой! Разрывные!.. Впрочем, какая разница! Все равно это не люди, а неполноценные славяне, унтерменшен — недочеловеки...»

А в центре этого села уже стояла клумба цветов с портретом фюрера и транспарантом на немецком и на украинском: «Хай живе Гитлер и Бандера!» «Шприц» — полковой офицер по пропаганде — объяснил, что это работа сторонников «украинского фюрера» Степана Бандеры.

Неподалеку от этих цветов эсэсовцы — «викинги», засучив рукава черных мундиров, расстреляли взятых за Вишней пленных. Они не были народными комиссарами, но разве для этого мужичья писали господа во фраках женевскую конвенцию! И — «бефель ист бефель» — «приказ есть приказ»!

В бронетранспортере Петер подробно расспросил «шприца» о делах на фронте. «Шприц» торжествовал: всюду бьет Ади большевиков, только здесь, на Южном фронте, была заминка да еще под Белостоком и под Брестом, где, по слухам, засел в крепости женский батальон НКВД. Да еще окруженные красноармейцы доставляют неприятности, но с ними расправляются как с партизанами — без всякой пощады.

Командир дивизии «Викинг» приказал моторизованному полку «Нордланд» съехать влево и вправо с шоссе, пропустить вперед танковый полк «Вестланд» — он разгромит очаг русского сопротивления на львовском направлении. Тройка недавних юнкеров забралась загорать на танк и, подобно ветеранам ваффен СС, ворчала: «Эти хапуги из «Вестланда» опять захватят все трофеи!»

А танкисты из «Вестланда» в запекшихся масках грязи на лицах неслись мимо в своих граненых серых танках по взрытому гусеницами шоссе и орали им:

— Эй вы, лоботрясы-«викинги», хотите, дьяволы, чтобы вам, паршивцам, Львов на золотом блюде поднесли?!

И Карл предложил:

— Пока суд да дело, не пора ли нам взглянуть поближе на туземок — эти украинские девушки меня определенно интригуют!

— Может быть, шнапсу достанем! — поддержал его Петер.

— Колбасы бы! — загорелся Франц.

Через день Петера назначили командиром взвода. Прежнего командира сразила русская пуля. В составе роты унтерштурмфюрера Шольцберга Петер добивал сопротивление истекавшей кровью русской артиллерийской батареи в небольшом селе под Львовом. Сначала артналет — стреляли орудия пятнадцати танков, потом пошла в атаку рота Шольцберга. В одном из домов Петер выпустил длинную автоматную очередь в лицо и грудь русского. В этом бою взвод Петера захватил десяток пленных красноармейцев и двух политруков со звездами, нашитыми на рукавах.

— Действуй! — сказал Петеру Шольцберг, но, увидя, как растерялся недавний юнкер, добавил: — Ладно, Нойман! Либезис оформит их.

Ротенфюрер «Дикий, бык» Либезис — один из двух командиров отделения во взводе Ноймана — любил порядок, уважал закон.

— Иван! Ты народный комиссар? — для порядка спросил он политрука.

— Народный? — переспросил тот с усмешкой на бледном лице, глядя на черное дуло автомата. — Пожалуй. Да, конечно, народный!

И Либезис преспокойно выпустил очередь в бритый череп политрука. Все по закону. «Бефель ист бефель» — «приказ есть приказ». Через полминуты он снова нажал на спусковой крючок, и рядом упал второй политрук.

— Зачем столько пуль на них тратишь? — дрогнувшим голосом спросил Петер.

— На народных комиссаров не жалко! — заржал Либезис.

Заодно «мягкосердечный» Либезис пристрелил раненых красноармейцев.

Когда Петер спросил позднее Либезиса, что сделали с остальными пленными, он молитвенно закатил глаза:

— Я избавил их от неудобств длительного пребывания в плену, отправил в большевистский рай!

Сидя в бронетранспортерах, оглядываясь на пылающее и дымящее вполне село, Петер горланил с другими эсэсовцами:

Всадив Ивану в горло нож,
Ты скажешь: мир хорош!..

Так началась новая, небывалая жизнь. Жизнь среди смерти. Жизнь в кругу осатаневших, галдящих, кровожадных, обуреваемых боевым азартом, пьяных от военной удачи камерадов-эсэсовцев.

А через два дня после кровавых боев за Дубно Петер побывал во Львове и воочию увидел, что такое большая война. В городе наводил новый порядок специальный карательный батальон «Нахтигаль». Столько повешенных Петер еще нигде не видел. Во дворе тюрьмы каратели показывали солдатам и жителям Львова груды трупов расстрелянных ими поляков и русских, говоря, что это дело рук «народных комиссаров».

В Дубно отличился Франц — самолично, недрогнувшей рукой этот молокосос расстрелял группу подозрительных штатских из числа так называемых советских работников. Петер смотрел на него и удивлялся — давно ли он играл с Францем в футбол на гамбургском пляже!

Мимо длинных колонн пленных «Иванов» мчались «викинги» все дальше. Танковые клещи кромсали части 6-й русской армии, восьмого июля танки ворвались в Бердичев, девятого — в пылающие развалины Житомира. В лесу под Житомиром был большой бой. Франц заявил, что масса еврейских и русских трупов составит отличное углеродное удобрение для полей Украины — житницы Германии. Зажигательными пулями и гранатами сжигали «викинги» село за селом.

В Житомирской области «викинги» всерьез взялись за чистку населения.

«Дивизией получен новый приказ.

Кроме народных комиссаров, нам надлежит расстреливать без суда всех еврейских деятелей, как военных, так и гражданских.

Ликвидации, казни, чистки. Все эти слова, тождественные разрушению, становятся совершенно банальными и лишеными всякого значения, когда к ним привыкнешь.

Эти слова становятся частью нашего повседневного лексикона, и мы употребляем их так, словно говорим об уничтожении неприятных насекомых или опасных зверей».

Неожиданный контрудар «Иванов» из района Коростеня опять задержал 1-ю танковую армию. Но ненадолго — фюрер усилил 6-ю армию фон Рейхенау и 1-ю панцерную армию и поручил им главную задачу Восточного фронта — взять Киев и уничтожить войска Юго-Западного фронта Советов. Впереди шли «викинги» — шестнадцатого и семнадцатого июля они прорвались в район Белой Церкви. Развивая наступление, не останавливаясь ни днем, ни ночью, вместе с эсэсовцами из 1-й дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» они неслись сломя голову на юго-восток и, форсировав под Кременчугом Днепр, вбили клин в стыке Юго-Западного и Южного русских фронтов и встретились в Первомайске с венгерскими войсками, завершив окружение советских войск — 6-й и 12-й армий — в районе Умани. Сомкнулись клещи танковых групп фон Клейста и Гудериана. Петер видел, как расставленные вокруг «котла» батареи тяжелых орудий круглосуточно с адским грохотом молотили русских. Потом на них двинулись танки с огнеметами. В этих безнадежных условиях русские дрались как сумасшедшие. Франц пополнил свою коллекцию трофейных русских орденов. А теперь, не мог не вспомнить Петер, перечитывая дневник, спустя год с лишним в такой же «котел» угодила 6-я немецкая армия Паулюса с соединениями 4-й танковой армии.

«Шприц» торжествующе объявил: «Доблестная германская армия уже уничтожила сто дивизий Советов!» Петер видел тысячи трупов красноармейцев. Пытаясь вырваться из окружения, ротами, батальонами и полками ложились они под пулеметным огнем. Ложились рядами и штабелями и быстро чернели и вздувались на августовском припеке, над трупами висели тучи мух, и «викангам», когда они останавливались на привал, приходилось поливать трупы известью или бензином.

Как и все в дивизии, Петер и его приятели заразились трофейной лихорадкой (на фронте ее называли самоснабжением, за фронтом — мародерством). Петеру порой было страшно шарить в карманах еще не остывших трупов, но остановиться он не мог. Ветераны усмехались: в смысле личных трофеев на Западе было куда интереснее, эти русские — бедняки-бессребреники!

И снова ломятся на восток серо-зеленые колонны вермахта и черные колонны СС.

Двадцатого августа полк «Нордланд» получил приказ — захватить в целостности и сохранности ДнепрогЭС. «Викинги» отчаянно рванулись к Днепропетровску, но проливные дожди размыли дороги. Даже на новеньких мощных бронетранспортерах — они наполовину на гусеничном ходу — нелегко было пробиваться вперед. И ночью двадцать четвертого августа они услышали один за другим два огромной силы взрыва — это русские взрывали свою гордость, свой ДнепрогЭС.

Под огнем, с тяжелыми потерями, переправились «викинги» по понтонному мосту через кипящий от разрывов русских снарядов Днепр, где тысячу лет назад впервые крестились русские. Бедного Франца зацепило осколком, но рана оказалась легкой. Зато он украсил грудь черным значком. А вот Шольцбергу не повезло — не успел он ступить на левый берег Днепра, как русский снаряд оторвал ротному голову.

С неделю «викинги» отдыхали в полуразрушенном Ново-Георгиевске. Личные трофеи бедные, зато жратва богатая — ели буквально за пятерых, что ни день свинина. Но отдыху мешали слухи о партизанах. И не только слухи — отдельные смельчаки проникали в город и стреляли по «викингам» из руин. За городом летели на воздух мосты, срывались под откос эшелоны, горели на проселках транспортеры. Петер приглядывался к горожанам на улицах — у этих украинцев уныло-скорбный вид, в глаза они не смотрят, своих победителей явно ненавидят. Поздним вечером шестнадцатого сентября партизаны убили в городе двух финнов-шарфюреров из полка «Нордланд».

Тем временем 1-я панцерная группа принимала участие в разгроме Юго-Западного фронта русских.

Двадцатого сентября в бою под Сенчей погиб почти весь штаб Юго-Западного фронта. Погибли командующий фронтом Кирпонос, член Военного совета секретарь ЦК Компартии Украины Бурмистенко и начальник штаба фронта генерал Тупиков. Ади объявил, что взяты тысячи пленных! От такого удара русским не оправиться, они при последнем издыхании — так думали все «викинги». «Шприц» с пафосом заявил:

— Как великолепно быть немцем в эту эпоху бури и натиска!

И все «викинги» согласились с ним. И надменно, холодно и горделиво взирали на побежденных чужаков — «ненемцев» из-под стальной кромки черной Каски.

Двадцать третьего сентября новый командир мотоциклетно-стрелковой роты, голландец из Гронингена, кавалер рыцарского креста унтерштурмфюрер Ван-Кольден получил приказ командира полка: двумя взводами на двух бронетранспортерах провести карательную акцию против жителей села Красное на правом берегу Днепра в отместку за действия партизан в Градижском лесу. Партизаны напали из засады на два грузовика с бочками бензина. Бочки взорвались. Трое «викингов» получили тяжелые ожоги, шестеро убито.

В Красном Ван-Кольден первым делом допросил старика старосту. Тот ничего не знал, ползал перед Ван-Кольденом на коленях. Ван-Кольден расвирепел и на глазах у жены и дочери старика застрелил его тремя выстрелами из длинноствольного парабеллума.

— Жалко! — с искренним сожалением проговорил темпераментный Ван-Кольден. — Вечно я тороплюсь! Старикашка наверняка знал, где прячутся партизаны. Приказываю оцепить село и никого из домов не выпускать! Обыскать все дома!

Прихватив двух эсэсманов — рядовых эсэсовцев, Петер вошел в одну из хат села.

— Где партизаны? — заорал он на стариков. После безуспешного обыска Нойман вышел на крыльцо, достал смятую сигарету из пачки и вздрогнул, услышав внезапный взрыв стрельбы в центре села. Оказывается, неизвестные злоумышленники перебили охрану, оставленную Ван-Кольденом у бронетранспортеров. Сообразив, что налетчики попытаются уйти в лес, Петер быстро посадил на машину два десятка солдат и помчался к опушке, чтобы отрезать партизан от леса и поймать их в чистом поле. Но никаких партизан Петер так и не увидел.

— Похоже на то, — с мрачным видом сокрушенно проронил роттенфюрер Либезис, возвращаясь в село после прочеса леса, — что у этих партизан имеется «тарнхелм» — шлем-невидимка Нибелунгов, а за плечами у них растут крылья.

Взбешенный Ван-Кольден между тем согнал все население Красного на базарной площади перед каким-то памятником

красноармейцу. У памятника положили, накрыв одеялами, убитых «викингов».

— Эти украинские свиньи, — сказал разгневанный Ван-Кольден офицерам, — чересчур любят свою землю. Не будь я из Гронингена, если я не накормлю их досыта землей!

Лицо Ван-Кольдена покраснело, вспотело, вены на лбу набухли. Неожиданно он вырвал у Либезиса автомат и стал длинными очередями палить по толпе. Крестьяне бросились было врассыпную, но их со всех сторон гнали обратно прикладами карабинов черные штурманы. Многие эсэсовцы стали сами стрелять, по толпе. Во время этой кровавой экзекуции Петер потерял голову. Не выдержали нервы.

— Перестаньте! Перестаньте! — шептал он, хватаясь за голову.

А стрельба на площади продолжалась. И Либезис, «Дикий бык» Либезис, бестрепетно расстреливавший комиссаров, стоял в стороне и трясся от страха. Лицо его, физиономия уголовника с каиновой печатью, было лицом идиота.

— За это нас накажет провидение! — сказал он Петеру.

Шарфюрер Дикенер, обезумев от ярости, добивал кованым прикладом винтовки распростертую у его ног пожилую украинку. Петер вцепился в его карабин.

— Приказываю перестать! — завизжал он. — Вы позорите форму!..

Пылавшее кирпичным загаром лицо Дикенера налилось кровью.

— Приказ есть приказ! — разбрызгивая слюну, в бешенстве проорал этот бывший штурмовик-вюртембуржец.

— Я тебя, свинья, в штрафной батальон отправлю! — визжал Петер.

Тут вмешался унтерштурмфюрер Ван-Кольден.

— Утри сопли, юнкер! — заорал он на Петера. — Ты не на воскресном пикнике! Ты в эс-эс. Это война! Ребята потрошат мужиков по моему приказу! С луны свалился? Хочешь, чтобы я их лелеял и холил?! Да если мы не отобьем у них охоту стрелять в наших солдат, убивая их матерей и детей, они перебьют больше немцев, чем армии Тимошенко и Буденного, вместе взятые! Фюреру виднее! Хлюпик ты, чистоплюй несчастный!

Петер в смущении повесил голову. Опять подвели «розовые сопли»! Так позорно потерять выдержку и самообладание! Забыть, что

имеешь дело с «недочеловеками»!

Ван-Кольден нажал на клаксон только тогда, когда вокруг площади запылали дома, подожженные зажигательными гранатами.

В кузов переднего бронетранспортера бережно положили убитых «викингов»; Накрыли плащ-палатками. Вокруг встал почетный караул. По традиции «викингов», тела павших должны быть преданы огню в специальном походном крематории на колесах. Позади догорало расстрелянное село.

Вдруг Ван-Кольден расхохотался и сказал, глядя в карту:

— Вот это номер! Мы ошиблись деревней. Придется начинать все сначала!

Вечером Петер пытался побороть свои сомнения и то чувство страха, что обуяло его во время расстрела в Красном.

«Мы, эсэсовцы, беспощадны, — писал он в дневнике. — Но партизаны тоже ведут бесчеловечную войну, не щадя нас. Может быть, мы не можем их порицать за стремление защитить свою страну. Но все равно наша задача ясна — уничтожить их.

На чьей стороне справедливость, если только существует она?

Такие расправы, как карательная акция в Красном, без сомнения, бесчеловечны.

Но можно ли, спрашивается, избежать их?

Бесчеловечна сама война. А эту войну можно закончить, пожалуй, лишь уничтожив одного из противников.

Горе побежденному!»

Когда Петер рассказал приятелям о кровавой расправе, Франц согласился с Кольденом, но Карл, этот скептик, сказал со своей кривой усмешкой:

— Не знаю. Может быть, такие репрессии только усилят дух и ряды партизан. У этих русских загадочная душа!

Сам Карл славится в полку своей храбростью. В бою он всегда сохраняет сверхъестественное спокойствие, только в глазах тоска да пот на верхней безусой губе. И еще — он пьет, пьет много и безобразно...

...В конце сентября 1-я панцерная армия начала наступление на Донбасс, который большевики гордо называли «всесоюзной кочегаркой». Семнадцатого октября эта танковая группа, переименованная в 1-ю танковую армию, взяла Таганрог и стала

ломиться в «ворота Кавказа» — Ростов. Но в тыл и во фланг наступающей лавины танков — откуда только силы взялись! — ударили русские. Ростов переходил из рук в руки. Впервые немцам пришлось сдать город а отступить на целых восемьдесят километров.

В декабре дивизия «Викинг» отошла на зимние квартиры в донецкой степи — залечивать раны в деревнях на реке Кальмиус. Сидя под вой степной вьюги у теплой печи, «викинги» слушали по полковой радиации тревожные вести о разгроме непобедимых прежде армий под Москвой. Приятели утешились наградами.

За бой на реке Крынка Петер получил «железный крест» 1-го класса, Франц и Карл — 2-го, все отхватили «Восточную медаль» — на севере эту медаль называли «медалью мороженого мяса». Кроме того, все трое были произведены приказом, подписанным новым командиром дивизии бригаденфюрером Гербертом Гилле, в унтерштурмфюреры СС — нашили в левую петлицу плетёный серебряный квадрат. Мечта сбылась — они стали «серебряными фазанами» — так в германской армии называли расшитых серебряной вязью офицеров. Без Гитлера быть бы Петеру Нойману приказчиком в чужом магазине. А теперь — подумать только! — несколько миллионов немцев в военной форме обязаны отдавать ему, вчерашнему гимназисту, честь. Да Александру Македонскому и Наполеону меньше солдат салютовало!

«Викинги» из Виттенберга еще крепче сдружились. Форма и война уравнили их всех — и сына железнодорожного кондуктора и графского отпрыска. Впрочем, уравнила ли? Прежде, в гимназии, Петер уходил в угол школьного двора, чтобы слопать свои скромные бутерброды, в то время как его приятели уплетали всякие деликатесы. И теперь они получали роскошные посылки из дому, а он — вязаные носки да засохший пирог от Мутти.

Новый, 1942 год справили в селе Ряженое на славу, хотя приятели чуть не передрались из-за Клархен и Гретхен — двух хорошеньких «блицмедел» — связисток. «Дядя Хайни» позаботился об СС. Новогоднее меню включало: австрийскую оленину, довоенное пльзеньское пиво из бывшей Чехословакии, бельгийские трюфели, голландские креветки, французское шампанское со штампом на этикетке «Только для СС», датское масло, норвежскую лососину, венгерскую баранину и кукурузу, болгарские фазаны, итальянские

спагетти и спаржу, польскую ветчину, греческие маслины, югославскую сливовицу, румынские фрукты, финских тетеревов и — натюрлих! — русскую черную икру из еще не взятой Астрахани. Не хватало только английских и американских бифштексов.



Павел Васильев



Ваня Клепов



Зоя Печенкина.



Майор Добросердов.

Ван-Кольден отличился — избил и изнасиловал местную девушку. Мать девушки пришла жаловаться в штабе. Петер — он был дежурным офицером — едва сумел отделаться от расшумевшейся крестьянки: пригрозил, что отправит дочь в публичный дом.

А под Москвой солдаты вермахта, подобно наполеоновским солдатам, грызли мороженую конину.

Крепко не повезло эсэсовцам дивизии СС «Дас Райх», тем, которые по замыслу Гимmlера должны были водрузить знамя победы над Кремлем. Один унтерштурмфюрер из этой дивизии рассказывал, что под Ельней они похоронили чуть не половину своего состава. Звезда победы закатилась, когда эсэсовцы были уже в нескольких километрах северо-западнее советской столицы, когда они уже подошли к Химкинскому речному вокзалу. А потом началось неслыханное отступление в декабрьском вьюжном мраке — эсэсовцы бежали на запад, бросая технику, убитых и раненых. Наконец сумели зацепиться за какую-то сожженную деревеньку. Весь день хоронили убитых. В предсмертной агонии умирающие принимали самые фантастические положения, и мороз намертво сковывал их в этих позах. Пришлось выламывать мертвецам суставы, чтобы придать им должный вид. Мороз красил невероятным, морковным цветом лица убитых. Мерзлую землю взрывали толлом — иначе невозможно было вырыть братскую могилу. В эту могилу легли отборнейшие ветераны СС, «коричневые рыцари», участники победоносных кампаний. Солдаты 258-й пехотной дивизии тоже вплотную подошли к Москве, но их перебили, как куропаток, рабочие ближайшего завода. Рабочие орудовали кирками и лопатами, а солдатам нечем было отбиваться, их оружие сковал мороз.

Нет, что ни говори, а на юге все-таки легче было воевать. Петеру нравилась эта жизнь — они жрали, пили, дрались и похабничали. От скуки Петер писал стихи. На севере, кроме холода и голода, сильнее донимали и партизаны — там за Черниговом их куда больше в лесах действовало. Впрочем, партизаны ухитрялись партизанить даже под землей — Петер слышал удивительные рассказы о партизанах в катакомбах Одессы. Да и в причерноморской степи партизаны не давали покою «викингам».

Двадцать девятого апреля группа партизан обстреляла автоколонну «викингов» под Волновахой. Офицеры СД точно выяснили место в степи, где скрывались партизаны. Донес на них один местный крестьянин-скопидом. Партизаны взяли у него продукты и оставили расписку — вернется советская власть, все возвратит.

Рота Ван-Кольдена немедленно помчалась на бронетранспортерах в указанное место, окружила партизан, половину перебила, половину захватила в плен и привезла в Ряженое на допрос.

Ван-Кольден сиял — впервые удалось ему взять партизан живьем. — Ну, теперь-то я заставлю этих «Иванов» заговорить! Они ранили у меня двоих. Мой девиз — за десять капель арийской крови десять жизней этих проклятых монголов!

Среди одиннадцати партизан — три девушки, все в серых шинелях, все в шапках-ушанках со звездочкой. Одна — молодая, красивая. Другие — как все русские девушки, какими они выглядели в глазах Петера Ноймана.

«Надо разглядывать их совсем близко, чтобы убедиться, что они женщины, — писал он в дневнике. — Лица, вернее физиономии, заплывшие, звероподобные, с курносими носами и торчащими скулами. Они похожи на прямых потомков какого-нибудь племени из Внешней Монголии...»

Петер присутствовал на допросе — ему хотелось доказать самому себе и Ван-Кольдену, что он навсегда избавился от «розовых соплей». К тому же опыт допросов наверняка может пригодиться эсэсовцу в будущем.

— Допрашивать, судить, казнить — вот будущая работа эс-эс! — говорил ему Кольден. — Великое это дело — чувствуешь себя наместником господа бога на земле.

В хате уже подготовили пишущую машинку. Первый пленный был порядком избит, худое лицо в крови. Допрашивать Ван-Кольден совсем не умел — через пять минут он налился кровью и заорал на пленного по-немецки. Тот молчал. Ван-Кольден сбил его с ног и стал колотить по голове футляром от машинки. Потом он бил лежащего сапогом, пока не расколочил ему челюсть.

Петер усмехнулся, пытаясь сдержать внутреннюю дрожь. «Эх, Кольден! Уйми розовые сопля! Для эсэсовца выдержка и самообладание — прежде всего!..»

Следующий тоже молчал. Через четверть часа эсэсманы уволокли и его.

Ввели девушку, самую молодую из трех. Петер обратил на нее внимание еще тогда, когда она спрыгнула с бронетранспортера с завязанными за спиной руками и бесстрашно и презрительно оглядела «викингов». Теперь она была в просторной бязевой рубашке и широких ватных брюках.

Ван-Кольден не спеша закурил.

— Как вас зовут, барышня? — спросил он на ломаном русском языке.

Партизанка смерила Кольдена презрительным взглядом, и на губах ее заиграла усмешка.

— Угодно сигарету?

Петера поразило хладнокровие этой девчонки: как могла она вести себя так вызывающе в эти минуты, откуда брала силы?

Ван-Кольден медленно, заложив руки за спину, подошел к партизанке. Он насвистывал сквозь зубы мотив некогда модной песенки «Пупсик, мой милый пупсик!».

— Значит, ты презираешь нас, мадемуазель? Ты, мужичка, хороша собой, а подумай только, что будет с твоим юным телом, если ты будешь упрямиться! Сначала над ним, пардон, надругаются мои парни. Потом оно будет гнить под землей. Придет весна, а ты, дочка, будешь лежать мертвая, сначала бурая, потом черная, и миллионы червей...

Ван-Кольден вошел в роль, говорил почти вдохновенно, забыв, что говорит по-немецки. Глаза сверкали мрачным огнем, и неприятная улыбка кривила его губы. Партизанка молча, затравленно смотрела на него. Внезапно он протянул руки и содрал с девушки рубашку. Она потеряла равновесие и упала на пол. Попыталась встать, но это было нелегко сделать с завязанными сзади руками. Глаза ее метали молнии.

— Бедная барышня! — прорычал ее истязатель. — Не стесняйтесь, здесь все свои! Ей все еще жарко! Ради бога, извините этих кавалеров. А ну-ка, разденьте ее догола!

Эсэсманы шагнули вперед, но партизанка завизжала и, извиваясь на полу, стала брыкаться изо всех сил. Дюжие эсэсманы не без труда осилили ее.

— Значит, ты не хочешь говорить? — по-русски спросил Ван-Кольден, вновь подходя к партизанке.

Голая, она встала на ноги и вдруг плюнула ему в лицо. И в глазах ее были ярость и ненависть, безмерное отчаяние, предсмертная тоска, но страха — страха не было.

Ван-Кольден взревел, как раненый бык, бросился на партизанку и начал избивать ее, бить по тонкому девичьему телу увесистыми кулаками. Нет, слишком скор на расправу старина Кольден, этот наместник господ бога в масштабе полка СС «Нордланд»!

Партизанка закричала от боли, закричала, как ребенок. Из горла хлынула кровь. Она упала на пол. Обезумевший «викинг» топтал ее коваными каблуками. Потом, обессилев, он провел дрожащей рукой по мокрому от пота лицу, дернул за ворот, чуть не сорвав висевший на шее рыцарский крест.

— Тысяча чертей! — пробормотал он покаянно. — Опять поторопился! Опять подвел меня темперамент! Никогда не довожу до конца психологический массаж!..

Он схватил ведро воды и вылил на девушку. Она хрипела, скребла ногтями пол. И вот крупная дрожь прошла волной по изувеченному телу. Конец...

Ван-Кольден в изнеможении повалился на стул. Подумав, он выдернул из пишущей машинки лист бумаги — рапорт начальнику СД дивизии «Викинг», скомкал его, бросил на залитый кровью пол и сказал разбитым голосом:

— Да, «викинги» не знают себе равных в искусстве убийства, а в искусстве пыток мы, увы, явно отстаем от ребят из дивизии СС «Мертвая голова»! Повесить всех! И девчонку тоже. На базарной площади. За ноги повесить. Чтобы всю ночь танцевали тотентанц — танец смерти!

Ван-Кольден устало отвинтил крышку фляжки.

— Выпьем, Петер! Ну и работка! Если хочешь знать, я до смешного чувствителен. — Он выпил. — Когда братишка обдирал мухам крылышки, я ревел, как девчонка. Впрочем, эта девчонка не ревела... — Он выпил еще. — В кино я плачу во всех жалостливых местах. Что война с человеком делает, а?

Их повесили за ноги. Шестеро умерли ночью. Четверо дожили до зари. Но никто не захотел предательством купить себе жизнь.

А утром — опять тревога. Партизаны снова напали на автоколонну.

«Ван-Кольден жесток, — писал Нойман в дневнике. — Но разве у него нет причин быть жестоким? Не мы заставили этих баб стать солдатами. Не наша вина, если они втыкали нам в спину нож...

Нельзя отрицать, что мы должны были заставить их говорить.

Так почему же меня одолевают сомнения? Почему, в самом деле, должны беспокоить меня смерть и страдания врага, когда эта смерть, эти страдания означают защиту моих братьев немцев?

Разве мы чудовища, если мы уничтожаем тех, кто хочет уничтожить нас?..

Кто может сомневаться теперь в том, что нам было жизненно необходимо уничтожить Советский Союз, прежде чем он станет достаточно сильным, чтобы уничтожить нас!

Мы просто опередили русских.

Россия представляла собой страшную угрозу для нас и для всей Европы. Наш долг — обезвредить ее.

Все эти мысли перемешались в моей голове. Но они были слишком сложными, чтобы я мог в них самостоятельно разобраться».

Мысли Петера Ноймана часто возвращались к избитой до смерти девушке-партизанке:

«Русская душа и впрямь загадочна.

Я постоянно вспоминаю строки, прочитанные еще в Виттенберге. Их написал один из русских, не помню, кто именно:

«Русский подобен степи — дик, буен, жесток, загадочен. Он не признает ни бога, ни черта. Для него ни жизнь, ни смерть не значат ничего. Ничего! — Это слово Нойман написал по-русски. — У них только один повелитель — Судьба».

...Во время тяжелых боев в окопах за Таганрогом Петер записал в дневнике: «Странная картина — голубое небо, лазурное море, ласковый прибой на песчаном берегу вдалеке, сосны, тихо раскачиваемые бризом. Там, внизу, мир и жизнь. Здесь, наверху, на высоте, смерть и убийственная сталь. И все же мы предпочитаем это, а не бесконечную антипартизанскую войну, которую нам приходилось вести на Каль-миусе, в причерноморской степи. Неделя за неделей гонялись мы за теньями, которые всегда бесследно ускользали от нас».

...Весной «викинги» получили приказ фюрера — окончательно разгромить Советы, захватить Сталинград и Кавказ и закончить войну до конца года. Дивизия СС «Викинг» оказалась штурмовым авангардом на направлении главного удара.

— К счастью, — заявил «викингам» штандарта «Нордланд» его штандартенфюрер Мюлленкамп, — Америка и Англия не торопятся, как видно, с открытием второго фронта, чтобы помочь большевикам. Благодаря этому фюрер перебросил к нам на южное крыло Восточного фронта двенадцать дивизий из Западной Европы. Наша дивизия вскоре получит пополнение из эсэсовских лагерей под Прагой.

В конце мая стояла такая несусветная жара, что «викинги», как прошлым летом, разгуливали по селу в трусиках, голышом купались в Кальмиусе.

Двадцать второго июня «викинги» отметили годовщину этой явно затянувшейся войны с Россией. Карл и Франц получили из дому шикарные посылки. Пили местное виноградное вино. Вспоминали рейнское и мозельское, поднимали тосты за скорую победу. Уже год дивизия воюет черт знает где, а кругом все та же необъятная, чужая и непонятная Россия. После весенней распутицы все дороги на юге были забиты запыленными колоннами танков и самоходных орудий. «Викинги» с восторгом разглядывали новую технику — шестиствольный ракетный миномет, по шесть минометов в батарее.

За Таганрогом «викинги» косили пулеметным огнем контратакующие цепи киргизских батальонов, затем сами шли в атаку за танками, орудуя автоматами, гранатами, приканчивая раненых кинжалами. Прорвав русский фронт, войска 6-й армии Паулюса ринулись на Сталинград. А 1-я танковая армия, поддержанная «викингами», обрушилась на Ростов. В конце июля «викинги» под жарким южным солнцем дрались за каждый дом в городе на Дону. Много трупов оставили они перед корпусом плодоовощного комбината, занятого ротой русских. Трупы «викингов» усеяли всю площадь перед этим корпусом. Черные, перемазанные кровью и сажей, бросались они вперед со стороны вокзала и депо. «Викинги! Форвертс!» — кричал финн Улкихайнен. «Форвертс!» — по-офицерски, резко и отрывисто, вторил Петер. Завязалась отчаянная рукопашная. Взрывы гранат, крики, тупые удары. «Иваны» отброшены, но они засели теперь в компрессорной нефтепровода. И снова смертная схватка за каждую пядь земли. «Викинги! Вперед!» И снова в ход идут эсэсовские кинжалы и слышится кровожадный крик: «Пленных не брать!» И танки сокрушают стены домов. И город, чужой город, умирает в шалой пальбе и чаду под грохот шестиствольных минометов, и острые, как лезвие бритвы, осколки крупновской стали врезаются в тополя и каштаны парков.

— Великий боже! — с чувством произнес Франц во время короткой передышки. — Благодарю тебя за то, что эта война бушует не на германской земле!

За Ростовом — Батайск. За растоптанной железной пятой «викингов» Батайском — стремительный прыжок на бронетранспортерах на юг, к горам Кавказа. Опаленные жарким солнцем лица и голые по пояс загорелые тела обвеивает прохладный ветер с гор. Этот ветер гонит прочь запах бензина и дизельного масла. Слышится пьяная песня эсэсовцев:

И мир весь, стуча костями, Изъеденными червями, Трепещет перед нашим маршем!..

Но опять словно из-под земли встанут на пути «викингов» русские полки.

Пал Сальск. Пал в пламени Тихорецк. Пал в чадном дыму Армавир, Черными шлемами черпают «викинги» воду из Кубани.

Восемнадцатого августа загрели пулеметные очереди на перевалах Главного Кавказского хребта.

Двадцать седьмого августа «викинги» глушили бутылками цимлянское и цинандали и следили из восьмикратных цейсовских биноклей за событием, весть о котором, вселяя ужас в народы, облетела всю Европу, весь мир, — подразделение горных егерей под командованием лейтенанта Шпиндлера водрузило знамя со свастикой на высочайшей вершине Кавказа — на потухшем вулкане Эльбрус. А русские штабы считали перевалы недоступными для немцев!

Даже в этот день скептик Карл ухитрился испортить настроение Нойману.

— Эльбрус — это хорошо, — сказал он, — но много ли в дивизии уцелело тех ветеранов, что полтора года назад пили греческое вино в честь водружения нашего флага на Олимпе? Эльбрус! Какой взлет! Не с этой ли вершины и начнется падение в преисподнюю!

Нойман зло оглянулся на Рекнера. Боже, какое у Карла опустошенное лицо! Неужели и все они такими стали!..

Карл тянул вино из темно-зеленой бутылки, и шампанское, пузырясь, лилось струйками по его небритому подбородку, по широкой груди с юношескими завитками волос. Поведение Карла беспокоило Петера: вот уже много месяцев подряд Карла захлестывает пьяный угар, которому он отдается с рвением энтузиаста-самоубийцы. Видно, ищет разрядки в оглушающем хмеле. Как-то у этого аристократа, отравляющего свою «голубую» кровь алкоголем, вырвалось: «Не рыцарская эта война! Да не вам, толстокожим плебеям, это понять! В

тартарары дворянское благородство! Кто не убьет, того убьют, кто не повесит, того повесят!..» Петер усмехнулся: ну нет, у него, Петера, своя мечта, он не сопьется, как Карл».

Двадцать девятого августа в жестоком бою под Прохладной меткая пуля кубанского казака оборвала карьеру и жизнь кавалера рыцарского креста Ван-Кольдена. Петер Нойман стал командиром роты «викингов» — он нашел в левую петлицу выгоревшего под кавказским солнцем мундира второй серебряный квадрат оберштурмфюрера.

Первого сентября «викинги», отмечая третью годовщину войны, пили бутылками новороссийское шампанское.

В ночь на второе сентября, развивая наступление на грозненско-бакинском направлении, «викинги» форсировали под Моздоком Терек. Две недели бились за Малгобек. Днем и ночью с ревом горели сотни нефтяных скважин, фантастически чернели на фоне зловещего зарева искалеченные взрывами нефтяные вышки. Похоронные команды рыли заступами каменистую землю, а Нойман, сцепив зубы, говорил себе: «Кто-кто, а Петер Нойман своего не упустит! Петер своего добьется».

Все чаще нападали на «викингов» горцы.

«Странная страна, странные люди... С несгибаемой любовью к свободе. Это гордый народ.

Они построили небольшие каменные и глиняные крепости с дозорными вышками на горных склонах над перевалами. В последние дни в этих фортах обороняются заслоны, чтобы прикрыть отход главных сил Красной Армии.

Засев в этих старинных крепостях, русские и горцы дерутся до горького конца, и мы, врываясь туда, находим там только трупы...»

В конце сентября на горных перевалах забушевали снежные метели, а «викинги» еще надеялись продолжить наступление на юг, их все еще неудержимо влекла вперед некая фата-моргана. Двадцать пятого октября они прорвали русскую оборону, захватили Нальчик и двинулись на Орджоникидзе. Но в восьми километрах от этого города 1-я танковая армия точно в каменную стену лбом уткнулась. Произошло невероятное — наступление захлебнулось, «викинги» с трудом отбивались от яростных русских контратак и в середине ноября оказались вынужденными перейти к обороне. И опять трупы, трупы, трупы... Но Нойман, фаворит военной фортуны, верил в свое счастье.

«Кто-кто, а Петер Нойман своего добьется!» Да, Нойман и другие «викинги» уже видели себя мчащимися на бронетранспортерах по Военно-Грузинской дороге. Им мерещились золотые плоды Колхиды и виноградники Кахетии, винные подвалы Тбилиси и черноокие красавицы черкешенки. Фкфер обещал им черноморские виллы и усадьбы. И вот эта фата-моргана, эта богатая дарами страна, куда плыли аргонавты за золотым руном, ускользала, почти покоренная, у них из рук. И словно мираж, стали таять мечты о стране Нефертити, о чудесах Индии, о власти над миром.

Но самое невероятное и неожиданное случилось на Волге — три месяца со дня на день ждали солдаты третьего рейха обещанного фюрером падения крепости на Волге. И вдруг — мощное наступление русских!

Под ледяным ноябрьским дождем дивизия СС «Викинг» повернула вспять свои танки. Наступила вторая военная зима в России, а приказ рейхсфюрера СС отзывал дивизию обратно, в Сальские степи. И это тогда, когда всем трем — Петеру, Францу и Карлу — был уже положен отпуск домой, в Германию. Но после контр наступления русских фюрер отменил все отпуска.

И вот Петер Нойман, дочитав дневник, сделал в нем новую запись — о внезапной перемене военного счастья, об окруженной на Волге армии Паулюса и о переброске «викингов» по Северо-Кавказской железной дороге со станции Пролетарская на станцию Котельниковский, откуда по замыслу Адольфа Гитлера «викинги» вместе с панцерной армией генерала Гота должны были бронированным кулаком пробить коридор в сталинградский «котел» — этот Верден на Волге.

Щелкали, чеканя тревожный ритм, колеса на стыках. Скрипел старый гамбургский вагон. Во всю свою железную глотку ревел паровоз. И далеко по завьюженным Сальским степям разносился до жути похожий на крик раненого зверя гудок паровоза.

7. Черная буря



Шурган. Черная буря. Буря все еще ревела в степи, но по расчетам командира железная дорога была уже близка. В те последние минуты перед выходом на «железку», перед первой боевой операцией группы «Максим», Володя Анастасиади вспоминал те часы, когда он впервые со взведенным автоматом лежал в мерзлом ковыле, охраняя сон друзей.

...Какая ширь вокруг! Только там, за фронтом, эта ширь радовала глаз, а здесь пугает. Володя и не подозревал, какой в нем произошел за ночь перелом — на мир теперь он смотрел по-военному, по-партизански.

Борясь со сном, он шарил слипавшимися глазами по уныло однообразной степи. Совсем не такой представлял семнадцатилетний Володя партизанскую жизнь. Вместо геройских подвигов и

невероятных приключений, вместо блестящих побед над врагом — смертельная борьба с длиннейшими степными километрами, с дикой усталостью и сонливостью, с болью в изъеденных солью кровоточащих ногах, с холодом и с голодом... Но он уже, сам того не замечая, начал привыкать к этому особому, как на другой планете, воздуху вражеского тыла, в котором будто разлито неотступное, постоянное, настороженное ожидание беды.

Через полчаса Володя растолкал крепко спавшего Владимира и, поколебавшись, робея, разбудил комиссара.

— Вы извините! Как бы командир и девушки не обморозились. Я на посту совсем заоченел.

— Правильно, Анастасьев! Буди девчат, а я командира и Солдатов. Хватит дрыхнуть — завтракать пора!

Перед завтраком Черняховский заставил всех сидя сделать зарядку. Это было такое потешное зрелище, что, несмотря ни на что, ребята заулыбались, девчата прыснули. Сидя же, умылись — докрасна растерли руки и лицо снегом.

— Теперь так, — объявил командир, — всем привести в порядок ноги... Заикина! Мазь, йод, бинты, стрептоцид расходуй экономно! Сменить портянки! Старичкам проследить. Ноги обмотать газетной бумагой — подмораживает.

У комиссара он спросил:

— Какие, говоришь, у вас тут морозы бывают?

— До тридцати пяти ниже нуля.

— Вот тебе и знойный юг! — пробормотал Коля Кулькин. — «Где небо синее и море голубое...» Антарктида! Мамочка, роди меня обратно!

— И знойно бывает, — сказал Максимыч. — Летом до сорока градусов доходит.

— Сахара! — обрадовался Кулькин, растирая в руках окровавленные портянки. — Что ж, братцы челюскинцы, ждать осталось недолго, загорим тут, как эфиопы! А я, девочки, загорелый так еще интереснее.

— Товарищ командир, — растерянно сказала Валя, — мазь в сумке замерзла...

— Сунь под мышку, отогреется.

Сильнее других натерли ноги Коля Кулькин и Коля Хаврошин. Вале пришлось протыкать им финским ножом водянистые волдыри.

Сначала Валя пыталась увильнуть от этого дела. Помочь ей — «за сто граммов» — вызвался Солдатов, но Черняховский, натягивая сапог, сказал своим обычным безапелляционным тоном:

— Сама, Заикина! Сама! Тебе еще не такие болячки придется лечить. Будешь у нас и хирургом. Что, здорово ноги натер, Кулькин?

— До кости еще далеко!

Посоветовавшись с комиссаром, Черняховский кликнул Солдатова.

Раздельно и громко, чтобы слышали все, командир произнес:

— Здесь нет военного трибунала. Мы с комиссаром судим тебя, Солдатов, за самовольное минирование дороги. Ты мог погубить всю группу. За твое преступление — строгий выговор с таким предупреждением: малейшее самовольство — и я расстреляю тебя. Обещаю это при всех, И перестань ты, наконец, свистеть!

Перед завтраком он распорядился:

— Харч расходовать экономно. На завтрак — банка тушенки на троих. Хлеба триста граммов. Сахару со столовую ложку.

— Всухомятку?! — возмутился Солдатов. — Снегу в котелок, пшеничный концентрат... Давайте я из тальника вмиг костер без дыма... На «губе» и то лучше кормили!

— Никаких костров!

— Так хоть водки глоток...

— Заикина! Возьми все бутылки на учет. Водку расходуй только для медицины с моего разрешения.

День выдался ясный, морозный. В тальнике свистел ледяной, обжигающий ветер. Температура упала, верно, до пятнадцати ниже нуля. Через каждые полчаса делали пятиминутную зарядку. Ползали в тальнике, как медведи, на четвереньках. Низинка плохо защищала и от пронизывающего ветра и от непрошеного взгляда. Посменно спали. Посменно чистили оружие. Обедали опять всухомятку. Курили в кулак. Время от времени Черняховский приподнимался, оглядывая безлюдную степь. Летом она была, наверное, серебристо-сизой от полыни и ковыля, а теперь похожа на грязное, бурое море со сверкающими белыми льдинами. И гладкая, как стол. Виднеются вдали только два-три кургана, в которых, наверно, покоятся уже много

веков желтые скелеты выехавших некогда из Астрахани монгольских воинов. Они повстречались в степи с врагом и лежат теперь в земле с черепами, обращенными к востоку.

К командиру подползла Нонна. Она весь день переживала: как же это она, партизанка, оскандалилась — как гимназистка какая-нибудь упала в обморок!

— Товарищ командир! Почему на посту одни ребята стоят? Я такой же член группы, такой же подрывник, как и...

— Не лезь поперед батьки в пекло, Шарыгина! — сказал, отрываясь от карты, командир. — И не мешай мне!

По расчетам командира группа находилась километрах в пятнадцати юго-западнее гитлеровской обороны вдоль Сарпинских озер, в двадцати пяти километрах северо-восточнее другого степного озера — Лиман-Берен.

Подозвав комиссара, он провел карандашом по карте.

— Ночью нам надо отмахать километров этак тридцать пять на юго-восток.

— Сумеем ли? — усомнился комиссар. — На ноги у ребят смотреть страшно.

— Должны суметь. Впереди тринадцать часов темноты. В этой степи с нами взвод немцев разделается в два счета, а послезавтра мы дойдем до Ергеней, — там нас голыми руками не возьмут! Максимыч, проверь наличие воды!

День прошел спокойно. Даже не пролетел ни один самолет над мертвой степью.

В поход выступили после ужина, как только в шестом часу вечера отгорел на западе холодный пожар заката. Шли, несмотря на все усилия командира, медленно, растягиваясь в длинную, редкую цепочку.

— Шире шаг! Подтянись!

Командир объявлял частые привалы — сначала через час, потом через каждые полчаса. Многие хромали. Все дышали ртом, глотая морозный воздух, обжигая легкие, и не могли отдышаться.

Солдатов опять шел впереди, насвистывая, привычно ориентируясь по звездам. Те же, что и в Севастополе, бесчисленными россыпями студенисто мерцали они в бескрайнем небе калмыцкой степи. Под ногами то скрипел снег, то скрежетала мерзлая земля, то —

на редких теперь солончаках — хлюпала соленая слякоть. И всю ночь с невидимых Ергеней, воя по-волчьи, дул в лицо партизанам пронизывающий ветер.

— А командир наш больно крут! — сказал Ваня Клепов. — Ты машину с фрицами подорвал, а он за пистолет хватается...

— Ты командира не трожь, кореш! — прервав свист, ответил Солдатов. — Я за такого в огонь и воду. Ежели хочешь знать, кабы не он, мы бы до сегодняшнего дня не дожили. Эх, не удержался я, не подумал, что они так рано поедут. Я там и кабель связи перерезал — только об этом молчок! Я о том сторяча не подумал, что они нас по следу накрыть могли. А Леонид Матвейч, он обо всем думает. Нет, Владимир Яковлевич, надо тебе, дорогой товарищ Солдатов, ломать свой беспартийный шебутной характер! Не до шебутиловки тут!

— Да я разве что говорю! Мужик он правильный.

— То-то! И дрозда дал мне правильно. Ваня помолчал минут пять, потом спросил:

— Градусов двадцать будет?

— Верных.

— Сам-то я из Баку — там не поморозишься.

— На азербайджанца ты мало смахиваешь! — покосился Солдатов на курносого и широколицего Клепова.

— Какой я азербайджанец! Саратовские мы. Село Атаевка Ширококамьшинского района, может, слышал?

— Про Гамбург слышал, про Филадельфию слышал. Атаевка? Нет, не слышал.

И Солдатов, этот «Соловей-разбойник», опять тихо засвистел, а Ване очень хотелось рассказать о себе. Одиноко ему было на свете в эту морозную ночь под необозримыми звездами вселенной. Рядом этот еще малознакомый парень. Позади цепочка черных теней. Кругом необъятная враждебная степь, и никому в общем-то нет дела до Вани Клепова. Вернуться бы в детство, в отцовскую избу, что до десяти лет была ему центром мира, а мать — тем солнцем, вокруг которого вращался этот мир. Как это скверно, что теперь он даже не помнит толком родимое лицо, хорошо помнит только запах ее рук, ее щек, теплого платка на груди, какой-то особый, неповторимый запах, смешавшийся с запахами свежесыпеченного хлеба, парного молока и прошлогодних яблок.

— Лет десять назад, — задумчиво заговорил Ваня, — заболела, понимаешь, мать, а нас много, ртов-то, у нее было. И я меньшей. Вот и забрала меня в Баку сестра. Там кончил семь классов, потом работал слесарем-автоматчиком. Все собирался, понимаешь, в деревню съездить, да война, в армию призвали. Попал в Кутаиси, в учебную команду, оттуда на передок. Потом разбили нас немцы на какой-то речке, и уж не помню, как долго отступали мы, а нас все самолеты и пушки колошматили. Наконец отвели в запасной, а оттуда я в спецшколу пошел.

— Да, биография знатная, брат ты мой. Прямо скажу — выдающаяся биография! Не пойму только, какого рожна тебя в тыл врага потянуло?

— Да вот, понимаешь, какая штука. На передке вроде я полжизни воевал, уйму патронов в окопах расстрелял, в атаку ходил, бегал под огнем, шел и окопы копал, шел и копал, чуть планету насквозь не прокопал, и ни разу, ну ни одним глазом, немца не видал! Вот я и решил, что с тыла-то его будет сподручнее на прицел взять. Да гляжу — маху дал. Я думал, в тылу у них да еще в степи, куда ни плюнь, в немца попадешь, а их и тут не видать. Ну, чисто невидимки какие-то.

— Увидишь! — усмехаясь, пообещал Солдатов. — Крупным планом.

Зевая, он достал из кармана пачку папирос, помедлил, оглянулся на цепочку теней позади и, понюхав пачку, с сожалением сунул ее обратно в карман.

— Двадцать, значит? Как бы к утру до тридцати не упало!

— Привал! Командир сигналил. Опять упал кто-то...

Часов в семь утра, когда было еще совсем темно, Степа Киселев и Паша Васильев — они только что сменили дозорных — неожиданно вышли на не обозначенную на карте, хорошо укатанную дорогу, рассекавшую степь с юго-запада на северо-восток. Они подозвали командира, но не успел Черняховский развернуть карту, как Паша Васильев сказал:

— Едут! — И показал рукой по дороге на юго-запад.

Вдали покачивались расплывчатые лучи автомобильных фар.

Черняховский и без карты сообразил уже, что немцы проложили эту дорогу из Элисты к своим позициям вдоль Сарпинских озер.

Неприятная неожиданность! Люди вконец выдохлись, надо подбирать место для дневки, а тут такое соседство!

— Пошли, что ли! — нервничая, сказал Киселев, не спуская глаз с командира.

Черняховский не слишком спешил — свет фар на равнине виден ночью за десять километров. Он опустил на колени, припал ухом к земле, снова вслушался в звук моторов и убежденно сказал:

— Танки!

Идти назад? Или вперед? Впереди та же степь — правда, между двумя дорогами. Расстояние между ними — километров двадцать пять — тридцать. Стоит рисковать. Ведь важен каждый шаг, отвоеванный у степи. И каждая капля воды на учете. Собрав всю группу, командир сказал:

— Мы не можем дневать у дороги. Надо отойти хотя бы пяток километров. Знаю, силы на исходе, но это дело жизни или смерти. Форсируем Сал, дойдем до Ергеней — там легче будет!

И снова шла вперед группа, сгибаясь под тяжестью оружия и заплечных мешков. Минут через двадцать, когда позади загрохотали танки — всего в каких-нибудь двух километрах, — мало кто оглянулся на шум, а кое-кто вообще ничего не слышал. Володя Анастасиади снова помогал Нонне. По ее лицу текли, замерзая на щеках, слезы, но она стиснула зубы и молчала. Многие шли парами, поддерживая друг друга.

Для дневки командир подобрал было лоцинку, поросшую ковылем, но Паша Васильев несказанно обрадовал Черняховского, сказав ему возбужденно:

— Товарищ командир! Я тут до ветру отошел, гляжу — окопы. Сначала испугался, да вижу — старые!

— Где? Покажи!

Какая удача! В ковыле им пришлось бы пролежать в такой мороз весь день — наверняка были бы обмороженные! Траншея оказалась короткой и мелковатой — кто-то вырыл ее наполовину и бросил, но в ней вполне можно было ползать, двигаться, воевать с морозом.

Нелегкой была эта война. Когда Нонна, сонно мотая головой, отказалась встать и делать зарядку, командир закатил ей пощечину. Володя Анастасиади кинулся к Черняховскому и схватил его за руку.

Черняховский отшвырнул его со словами:

— Ну ты! Герой-любовник! Не лезь! Повернувшись к комиссару, он сказал:

— Водку! — И стал сначала нежно, а потом грубо растирать Шарыгиной уши.

— Может, снегом? — сказал комиссар.

— Нет, — ответил командир, — от растирки со снегом антонов огонь, гангрена у нас на фронте получалась!..

— Рукам волю не давай! — сонно бормотала Нонна, отмахиваясь.

Комиссар трижды уговаривал Черняховского разрешить Солдатову разжечь костер:

— Лучше рискнуть, чем наверняка людей потерять!

Но Черняховский стоял на своем:

— Пусть двигаются, борются, дерутся.

И сам схватился с комиссаром и положил кряжистого Максимыча на лопатки. Потом вместе с Солдатовым демонстрировал приемы джиу-джитсу.

Весь северный горизонт заволокли снеговые тучи. Партизаны часто посматривали туда — что там, под Сталинградом?

Замерзшие кирпичи хлеба пришлось пилить финками.

— Проверим и починим ноги, — сказал после обеда командир.

И все по очереди разувались на морозе и растирали ноги снегом. Валя смазывала их какой-то мазью, посыпала белым стрептоцидом.

Командир осмотрел у всех оружие. У Хаврошина казенная часть автомата оказалась в песке. Почти у всех автоматчиков туго ходили затворы — надо было снять загустевшую на морозе смазку.

В этих мелких, казалось бы, но жизненно важных делах и заботах прошел день.

В поход выступили, когда пала ночь. Часа через два прошли мимо замерзшего озера, потом мимо худука.

Максимыч сказал, что вода в худуке и озерце горько-соленая, как английская соль.

Еле волоча ноги, замертво падая на привалах, они прошли за десять часов темноты тридцать пять километров. Без происшествий пересекли дорогу Элиста — Кегульта — Кетченеры и остановились в десятке километров северо-западнее Кегульти.

На дневке все повторилось сначала. Но это был не обыкновенный день. На севере творилось что-то непонятное: когда ветер стихал,

далеко-далеко слышалась похожая на зимнюю прозу непрерывная канонада, то и дело появлялись там крошечные точки самолетов, но чьи самолеты — понять было невозможно.

— Конец или начало? — тихо спросил Черняховский комиссара.

Вместо ответа Максимыч выразительно посмотрел на Зою Печенкину.

— Развернуть рацию? — догадался командир. — Нет, потерпим до Ергеней. Там есть где укрыться. Завтра, бог даст, там будем.

— Какое сегодня число? — разлепил потрескавшиеся губы Володя Анастасиади.

— Двадцатое ноября.

Так и не узнали они в тот день, что на фронте в огне и дыму свершились события величайшей важности: девятнадцатого ноября наши войска — войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в решительное контрнаступление против гитлеровцев, а двадцатого ноября перешел в наступление и Сталинградский фронт!

Издали, со стороны степи, Ергени казались горами. Теперь Черняховский увидел, что Ергени — это тянущаяся с юга на север, почти к самому Сталинграду, широкая горбатая возвышенность, метров в полтораста высотой, с круто обрывающимися восточными склонами. Измученные партизаны из последних сил карабкались вверх по скользким склонам. Наверху Ергени были довольно плоски, но тут и там виднелись небольшие высоты, темнели балки с сухими руслами весенних ручьев, качалась и гнулась на ветру клочкастая поросль каких-то мертвых степных растений.

— Ну как, командир? — бледной улыбкой улыбнулся заросший щетиной комиссар в сером свете утра. — Дотопал все-таки «Максим» до Ергеней!

— Дотопал потому, — сказал Черняховский, — что Шестнадцатая мотодивизия немцев держит оборону не на десяти километрах фронта, а на целой сотне! Оборона растянута в ниточку, нет настоящего эшелонирования фронта, как прошлой зимой. Румыны вообще не в счет. Все это надо сообщить Центру.

Командир оглянулся на лысую равнину внизу, убегающую до низовьев Волги, до берега Каспия, и заря над степью показалась ему невиданно великолепной, а измученные лица диверсантов, обращенных к заре, почти румяными.

Дневали в пологой балке с хорошим обзором. В этой балке можно было ходить в рост. Ходить никому не хотелось, но командир не давал им засиживаться. К полудню заметно потеплело, часто крупными хлопьями падал снег. Все покрылось инеем — одежда, винтовки, ресницы Нонны, командировы усы. Потом хлынул дождь. Насквозь промокшие ушанки давили на голову тяжелее каски. Набрякли грязные сапоги. Все сидели, прижавшись друг к другу, мокрые и унылые. Коля Кулькин напевал «Цыганочку», отбивая зубами чечетку, но это никого не рассмешило. Уж лучше мороз, чем этот ледяной душ с ветром в открытой степи. И обсушиться у костра нельзя!..

Погода была мало похожа на летнюю, но на севере по-прежнему слышался звук авиамоторов, и отдаленным громом гремел фронт. Когда перестал дождь и ненадолго прояснилось небо, над степью закружил на большой высоте немецкий разведчик. По блекло-голубому поднебесью за ним тянулся белый инверсионный след с распушенным хвостом.

Черняховский написал карандашом текст радиogramмы — сообщил о благополучном переходе фронта.

— А ну, настрой свою музыку! — посмотрев на часы, посиневшими от холода губами сказал он Зое. — Послушаем, что на свете делается. А потом с Центром свяжись. Это зашифруй!

Зоя устроилась поудобнее на дне балки, сняла рукавицы с шерстяными перчатками, подышала на руки. Затем открыла сумку с рацией, подключила анодные и накальные батареи, надела наушники под ушанку. В наушниках послышались разряды, писк морзянки, кто-то тоном благородного возмущения произнес по-русски:

— Вопреки измышлениям большевистской пропаганды ни один солдат доблестной германской армии и пальцем не коснулся русской женщины!..

Зоя покрутила ручку настройки и вдруг прижала обеими ладонями наушники. На лице ее мелькнуло изумление, радость, но в следующее мгновение из застывших глаз хлынули слезы.

— Что там? — чуть не вскрикнул Черняховский. — Чего сырость разводишь?

Зоя, точно очнувшись, сорвала с головы наушники вместе с шапкой и протянула их вперед:

— Слушайте! Слушайте!!

— В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ГОРОДА СТАЛИНГРАДА. На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Прорвав оборонительную линию протяжением тридцать километров на северо-западе в районе Серафимович, а на юге от Сталинграда — протяжением двадцать километров, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на шестьдесят-семьдесят километров. Нашими войсками заняты город Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская (Советск), станция и город Абганерово. Таким образом, обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными...

Командир и комиссар быстро переглянулись: одна из этих железных дорог — Северо-Кавказская — составляла главный объект диверсионной деятельности группы «Максим».

Юрий Левитан перечислял разгромленные дивизии врага, количество пленных, трофеи, число убитых фашистов. А на севере неумолчно гремела канонада. Там шли в наступление танки, кавалерия и пехота 51-й армии.

Черняховский и Максимыч вскочили на ноги и крепко обняли друг друга, а комиссар на радостях поцеловал командира в мокрые усы.

— Я так и знал, Максимыч! — выпалил Черняховский. — Было время — ходили казаки в Восточную Пруссию, и опять пойдут!

Растолкали спящих. Нонна и Валя кинулись обнимать Зою. Комиссар стал записывать сводку. И все впервые увидели, как улыбается командир. Солдатова едва удержали — чуть было не дал салют из автомата! Никакая водка, никакой горячий самый сытный и

вкусный обед, ничто на свете не могло так согреть партизан, как это известие о наступлении на фронте.

— Ребятам по глотку водки! — почти громко распорядился командир. — Девчатам — по два глотка воды! И ша! Война еще не кончилась.

Черняховский даже попросил у Зои зеркальце. Зажал автомат между колен, поставил зеркальце на диск и, достав трофейную опасную бритву из Золингена, потер щеки сырым снежком, потом мылом и стал со скрипом сбривать четырехдневную щетину, подправлять усы.

— А ну, комиссар, давай брейся по случаю праздника! — прошептал он весело.

— Да я думаю партизанскую бородищу отпустить, — так же шепотом отвечал Максимыч, поеживаясь. — Как в песне: «Вот когда прогоним фрица, будем стричься, будем бриться!..»

— Нет уж, брейся давай!

Кроме командира, комиссара да еще Солдатова с Киселевым, никто из ребят в группе вообще не брился еще ни разу в жизни.

Тем временем Зоя отстучала синими от холода пальцами на телеграфном ключе группу пятизначных цифр — первую радиogramму с подписью «Максим».

Максимыч брился молча, сосредоточенно, но думал совсем не о бритье. Вытерев лицо носовым платком, он вернул зеркальце Зое и сел рядом с командиром.

— Слушай, Леня, разговор у меня к тебе есть...

— Не могу, — сказал Черняховский.

— Чего не можешь! Да ты не знаешь...

— Знаю, Максимыч. До села твоего отсюда полсотни километров, а там — жена, сынишка. Но я не могу задерживаться, не могу уклоняться от маршрута. Ты пойми меня, комиссар. Сердцем не поймешь — знаю. Умом пойми.

— Да нешто я не понимаю... Опять пилили мерзлый хлеб.

— Чудно! — с удивленной улыбкой сказал Максимыч.

— Что чудно? — спросил Черняховский.

— На докторов мне чудно! Они меня из-за сердца в армию не взяли — врожденная блокада, аритмия, стенокардия — полный букет.

В первую ночь решил: отстану — застрелюсь. А потом будто второе дыхание пришло. Чудно!

— Терпи, казак, атаманом будешь! — Черняховский не знал, что еще сказать, но глаза его сказали все, что нужно.

Четвертая походная ночь. Вся степь словно каток. Из края в край сковал ее гололед. Незаметно пересекли они границу Калмыкии и Ростовской области. Командир вел группы не спеша, с частыми и долгими привалами, чтобы дать всем отдохнуть и втянуться в поход, а то Нонну уже тошнило от усталости. Вода оставалась только в неприкосновенном запасе. Ели снег, но он плохо утолял жажду.

— Веселей, ребята! — говорил комиссар. — Нашим на фронте сейчас труднее приходится! Наступают!

За восемь часов прошли не больше двадцати километров. Коля Кулькин ожил, хотя хромал на обе ноги, и на привале поставил ногу на валявшийся рядом, выбеленный дождями и солнцем череп калмыцкого быка с рогами полумесяцем и продекламентировал:

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною
И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею...

И многие в группе вспомнили школу, «пушкинские» тетрадки с рисунком и текстом «Вещего Олега» на обложке.

Растирая замерзшие руки, Зоя развернула рацию. Все окружили ее, дыша паром. Снова Левитан читал «В последний час»: наступление успешно продолжалось, наши войска продвинулись на обоих направлениях на двадцать километров и взяли города Тундутово и Аксай!..

Всю следующую ночь густо валил снег. Группе предстоял опасный переход сначала через дорогу Ремонтное — Заветное, а потом через реку Сал. Комиссар давал голову на отсечение, клялся, что Сал замерз, но Черняховский не мог унять глухого беспокойства: а вдруг не замерз, вдруг на пути группы встанет непреодолимая преграда! Там ведь не из чего построить плот, нет селений с лодками, перебираться

же вплавь в пятнадцатиградусный мороз, а потом идти навстречу ледяному ветру — дело немислимое.

Но группе повезло. Правда, на дороге, ослепленные метелью, они едва не столкнулись с румынским обозом. Да и лед на Сале стал недавно и грозно трещал под ногами, перебираться через него пришлось ползком, держа наготове связанные ремни. Зато не пришлось тратить много времени на пробивание лунки во льду. Лед долбили по очереди саперной лопаткой начальника подрывников — Паши Васильева. Потом Паша одну за другой опускал фляжки в дымящуюся паром лунку.

В шестую ночь перешли дорогу Ремонтное — Зимовники. По-прежнему шуршала под ногами полынь, дул могучий степной ветер, крутила метель, мерцали звезды в черном небе, во фляжках булькала вода из Сала, которую нужно было во что бы то ни стало растянуть еще на три ночных перехода по двадцать пять — тридцать километров каждый — до Маныча.

Утром двадцать шестого группа «Максим» стояла на берегу Западного Маныча.

— Честно говоря, — сказал, закуривая, Володя Солдатов, — я уже не надеялся, что доберемся мы сюда!

— А я, — сказала Нонна, садясь в изнеможении на землю, — ни на минуточку не сомневалась в этом!

Комиссар посмотрел на лиманы Маныча, на замерзшую черную грязь вдоль берегов и сказал:

— Тут недалеко станция Пролетарская, так мне туда перед войной путевку в грязелечебницу давали...

Позади, если проложить прямую по карте, оставался почти трехсоткилометровый степной путь. Но Черняховскому некогда было оглядываться назад. Удастся ли найти здесь воду, годную для питья: ведь вода в соленых лиманах Маныча все равно что отравленная, сплошная соль. Недаром сюда, как говорил Максимыч, казаки с Дона приезжают соль добывать. Продовольствия группе было выдано на десять дней. Остались одни концентраты. Девять суток на сухом пайке. Невольно вспомнились бывшему товароведу сухумского санатория «Агудзера» те капризные отдыхающие, что жаловались на невкусный борщ по-флотски или недожаренный антрекот. Сюда бы этих отдыхающих! Где же брать продовольствие? Предполагалось, что на

хуторах Верхний и Нижний Зундов. Но что, если эти хутора сожжены, выселены или заняты немцами?

Передневали в воронке от снаряда над замерзшим озерцом. Все уже почувствовали голод. Делили и жевали несъедобную смесь из раскрошившихся сухарей с махоркой и толом, собранную со дна вещмешков. Допили воду из неприкосновенного запаса.

Десятая ночь... Как только стемнело, командир послал двух партизан вниз по течению Маныча, двух — вверх по течению. Комиссару и Солдатову он дал особое задание:

— Смотрите карту: слева от нас, слева от станции Пролетарская действует группа Кравченко, справа — правее Токмацкого — группа Беспалова. Задача — установить с ними связь. Максимыч, тебе лучше знаком район действия Беспалова, ближе к твоему дому, — пойдешь туда. Заодно подбери подходящее место для диверсии или засады на железной дороге. Солдатов! Перейдешь через Маныч, пошаришь в хуторах на той стороне. Если наткнетесь на наших — пароль: «Иду к родным», отзыв: «У нас одна дорога». Где можно, набирайте продуктов. Зря не рискуйте! Я ночью пойду в Зундовские хутора. За себя оставляю Васильева. Сбор здесь, в этой воронке. Если мы перебазируемся, то оставим записку в «почтовом ящике» — вот под тем лошадиным черепом. Запасная явка — там, где первый раз вышли на Маныч. Пароль для нашей группы: «Винтовка», отзыв: «Волга».

Так по пяти разным направлениям разошлись разведчики группы «Максим».

В полночь Черняховский, прихватив с собой Володю Анастасиади, пробрался в один из домов Верхнего Зундова, поговорил с перепуганной молодухой и узнал — ока утром была на базаре в Пролетарской — Сальск и Пролетарская забиты немецкими войсками, все гражданские перевозки отменены, войска, танки, пушки прибывают с Северного Кавказа. К Волге только один им путь — по «железке». Ходит слух, будто немцы вот-вот займут все хутора — на Маныче.

— А вы-то кто будете? — опасливо спросила молодуха в теплой горенке.

— Окруженцы мы, — ответил командир. — К своим пробираемся. Свет не надо зажигать! Я фонариком посвечу.

— Обкруженцев тут летось ужас сколько шло, — сказала молодуха. — Может, и мой где-то горе мыкает...

— Поесть бы что...

— Чем богаты... Сальца я тут маленько на соль выменяла...

— Нас тут целый взвод проходом, может, еще что подкинете?

— А куда путь держите?

— Да к фронту... Молодуха отрезала командиру два куска сала и краюху свежего хлеба. Проводив его в сени, шепнула:

— Идите с богом! И знайте: каратели тут конные по степу гоняют. В одночасье порешат... Берегитесь! За голову каждого партизана гестапо обещало десять тысяч рублей! Хутор Первомайский немцы дотла сожгли — говорят, за связь с партизанами!

Над избами косо висел новорожденный месяц. Нудно брехал хуторской пес. Скрипел снег под ногами. В морозном воздухе еле слышно, по-комариному, прогудел паровозный гудок.

В воронке, тесно прижавшись друг к другу, спали девушки. Только что вернулись Клепов и Хаврошин — с хорошим известием. Пройдя километров шесть-семь вниз по берегу Маныча, они набрали на целую систему окопов, траншей и блиндажей, давно, еще летом, оставленных Красной Армией. Вся группа может великолепно устроиться в блиндаже на нарах с соломой. Только печки там не хватает!

— Девчата давно спят? — спросил командир Колю Кулькина, стоявшего на часах.

— Да часа четыре уже.

— Как четыре?! Они ж обморозятся! Голову оторву!

Он кинулся к девушкам, стал тормошить их: — А ну, будет дрыхать! Кому говорят! Приказываю встать!

— Я их будил, — оправдывался Васильев, — а они знаете, куда меня послали...

Девчат спросонку бил озноб.

— Ног совсем не чую... — пробормотала Валя.

— Кулькин! Васильев! Сюда! Снимайте с них сапоги! Растирайте снегом, потом водкой!

Володя Анастасиади повалился на колени перед Нонной, стал стягивать с нее сапоги. Командир колот Зое финкой ноги:

— Вот тут чувствуешь? А тут? А здесь? Кулькин, давай портянки, газеты из мешков! Ходите! Ногами топайте, черт бы вас всех побрал!

И только Коля Кулькин подсмотрел в темноте, какие глаза были у Зои, когда командир растирал ей ноги. Нет, на него, Кулькина, никто, никто еще в жизни, даже милосердная сестра Настя, так не смотрел...

За Манычем раскатисто протарахтела автоматная очередь, другая, а следом грянул целый шквал стрельбы из винтовок и автоматов.

— Солдатов?! — ахнул Кулькин.

— Стреляют только из немецких автоматов и винтовок, — по звуку выстрелов уверенно определил Черняховский. — Солдатов дал бы сдачи.

Минуты через две-три стрельба смолкла, а еще через час пришли Солдатов с Ваней Сидоровым.

— В переплет мы с Ваней попали, — пожаловался с нарочито равнодушным видом Солдатов. — Дорога там за Манычем, та, что из Сальска в Яшалту идет, вся как есть фрицами забита. Туда мы с Ваней кое-как перемахнули, а обратно — ну, никак! Залегли мы там в балочке, притаились, а к нам эс-эс один спускается из колонны и нахально эдак штаны снимает. Только мы его с Ваней тихо на тот свет отправили, другой эс-эс прет, тоже по большому делу. А за ним третий. Усадили мы их рядом — и деру! С километр в темноте отошли, а тут как грохнет сзади — видать, обнаружили ту тройку, шухер подняли. Пули кругом свистели, но я заговоренный от пуль, до Волги прошел — ни разу не царапнуло!

Командир перевел невеселый взгляд на Ваню Сидорова.

— Так все было, Сидоров? Только правду давай, а нет — я тебя как Сидорову козу...

— Честное беспартийное! — горячо вмешался Солдатов. — Святой истинный крест! Да вот и документики ихние!

Он небрежно вытащил из-за пазухи три «зольд-буха» — солдатские книжки.

— Так все и было, товарищ командир! — мальчишеским голоском, без особой уверенности проговорил Ваня Сидоров. Этот застенчивый, как красная девица, недавний девятиклассник из села Малая Ивановка Дубовского района Сталинградской области еще никак не мог прийти в себя от удивления, что он взаправдашний партизан и воюет в тылу врага.

— Ладно, разберемся! — с глухой угрозой произнес командир. — О Кравченко что-нибудь удалось узнать?

Солдатов наклонился к командиру и прошептал ему на ухо:

— Группу Кравченко немцы окружили в степи и перебили всех до единого. Об этом приказы с черным орлом вывешены на хуторах...

— Ясно! — только и сказал Черняховский и стал нашаривать в кармане мятую пачку папирос.

— Винтовка! — громко сказал Кулькин, стоявший на посту.

Из темноты послышался голос Степы Киселева:

— Волга!

Киселеву и Владимирову не удалось найти подходящего места для базы.

— Видели тропинку и прорубь, — докладывал Киселев. — Напились воды. Фляжки наполнили. Ничего, похожа на жигулевское, только соли многовато.

Солдатов даже крикнул от удовольствия.

— Степа! Комсорг!.. — жалобно взмолился он. — Не растравляй душу!

До пяти утра ждали комиссара, но Максимыч не вернулся. Тогда командир оставил записку в лошадином черепе и повел группу за Клеповым и Хаврошиным, туда, где в курганах на Маныче в конце лета проходила оборона 51-й армии. На рассвете группа обосновалась в большом блиндаже с отличными ходами сообщения. Командир послал Васильева проверить, не заминирован ли блиндаж. С ним по своей охоте двинулся Солдатов.

— Сюда! — тут же позвал он громко. — Какие тут мины! Блиндаж наши строили, видать, под штаб батальона. А потом немцы его заняли — видите, красоток своих голых на стены повесили. Зачем же немцам блиндаж в собственном тылу минировать! А вот насекомых как пить дать наберемся — это уж точно!

— Фу ты! — воскликнула Валя Заикина. — Вечно ты, Солдатов, гадости говоришь!

Командир распорядился:

— Оружие оставить у двери, а то тепло надышим и автоматы запотеют, заржавеют в тепле, а вынесешь — сразу намертво замерзнут.

Кроме часовых, все уснули рядом на застланных соломой нарах. И впервые как следует выпались. Все, кроме командира. Ему не давали

уснуть неотвязные, беспокойные мысли. И прежде всего — о комиссаре. Где он? Что с ним?

Кулькин, проснувшись, начал азартно чесаться, пугая девчат. Никто не засмеялся.

Пополудни, во время метели, ребята разломали в соседнем блиндаже нары на дрова, развели у себя костер и, соблюдая все мыслимые меры предосторожности, впервые за десять дней обсушились у огня, растопили снегу и сварили в новеньких, еще не закоптелых котелках горячее: кашу из гречневого концентрата с салом.

Солдатов продемонстрировал собственный метод скоростной сушки обуви: разогрев в костре небольшую кучку камешков, собранных им тут же в землянке, он сунул эти камешки в выжатые носки и портянки, а потом в снятые сапоги.

За дверью завывал свирепый ветер, а ребята после завтрака забрались на нары и, прижавшись друг к другу, тихо напевали.

Черняховский достал из «сидора» военный немецко-русский словарь, положил на грубо сколоченный стол зеленовато-серые солдатские книжки немцев. Через час он подозвал к себе Солдатова.

— Ага! Значит, эсэсовцев, говоришь, порешили? Почему-то все у нас эсэсовцев убивают, каждый немец у нас эсэсовец, не знаем того, что на целую группу армий одна эсэсовская дивизия приходится. Или, может, просто хвастаем, а? Вот этот дядя, — он поднял первый «зольдбух», — был ефрейтором мотовзвода по обслуживанию полевых скотобоен... — В блиндаже пробежал смешок. — Этот был трубачом из дивизионного оркестра... — Тут засмеялись громче. — А этот, верно, был начальником — начальником снегоочистительной команды!

Командиру пришлось поднять руку, чтобы унять расходившихся партизан. У Солдатова был до того



Майор Добросердов (крайний слева).



Коля Лунгор.



Леонид Черняховский.

сконфуженный вид, что и сам Черняховский не смог сдержать улыбку.

— Да пойдн разбери их, чертей, в темноте! — бормотал Солдатов. — Не могли же мы у них звание и должность спрашивать!..

Метель еще выла за дверью, надувала снег в щели.

Пришел, позевывая, с поста, Коля Кулькин, выскреб со дна котелка оставленную ему кашу, закурил от трута и, попыхивая

самокруткой, погладил живот.

— А что, братцы, тут жить можно! Неплохо мы устроились! Комфорт! Курорт!

— Как в санатории «Агудзера», — усмехнулся командир, надевая рукавицы. — Фрицам небось тоже известно, что во всей степи партизанам негде больше укрыться. — Он поднял автомат со стола. — Васильев! Бери лопату, тол, штук восемь мин. Сидоров! Хаврошин! Пошли, будем минировать подступы к этому курорту.

После минирования, уже в сумерках, командир вывел всех из блиндажа и показал, где, в каких местах заложены мины.

Пришла ночь, а комиссара и Лунгора все не было.

— Смотрите в оба! — наставлял командир часовых. — Чтобы наши на мины не попали!

Перед сном, впервые за несколько суток, слушали известия.

Сначала поймали какую-то немецкую станцию на русском языке. Подручный Геббельса врал, будто за два дня «доблестная германская армия», отражая наступление Советской Армии, прорвавшей германскую оборону на Волге, разбила десять советских танковых бригад и стрелковых дивизий. По его словам, эти «успехи» были достигнуты благодаря «новому, чрезвычайно эффективному вооружению» — танкам-огнеметам, которые перебрасывали пламя через пятиэтажные дома, и благодаря электрическим пулеметам, выпускавшим три тысячи пуль в минуту.

— Брешут, собаки! — авторитетно заявил командир.

Москва коротко сообщала: наступление продолжается на прежних направлениях.

Ночь прошла спокойно. Командира мучила бессонница. Он слышал, как Солдатов долго вздрагивал и скулил во сне, не давая спать соседу — Павлу Васильеву. Наконец Павел осторожно ткнул Солдатова в бок. Тот проснулся, как просыпаются разведчики — мгновенно и в полном сознании.

— Ты что, Гитлера во сне увидал? — шепотом спросил в темноте Павел. — Дерешься во сне.

— Нет, не Гитлера, — ответил Солдатов, отирая потный лоб. — А тех трех фрицев, трубача того... Тьфу ты, наваждение какое! Закурим, что ли?

— На кури, мне не хочется.

— А я уж на махорку перешел. Понимаешь, кореш, какая штука, я их вовсе не жалею, в сети всегда больше малька, чем щук, идет, а по ночам, когда я несознательный, всякая хреновина в голову лезет. А знаешь почему? Да все потому, что первого «языка» — ефрейтора пришлось мне в воронке на «ничьей земле» прирезать. И напомнил мне этот первенец рассказ один из школьного учебника. Помнишь, про двух солдат в воронке — немца и нашего? Встретились как враги, а расстались товарищами. Сильный рассказец. Ведь чему учили нас? «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и все такое, а вот опять приходится пролетарию пролетария убивать. Горы трупов от Волги до самой границы, и ведь почти все простой, рядовой народ, иваны да иоганны, фролы да фрицы.

— Оболванил Гитлер ихний рабочий класс. В этом вся трагедия. Я об этом долго думал и отлично понимаю тебя. И я на мушку всегда офицера или там ээсовца стараюсь взять, но ведь всякое бывает...

— Да ты мне политинформацию не читай, сами с усами, да я их, как бешеных собак...

— Спи давай!..

Командир еще долго не спал, раздумывал над услышанным.

Ночь прошла спокойно. Когда рассвело, сварили пшеничную кашу с салом.

— Оставьте Максимычу и Лунгору! — сказал командир.

— Вот еще! Может, они совсем не придут, — неудачно пошутил Солдатов.

Черняховский прыгнул к нему, схватил за ворот так, что ватник затрепал, но потом разжал руки, выпрямился...

— Оставьте комиссару и Лунгору! — повторил он спокойно.

И вдруг прислушался. Кто-то шел к блиндажу. Скрипел снег. Не один шел — двое!..

— Здорово, орлы! — громко сказал Максимыч, распахивая дверь. За ним — Коля Лунгор с мешком за спиной.

Ничего страшного не произошло, просто рассвет застал их далеко от лагеря и весь день пришлось пролежать в степи. Спасибо метели, никто их не заметил.

— Как же вы не замерзли?

— Сами удивляемся. Метод такой изобрели: по степи катаемся, брыкаемся, ругаемся, очень даже помогает. А потом мы до окопов доползли, там без ветру легче было.

— К железной дороге подходили?

— Не успели. Зато побывали на хуторе у одного деда под разъездом Куреным и отоварились там да про беспаловцев узнали...

— Отойдем-ка, Максимыч! — Черняховский отвел Максимыча в сторону. — Ну? Только тихо!

— Они не дошли. Дневали в пустом овечьем загоне. На них напоролись румыны. Двоих убили, третий умчался на коне, привел карателей с минометами. Каратели окружили кошару. Никто не сдался. Всех перестреляли и мертвых повесили. Ничего сделать не успели...

— Так... — хрипло произнес Черняховский.

«У нас с вами одна дорога...» Сердце командира больно сжалось. Он знал и Беспалова и Кравченко по спецшколе. Опытные боевые командиры. Беспалов, чем-то похожий на Солдатов, весь горел отвагой, ему не терпелось «задать немцам перца», Кравченко был хитрее, осторожнее, хорошо знал эту степь... Не дождетя майор Добросердов своих лучших командиров. Не пригодится пароль «Иду к родным» и отзыв «У нас одна дорога...».

А ребята и девчата, сидя и лежа на нарах, радуясь тому, что снова они все вместе, доскребли котелки и тихо пели:

Орленок, орленок! Взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы...

Беспалов и Кравченко и с ними почти три десятка веселых хлопцев. Самых боевых. Самых лучших. Таких орлят, как вот этот Володя Анастасиади, запевала группы «Максим». Как не унывающий нигде и никогда весельчак и балагур Коля Кулькин. Как этот не знающий страха архаровец Володька Солдатов, за которым нужен глаз да глаз. У Кравченко и Беспалова тоже были свои девушки — свои Зои, Вали и Нонны...

Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В семнадцать мальчишеских лет!

Черняховский провел ладонью по горячему потному лбу. Кажется, жар, температура держится уже пятый день. Может, простуда, а может, от раны — она открылась на вторую ночь после перехода фронта. Надо бы посыпать стрептоцидом, но только так, чтоб никто не видел, чтоб никто не усомнился в силах командира.

Черняховский устало сел за стол, достал из полевой сумки блокнот и карандаш. Пора радировать Добросердову. Но не дописав радиограмму, он скомкал листок в кулаке. Нет! Сначала надо что-то сделать, надо ударить по гитлеровцам, надо отомстить. И сообщить майору, Центру, Москве о гибели групп Кравченко и Беспалова и об ударе, нанесенном за них группой «Максим», в одной радиограмме. Так будет легче для майора, легче для тех, кто вслед за «Максимом» отправится в тыл врага, в эти гиблые мертвые степи...

Он раскрыл на столе карту, подозвал Максимыча и Солдатов.

Солдатов не заставил себя ждать, а Максимыч как сел, так и уснул, и снились уставшему комиссару совсем не комиссарские сны, а давно исчезнувший стог сена у проселка на Кичкино и тот знойный день с дурманящим запахом полыни, когда он, комсомольский вожак Васька Быковский, впервые осмелился поцеловать свою Оленьку...

— Буди! — сказал командир Солдатову.

— Завтра ночью, — начал он, когда к нему подошли комиссар и Солдатов, — идем в командирскую разведку на железную дорогу. Напрямик до железки — на восток километров тринадцать, но волки не ходят на охоту близ логова. Двинем на север, вот к этому выступу, где железка поворачивает под Орловской. Туда и обратно около сорока километров. Беру с собой Васильева и Киселева. За старшего оставляю тебя, Максимыч. Что скажешь?

— Правильное решение. Тем более что от этого блиндажа до самой Орловской и дальше, к Дону, тянутся окопы. Сам их рыл, комсомолию Заветинского района привозил сюда летом.

— А к железке окопы подходят? — быстро спросил Черняховский, устремив на Максимыча загоревшиеся глаза.

— Да вроде подходят, точно не помню. В конце июля там фронт проходил.

— Вот это мы и проверим. Может, придется там не одну, а две ночи пробыть.

— Возьми меня с собой.

— Нельзя. Если что случится со мной, только ты, Максимыч, сможешь командовать группой.

Всю ночь шли Черняховский, Васильев и Киселев по окопам на север. Молодой месяц смотрел вниз, в темные щели брошенных войсками позиций, заглядывал в пустые мрачные амбразуры, серебрил снег на закопченном, навсегда остановившемся изуродованном танке и навсегда замолкшем разбитом противотанковом орудии. На ржавых петлях зловеще скрипели двери блиндажей, в давно не хоженных ходах сообщения свистел степной ветер, под ногами в орудийных и пулеметных окопах звякали, стучали снарядные гильзы, расстрелянные пулеметные ленты. На бруствере лежала заполненная снегом продырявленная осколком немецкая каска.

Вдруг Киселев поднял над головой автомат: «Вижу противника!» Впереди, метрах в пятнадцати, стоял в стрелковом окопе солдат в каске с винтовкой за спиной. Черняховский минуты три, не мигая, смотрел на совершенно неподвижного солдата, потом, когда на месяц набежало облако, пополз вперед с финкой в зубах... Это было соломенное чучело в каске, с палкой, неизвестно кем и зачем поставленное над окопом.

И опять тянулись странно тихие траншеи с будто замороженным грохотом бушевавшего здесь огневого шквала.

Командир остался доволен результатами рекогносцировки. Окопы не только почти вплотную подступали к закруглению пути, но они нашли и такое место, где, перешагивая через окопы, выходили к «железке» сосенки снегозащитной лесной полосы. Черняховский глазам не верил: на карте эти сосны не были обозначены. Ну, прямо мираж в пустыне! В голове командира зарождался дерзкий план.

До рассвета над железной дорогой гудели трехмоторные транспортные самолеты «юнкерс-52». В Сталинград они переправляли боеприпасы и продовольствие, из Сталинграда — раненых.

Под утро партизаны отошли километра на три, залегли в окопе и по очереди наблюдали в бинокль за движением по железной дороге.

Всего полтора года назад — в это трудно было поверить Черняховскому — здесь ехали веселые, беспечные люди на юг, с путевкой в санаторий «Агудзера»...

Можно было не опасаться, что немцы заметят блеск стекол бинокля — солнце вставало у партизан за спиной. С утра на восток один за другим потянулись войсковые и грузовые эшелоны. Некоторые из них шли с двойной тягой. Потом над дорогой разгорелось воздушное сражение. Барражировавшие над дорогой «юнкерсы» — на фронте их называли скрипунами — пытались отогнать наших штурмовиков. Немцы из эшелона разбежались по степи. Обе стороны вызвали подкрепления. С востока прилетела эскадрилья из двенадцати истребителей какого-то нового типа. Их перехватила эскадрилья желто-серых «мессеров». Тарахтели крупнокалиберные пулеметы, стучали авиапушки. Кусая губы, то замирая, то размахивая кулаками от возбуждения, следили партизаны за ходом боя. Самолеты вертикально взмывали в небо, пикировали, шли, казалось, на таран. Три наших «ястребка» упали в степь, три «мессера» кострами горели на земле, а четвертый, волоча дымный хвост, с нарастающим сиренным воем и грохотом врезался в землю в каких-нибудь трехстах метрах от окопа, где прятались партизаны,

— Назад! — скомандовал Черняховский и, пригнувшись, побежал по окопу.

Они укрылись в двух километрах от догоревшего «мессера». Минут через сорок к обломкам подъехал штабной вездеход с отрядом всадников. Немцы покрутились вокруг места катастрофы, покопались в дымящих обломках, сфотографировали их и уехали обратно в сторону Орловской.

На полотне немецкая ремонтная команда чинила разрушенный бомбами путь. Не успели двинуться эшелоны на восток, как вновь, заправившись горючим, прилетели наши штурмовики. Опять разгорелся скоротечный трескучий бой в голубом поднебесье. Но вскоре небо заволкло свинцовой хмарой, самолеты улетели, и эшелоны опять пошли на восток. Теперь никто им не мешал. За весь день Черняховский не увидел на полотне или близ него ни одного патруля или охранника.

На базе их заждались. В блиндаже пахло махоркой и легким табаком, пропотевшим бельем, каким-то варевом. Москва передала,

что началось новое наступление на Центральном фронте, под Великими Луками и Ржевом. Наступление под Сталинградом успешно продолжалось: наши войска прорвали новую линию обороны врага по восточному берегу Дона, взяли в плен с девятнадцатого ноября шестьдесят шесть тысяч солдат и офицеров и массу трофеев! Особенно ликовали сталинградцы — Степа Киселев, бывший техник из Сталинграда, Коля Кулькин, бывший столяр из поселка Ворошилова, Ваня Сидоров и Валя Заикина, тоже считавшие себя сталинградцами.

Черняховский немедленно достал карту, пометил на ней освобожденные пункты. Он подозвал комиссара. Сомнения не оставалось: клещи сомкнулись, город стал «котлом», где окружены большие силы немцев! Судя по тому, что творилось над железной дорогой, немцы обязательно попытаются прорвать кольцо вокруг города.

На обед съели последние концентраты, последнее сало, последний хлеб.

— Добавки по благу не будет? — спросил Кулькин девчат, засовывая ложку за голенище.

— За добавкой, — ответила Нонна, выскребая ложкой котелок, — на продпункт сходи, тут недалеко — на станции Пролетарской. По аттестату получишь.

— Там дадут, — согласился Кулькин. — Девять граммов. В блестящей упаковке. Догонят и еще дадут.

Не все новички поняли, что Кулькин говорит о пуле.

Черняховский призадумался. Что делать? С чего начать? Провести хозяйственную операцию, раздобыть на хуторах продукты, накормить ребят и потом повести группу на боевую операцию? Или сначала ударить по врагу, а затем уже позаботиться о еде? Что думает по этому поводу комиссар?

— Оно конечно, на пустое брюхо много не навоюешь, — сказал Максимыч. — Согласно «Спутнику партизана» можно есть кашу из березовой коры, только вот загвоздка, березы тут днем с огнем не сыщешь! Но и харч тут добывать тоже риск громадный! Может, Кравченко и Беспалов не с того конца взялись...

Они помолчали, закуривая. Потом командир спросил:

— Как вы тут без меня?

— Нормально, — понизил голос Максимыч. — Анастасьев занятно про Москву рассказывал, про балет «Лебединое озеро» — только он один из нас его видел. И Мавзолей тоже. Потом дурачились. Кулькин и Анастасьев представляли танец маленьких лебедей — умора! Только вот какая неприятность: Солдатов, тут за девушками начал ухаживать, с Анастасьевым из-за Нонны в конфликт вступил. Тут и я проснулся, разобрался в конфликте. Хочу с тобой и комсоргом Киселевым посоветоваться — может, стоит открытое комсомольское собрание провести, поставить на повестку дня такой вопрос: «Любовь и текущий момент»...

— Доклад твой, содокладчик Солдатов, — улыбнулся Черняховский. — Какую резолюцию предлагаешь?

— Я серьезно. Думаю, надо договориться всем, чтобы любовь всякую отложить до полного выполнения задания, до возвращения на Большую землю.

— Эх, Максимыч, Максимыч! Дорогой ты мой человек! — со вздохом проговорил Черняховский. — Значит, так. Сначала — минуем железку, а на обратном пути — набираем продуктов! Подготовку начинаем немедленно. Сводки записывал? Дай почитать.

Два-три раза командир взглянул в сторону Нонны и двух Володей. Любовь! Вспомнилось, раз лежал он в засаде перед заминированной лесной полянкой.

На полянке тишь, красота, белые купавки, красные смолянки, ирисы и лютики. А под цветами — мины. Вот так и любовь в текущий момент... Или бабочку-капустницу он раз видел на согретом солнцем рельсе...

Батарейка электрофонарика заметно села. Черняховский направил тускло-желтый луч на исписанные комиссаром листки. «Вечернее сообщение 28 ноября... наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях...» А что делают партизаны? «Партизанский отряд, действующий в Смоленской области, произвел налет на одну железнодорожную станцию... В результате налета уничтожено 370 немецко-фашистских захватчиков... взорван эшелон с находившимися на платформах 17 самолетами, второй эшелон с бронетягачами... разрушены пути и здание станции...» Вот это да, вот это налет!.. Но группе «Максим» такой налет не по силам.

Черняховский не мог знать, что в сводке шла речь об одной из самых смелых, крупных и результативных партизанских операций всей войны — станцию Пригорье на железной дороге Брянск — Рославль разгромила группа партизанских бригад Клетнянских лесов под общим командованием «клетнянского бати» — подполковника Тимофея Михайловича Коротченкова.

Максимыч ткнул пальцем в следующий абзац.

— Что делают, сволочи! Это я ребятам два раза читал. Живыми к ним в лапы лучше не попадаться!

«...Наши бойцы обнаружили растерзанные трупы двух советских танкистов... Озверелые гитлеровцы подвергли раненых советских бойцов чудовищным пыткам и замучили их насмерть».

«Утреннее сообщение 29 ноября... Партизанский отряд, действующий на Северном Кавказе, пустил под откос вражеский железнодорожный эшелон с боеприпасами и живой силой... Движение на этом участке железной дороги было прекращено на три дня...»

— Это кто-то из наших! — сказал, едва сдерживая волнение, Черняховский. — Из нашей спецшколы!

А у нас под носом — эшелоны идут и идут! Нет Беспалова, нет Кравченко — одни мы остались. И у нас самый важный участок — там, где, может, вся война решается! Хотя бы на несколько часов, на час задержать немцев! Перерубить главную артерию, аорту!..

По рукам пошли двухгорловые банки с оружейным маслом и щелочью, протирки, ершики. Черняховский придирчиво осматривал каждый автомат, каждую винтовку. По его указанию снайпер Коля Кулькин зарядил свою винтовку спецпатронами, надел на дуло глушитель — словом, подготовил к бою «бесшумку».

Володя Анастасиади украдкой наблюдал за Нонной — вот она оттопырила нижнюю губу и сдула с глаз непокорную прядь блестящих черных волос...

— Ты посмотри на этих кастрюлек! — смеялся Солдатов, показывая на девчат, чистивших карабины. — Будто швейную машинку налаживают! А хотите, пацаны, посмотреть, как ваши папы на фронте в кромешных потемках разбирают и собирают свое боевое оружие? А ну, Анастасьев, завяжи мне чем-нибудь глаза!

— На портянку! — мрачно предложил Анастасиади.

— «Уймись, волнения страсти!»... — пропел Солдатов, рассмеялся и надвинул на глаза ушанку. — Засекай время!

Постелив на колени шинель, с непостижимой ловкостью этот фокусник вслепую разобрал и собрал свой ПППШ, напевая:

— «Темная ночь, только пули свистят по степи...»...Вечером первого декабря Зоя не смогла связаться в назначенное время с Центром. На основных и запасных волнах наперебой панически голосили немцы, шифром, а то и в открытую зовя на помощь, обещая помощь, призывая держаться до последнего. Зоя переключилась на Москву. Наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление... Наши летчики уничтожили пятьдесят трехмоторных транспортных самолетов противника...

Черняховскому было ясно — люфтваффе пытаются перекинуть воздушный мост к своей окруженной группировке, по воздуху снабдить ее всем необходимым для отражения советских атак, пока здесь, по железной дороге, вермахт подбрасывает ударные войска для ее вызволения. Судя по сводке, немцы в «котле» упорно дерутся в надежде, что помощь придет, что Гитлер спасет их.

— Попробуй вызвать Центр в ночной сеанс! — сказал Зое командир, в который раз просматривая листок расписания связи.

И Зоя снова и снова выстукивала трехбуквенные позывные группы «Максим».

Было уже за полночь, и почти все в блиндаже спали, когда она сказала:

— Есть связь!

И командир вдруг положил руку на Зоино плечо и ласково погладил его. Зоя посмотрела на него удивленно и даже с каким-то испугом, а Валя ткнула ее локтем в бок и шепнула:

— Не тушуйся, девка!

Зоя переключилась на передачу.

Проверяя анод, накал, настройку, записывая группы пятизначных чисел, которые ей передавал незнакомый радист на радиоузле в Астрахани, Зоя все время чувствовала на себе взгляд командира.

Откуда Зое было знать, что командир думает вовсе не о ней, а о связи с Центром и о том месте под станцией Орловской, где почти вплотную к полотну подходят сосны и окопы.

Зоя думала, машинально записывая цифры, что она черт знает как выглядит все эти дни, что надо, душа моя девица, несмотря ни на что следить за собой, если хочешь, чтобы... А ногти, ногти-то! Рука на ключе, никуда ее не спрячешь!.. Но тут пропала связь, и Зоя стала отчаянно крутить ручку настройки, пока снова не услышала знакомый «почерк» астраханского радиста. Для верности Зоя попросила радиста повторить радиограмму, потом достала секретный рулон с шифром и быстро расшифровала ее.

Черняховский молча прочитал радиограмму и протянул ее комиссару. Потом он встал и, повесив на плечо автомат, вышел на воздух и долго, слушая частое и сильное биение собственного сердца, смотрел на звезды, на облака, на черные курганы.

Ему, командиру группы «Максим», казалось сейчас, что всю свою жизнь, с ранней юности, он, сам того не зная, неуклонно, бесповоротно шел к тому судьбой предназначенному ему месту, где к железной дороге под Орловской подходили точно нарочно вырытые окопы и точно специально посаженные в степи сосны.

Комиссар еще раз прочитал радиограмму командования. В ней было два самых главных слова: «Перекрыть дорогу!» Как и командир, он сразу понял: в этом задании и был смысл адски трудного похода, самого существования группы «Максим». Командование знало, что, когда начнется наступление, по этой жизненно важной дороге ударит горстка смельчаков.

Максими́ч вышел вслед за командиром и молча встал рядом с ним у присыпанного снегом бруствера. Долго стояли они, покуривая в кулак, думая о довоенной жизни, о пятнадцати месяцах войны и о завтрашнем деле. Потом командир сказал тихо:

— Ты дал мне рекомендацию. Я не все рассказал о себе.

Комиссар молчал.

— Я и в анкетах врал. Потому что хотел быть на фронте, в тылу врага. Это мое право, и никто не может отнять его у меня. В армии я часто слышал: «После войны восстановим все в точности как было!» А я не хочу как было. Я хочу, чтобы было намного лучше!

Комиссар молчал.

— Ты слышал про железный поток, про Таманский поход восемнадцатого года? Двадцать четыре года назад время было такое же трудное — немцы наступали от Ростова на Батайск, белые рвались

на Кубань, наши были отрезаны на Тамани. Кругом белоказаки. Но сорок тысяч бойцов прорубили себе путь — недалеко отсюда — через Новороссийск, Туапсе и Армавир. Пятьсот километров на соединение со своими вел их Ковтюх. А один из отрядов красных казаков у Ковтюха вел мой батька. Комиссар молча затушил самокрутку.

— В тридцать седьмом их арестовали — Ковтюха, моего отца и многих других. Не знаю, кому и зачем это понадобилось, только я никогда не поверю, что они враги народа. Теперь я хочу, чтобы ты это знал.

После долгого молчания комиссар сказал:

— Дай, друг, докурить! У тебя покрепче. Комиссар думал о Таманском походе, которым прошел Черняховский-отец, и о не менее трудном походе по калмыцким и Сальским степям Черняховского-сына, о железном потоке, который повторился через два десятка лет, и о том, что такие два поколения непобедимы.

8. Они победили грозу

Смерть проще, чем ты думал, и у героев нет лучезарного орла. А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы.

Юлиус Фучик



За степными курганами тревожно догорала алая заря. Курганы стали розовыми, потом чернильно-синими, еще позднее — фиолетово-черными.

Вечером второго декабря — пятнадцатого дня в тылу врага — перед выходом на задание группа «Максим» слушала вечернее сообщение Совинформбюро. Чтобы было слышнее, Зоя положила наушники в алюминиевый котелок.

— «В течение второго декабря наши войска в районе города Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая упорное

сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов...»

Дальше Москва сообщала, что юго-западнее Сталинграда — на ближайшем к району группы «Максим» направлении — часть, где командиром товарищ Русских, заняла безымянную высоту и что партизаны Калининской области пустили под откос три воинских эшелона.

Сначала командир хотел было оставить радистку с охраной в блиндаже, но она умолила его взять ее с собой. Он принял такое решение, конечно, не потому, что Зое не хотелось оставаться одной, а потому, что днем со стороны Нижнего Зундова донесся звук дизелей. Значит, рядом, под боком враг, и вдруг ему вздумается искать в окопах партизан или готовить эти брошенные окопы для обороны против советских войск, которые, наверное, скоро вернутся сюда!

— Зарядить винтовки бронебойно-зажигательными! —
скомандовал перед выходом командир, и ребята, доставая из подсумков патроны, переглянулись многозначительно.

Вечер выдался лунный, светлый. Блестели за плечами вороненые дула винтовок. От возбуждения Володька Анастасиади до того разошелся, что на ходу затеял с Колей Хаврошиным и другими ребятами игру в снежки. Комиссар с необычной для него строгостью прикрикнул на ребят, но Черняховский сказал:

— А ну, посмотрим, кто дальше кинет!

И внимательно проследив за результатами состязания, сказал:

— Анастасиади, Солдатов, Киселев, будете нашими гранатометчиками.

Потом небо обложили снеговые тучи, закрутила метель, но новички шли весело. На первом привале Володька Анастасиади, путая строфы, декламировал Блока:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!..

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек...

— Почему двенадцать? — спросила Нонна. — А мы что, не люди? Нас пятнадцать!

— А вы, кастрюльки, не в счет! — пошутил Солдатов. — Даже для сугреву не годитесь!

Девчата зашептали о чем-то своем, секретном, а комиссар вздохнул, глядя в темноте на Валу и Солдатова. Он уже давно заметил, какие взгляды кидала Заикина на лихого разведчика. Комиссару хотелось придумать какие-то особые, за сердце берущие слова для деликатной беседы о любви и боевой дружбе, но мысли его неудержимо уносились в знакомый дом в селе Кичкино, в котором метет сейчас вот эта самая метель и в котором ждет его Оля с сынишкой...

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга,
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Черняховский удивил всех, встав и негромко добавив:

И идут без имени святого
все двенадцать — вдаль,
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

На привале Черняховский сказал:

— Ночью, думаю, будет бой. Помните: в ночном бою самое главное — это собрать в кулак всю энергию, волю и нервы. Немец боится ночи. Ночь — союзница партизана. Первое дело — внезапность, быстрота и натиск.

Командир отстал, чтобы выпить воды из фляги — его мучил жар — и увидел шедшую гуськом группу со стороны, увидел под

необъятным мрачным куполом неба в бескрайней степи горстку людей, и тоска и тревога защемили сердце.

Они шли по голой степи, а ветер дул все сильнее и все чернее становилась ночь. И внезапно вслед за белым снегом смерчем налетела черная буря — шурган. Теперь вьюга пылила им в очи снежным прахом вперемешку с мелкой сыпучей пылью, била шипя, точно из пескоструйного аппарата. Снег таял на распаленных лицах, пыль превращалась в грязь. На лице нарастала ледяная черная маска. Пыль забивалась в уши, за ворот, в рукава, на зубах скрипел песок. Они шли плотной, неразрывной цепочкой, крепко держась за руки, сменяя ведущего, когда он уже ничего не видел впереди.

Наконец опять потянулись окопы. Там было тише и нельзя было сбиться с пути. Черняховский провел группу мимо чучела с каской, мимо обломков «мессера», и тогда услышали далекий паровозный гудок.

— Держитесь крепче! — крикнул комиссар. — Вперед, орёлики! Один за всех, и все за одного!

Человек бессилен против черной бури. Человек — да, но не эти пятнадцать, взятые вместе. Все они крепче сжали руки. Черняховский — руку комиссара, комиссар — руку Володи Анастасиади, Володя — руку Нонны, Нонна — руку Солдатова, а тот — руку Вали... В этом пожатии слились уже крепкое товарищество и зарождавшаяся любовь, общность Родины и единство судьбы. И все пятнадцать человек из пятнадцати разных уголков России — все они почувствовали эту живую связь, познали то чувство близости, родства, братства, что родилось в дни и ночи степного похода, осознали свою кровную неотделимость друг от друга, и, быть может, не было среди них человека счастливее Володи Владимирова, у которого раньше никого на свете не было, а теперь появилось четырнадцать братьев и сестер.

Как один человек, в едином порыве шли они вперед наперекор этой черной зимней грозе, они перестали существовать по отдельности, и имя им было — «Максим». Он был великаном, былинным богатырем, этот «Максим», и было у него не пятнадцать человеческих сил, а гораздо больше.

Узкий извилистый стрелковый окоп тянулся метров на двадцать параллельно железнодорожному полотну. Командир оставил в окопе группу и выслал боевое охранение — Кулькина и Анастасиади на

двадцать метров вправо, Солдатова и Клепова — влево. Взяв с собой Васильева и Киселева, он вышел на полотно одноколейного пути. Можно было не пригибаться. Кругом — хоть глаз выколи, за четыре шага ни зги не видно, хотя буря бушевала уже вполсилы. Васильев и Киселев вспарывали мерзлый чугунотвердый щебеночный балласт под рельсом саперной лопатой и финкой, не очень заботясь о маскировке — в такую ночь машинист ничего не заметит. Летели искры, скрежетала лопата, но вокруг не было никого, кто мог бы услышать их. Через полчаса командир сменил Васильева и Киселева — они выбились из сил. Теперь работали Лунгор и Хаврошин. Им было легче: слой смерзшегося балласта кончился, дальше шла просто глина. Выкопанный грунт они складывали в пустой вещмешок.

Володя Анастасиади лежал на пологом внутреннем откосе невысокой насыпи, вдыхая такой знакомый запах мазута, шлака и креозота. Этот запах шел от шпал, от балласта под снегом. Он будил дорогие сердцу воспоминания о железнодорожных путешествиях с отцом и матерью в далекие, мирные годы.

Черняховский и Васильев начали было монтировать мину с зарядом, но в это время Солдатов и Клепов осторожно, слабыми ударами финки застучали по рельсу. Черняховский вскочил и увидел: прямо на них, ворочая огромным желтым глазом, мчится невидимый в бурлящей тьме паровоз.

— В окопы! — крикнул Черняховский. Он подхватил мину и тол и бросился к окопу.

Васильев подхватил вещмешок с землей и огромными прыжками побежал за ним. Ребят в боковом охранении тоже точно ветром сдуло с полотна. Черняховский, не добежав до сосен, повалился наземь и, оглянувшись, увидел, что по полотну едет дрезина с прожектором. Луч прожектора — в нем клубилась и кипела черная вьюга — скользнул по горке вырытой земли, и дрезина, не сбавляя ходу, тархтя мотором, понеслась дальше. Черняховский не мог разглядеть немцев на дрезине, а немцы не увидели развороченное полотно.

— Назад! — крикнул Черняховский. — По местам!

Еще минут через десять командир запустил руку в вырытую на глубину около тридцати сантиметров лунку и сказал: «Хватит». Васильев быстро уложил в яму около дюжины четырехсотграммовых толовых шашек.

— Маловато! — проворчал он.

— Сойдет! — ответил командир. — Дай бог не последняя!.. А ну, в окопы все, кроме Васильева!

Павлу он сказал:

— К черту противопехотку!.. Ставим «нахальную» мину!

Командир отрезал кусок детонирующего шнура, надел на концы капсюли-детонаторы, прижав их зубами. Один капсюль он вставил в толовую шашку, а когда Васильев высыпал землю на тол в лунке, второй капсюль осторожно привязал куском тонкой проволоки к рельсу. Разогнув, наконец, со вздохом спину, он заметил, что по лицу его, размывая пыль и грязь, течет пот, текут слезы из воспаленных глаз. Васильев утрамбовал руками землю над лункой, забросал снегом потревоженное место.

— Все! — сказал Черняховский. — Снимай прикрытие! Все в окоп!

Он еще раз взглянул на едва заметный в потемках капсюль на рельсе. Точно окуроченный...

Когда все укрылись в окопе, шурган прекратился так же внезапно, как и начался, будто у него вышел заряд черного пороха. Поземка лениво заметала следы на полотне.

Володя Анастасиади лежал рядом с Нонной. Он весь дрожал от возбуждения: вот-вот наскочит на мину фашистский эшелон, и вагоны встанут дыбом и полезут друг на друга, полетят вверх тормашками рельсы и шпалы, оси и скаты, и огонь охватит танки и машины! А он, Володя, народный мститель, которого хотели сделать агрономом, будет поливать горячей сталью и свинцом из автомата фашистов в рогатых касках, тех самых, что казнили Зою!.. Вот это боевое крещение!

— Можно закурить! — сказал командир. — Курящим сесть на стрелковую ступеньку!

И Володя тоже сел на стрелковую ступеньку в окопе и закурил.

Тихо, чтобы никто не подслушал, Володя дотронулся в темноте до руки Нонны и прошептал ей:

— Поздравляю тебя! Уже начался новый день — день твоего рождения!

— А ты откуда знаешь? — удивилась Нонна, стирая платком маску грязи с лица.

— А я специально посмотрел в списке группы.

— И запомнил?!

— На, возьми!

— Что это? Бумажка какая-то. Ничего не вижу!

— Мне нечего было подарить тебе на день рождения. Это стихи. На одной стороне — сводка... Утром прочтешь. Только обещай: смеяться не будешь! И никому не показывай!

В эти минуты каждый думал о своем. Черняховский вновь и вновь перебирал в памяти все, что знал, читал, слышал о нападениях партизан на эшелоны врага. Таких нападений было мало, и все они предпринимались не в степи, а в лесистой местности. Черт его знает какой зверь попадет в сети!.. Может, такой, что сети вмиг, как паутину, разорвет и охотника сожрет! Но надо, любой ценой надо задержать немцев!.. Пока везет: видимость около пятидесяти метров и до полотна — полсотни метров.

Комиссар, согнув указательный палец правой руки вокруг спускового крючка ППШ, старался меньше терзаться мыслями о жене и сыне, заставлял себя думать о деле. Хорошо бы, например, поднять дух земляков на хуторах, донести до них правду о большом наступлении Красной Армии! И еще он думал о том, что рассказал ему о своем отце Черняховский. Страшно и смертельно обидно за него.

И не только за него. Но, может, после невероятных жертв, после победы не забудутся те всколыхнувшие душу слова: «Братья и сестры!.. Друзья мои!..»

Кулькина донимал голод. Громким шепотом он объявил:

— Меняю вагон фрицев на кусок сухаря! Солдатов вздремнул стоя, положив автомат на бруствер, сунув руки крест-накрест под мышки — чтобы не замерзли перед боем.

— Вот это нервы! — сказал Сидоров Хаврошину. Но Солдатов первым услышал дальний перестук вдалеке.

— Идет! — громко, почти торжественно сказал Солдатов.

У многих сжалось сердце. Володю Анастасиади затрясло от волнения. У комиссара вспотели руки в трехпалых рукавицах. Последняя глубокая затяжка. Кляцнули затворы автоматов и винтовок.

Идет! По полотну катился тяжелый, чугунный, тысячетонный гул. Лежавшим в засаде казалось, что они слышат, как басовито звенят струны рельсов, видят, как дрожат шпалы. Казалось, гудит небо, кричит степь вокруг, стонет, содрогаясь, земля. Идет! Вихрастую

метельную тьму прорезали два желтых глаза. Пыхтя, грохоча, выбрасывая из поддувала багровое дымное пламя, мчалось на них железное чудовище. Казалось, нет на свете силы, которая сможет остановить эту огнедышащую чугунную машину.

И вдруг мгновенной ярчайшей вспышкой с оглушительным грохотом вспорола мина полотно под бегунками паровоза, и точно сильный озноб пробежал по земле. В дрогнувшем окопе посыпались мерзлые комья. Эшелон стал. Несколько секунд оглушенные партизаны, не слыша треска и скрежета, оцепенело смотрели на бешено вращающиеся на месте колеса, из-под которых летели снопы огненных искр, на мелькающее в дыму и облаках пара изуродованное дышло.

— Огонь! — во весь голос, крикнул командир. И полоснул длинной автоматной очередью по окнам пассажирского вагона. С той секунды все исчезло, не стало ни земли, ни неба — все потонуло в грохоте стрельбы.

Группа «Максим» открыла дружный огонь по темным вагонам из шести автоматов, четырех винтовок и четырех карабинов. Снайперы Лунгор и Кулькин сняли машиниста и кочегара — те выпрыгивали из локомотива. Анастасиади короткими очередями выбил стекла в окнах переднего вагона и перенес огонь на двери. Солдатов выскочил из окопа и, стоя за сосной — так были видны немцы, выпрыгивающие с другой стороны вагонов, стрелял в пространство между колесами. Васильев подвязал к телеграфному столбу связку толовых шашек и взорвал его, нарушив телеграфную связь. Боевой азарт охватил всех в группе. С пятидесяти метров они били по вагонам без промаха.

В вагонах внезапно остановившегося эшелона, в непроницаемой темноте падали с полок люди и вещи, чемоданы и ранцы из телячьих шкур, автоматы и пулеметы, железные печки с горящими головнями. С платформ едва не рухнули танки и бронетягачи. Сквозь стены вагонов, сквозь маскировочные шторы летели партизанские пули. Кричали раненые.

Франц и Карл слетели с полки. Петер больно ударился головой о стенку и тут же вскочил, машинально надел стальной шлем, подтянул ремень.

— Партизаны! — выпалил Франц, хватая автомат.

— Спокойной ночи, девочки! — фальшиво хохотнул Карл.

И Петер с замиранием сердца сразу перенесся в тот самый страшный час в своей жизни, когда на него, грозя раздавить в мелком окопе, двинулся танк.

Кромешная тьма, полная неизвестность, паника в вагоне... Из соседнего купе кто-то неузнаваемым голосом проорал:

— Ложитесь! Ради бога, ложитесь! Стреляют! Алярм! Тревога! Аля-а-арм!..

Петеру вспомнился рассказ одного ветерана зимнего побоища под Москвой: «Я прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, но нет ничего страшнее обстрела поезда, попавшего на мину!..»

— Что случилось? — слышалось в коридоре. — Сошли с рельсов. Партизаны? Откуда они здесь? Что с паровозом?

В коридоре кто-то взвыл. Все попадали на пол.

С дребезгом вылетело оконное стекло, обрызгав всех осколками. Значит, стреляли с восточной стороны.

Петер не знал, что делать. Выбежать из вагона? Но там, наверно, только этого и ждет русский снайпер!

Но вот с броневагона оглушительно залаяли крупнокалиберные двуствольные зенитные пулеметы! Наконец-то! Петер сорвал маскировочную штору и, осторожно приподнявшись, выглянул в разбитое окно. Ему показалось, что эшелон остановился в глубоком лесу, впереди, в двадцати метрах, чернела непроницаемая стена сосен. Партизанская пуля, разрывая металл и дерево, прошила стену. Под ногами скрежетало выбитое оконное стекло.

Нойман ни на секунду не забывал, что его рота отвечает за охрану эшелона. Надо поднимать роту.

— Франц, Карл, за мной! — закричал он и стремглав кинулся из купе, топча залегших в коридоре офицеров. Кажется, попало при этом командиру полка штандартенфюреру Мюлленкампу и начальнику СД дивизии штурмбаннфюреру Штресслингу!..

Вот и тамбур! Гром и молния! У этого старинного вагона нет прохода в следующий вагон! Петер распахнул дверь с западной стороны и отпрянул. Нет, с этой стороны не стреляют.

— Петер! Стой! Убьют! — крикнул Франц.

Но Петер уже спрыгнул на четвереньки. Сделай он это минутой-двумя раньше, он не ушел бы от пули Солдатова, но Солдатова уже не

было за сосной. Пуля из крупнокалиберного пулемета свалила его с ног. Она ударила по касательной в левое плечо.

— Скорей! Скорей! — еще не чувствуя особой боли, торопил он Валью, лежа на дне окопа, правой рукой пытаясь вставить новый диск в автомат.

Петер, Франц и Карл, согнувшись в три погибели, побежали к хвосту эшелона. Это было не безопасно — из всех вагонов во все стороны теперь палили наугад эсэсовцы. Петер заметил, что партизаны сосредоточили почти весь огонь на головных вагонах, и им невдомек, что их пули отскакивают как горох от броневагона!..

— Максимыч! — крикнул под соснами Черняховский. — Бери Киселева, Кулькина, Лунгора, Клепова! Дай жару хвосту эшелона. Бейте меж колес! И сразу обратно!

— Рота! — во весь голос командовал неподалеку Нойман. — Все унтер-офицеры ко мне! Остальным чинам — залечь вдоль полотна!

Подоспевшая группа Максимыча повела огонь с восточной стороны полотна. Зафырчали пули, рикошетируя от рельсов. И здесь взвыли раненые.

— По вспышкам выстрелов из автоматов, — крикнул Петер, — огонь!

Но Максимыча уже там не было — вместе с ребятами он бежал за соснами обратно в окоп.

Эсэсовцы разобрались, наконец, это партизаны вели огонь только с восточной стороны, из-под сосен. Партизанам отвечали теперь из броневагона, из каждого окна трех пассажирских вагонов, с тамбуров товарных вагонов.

Черняховский кусал в ярости губы. Паровоз на повороте сильно сбавил ход, шел на малой скорости и поэтому не рухнул под откос, крушения не получилось! Да, эшелон задержан, но совсем ненадолго, задание еще не выполнено! Важна каждая минута задержки!.. Он готов был по капле отдать кровь — по капле за каждую минуту!.. И надо же было нарваться на эшелон с живой силой да еще с броневагоном впереди. А тут еще отказывает оружие, засоренное пылью после шургана! Он выхватил из-за пояса РГД...

— Гранатами по эшелону!..

Но скорострельные крупнокалиберные «эрликоны» почти не давали ребятам поднять голову. Оглушительно грохотали

крупнокалиберные пулеметы. Взахлеб лаяли ручники МГ-34. Черняховский насчитал уже шесть ручников. До чего аккуратны эти фрицы-пулеметчики, каждый пятый патрон в ленте — трассирующий! Красные светляки летят все точнее, секут бруствер, взметая фонтанчиками комья земли и снежную пыль.

Максими́ч бросил гранату и вдруг повалился навзничь, кровь заливала ему глаза.

— Валя! Валя! — не своим голосом крикнула Зоя, ведя огонь из нагана. — Комиссар ранен!

— Ничего! Пустяки! — выдавил, присев, Максими́ч, весь охваченный азартом боя. — Над ухом царапнуло...

Валя быстро повязала ему голову. И через минуту он уже кричал:

— Орёлики!..

К Петеру подполз связной.

— Приказ штандартенфюрера! Вашей роте, обер-штурмфюрер, с противотанковой батареей взять партизан живьем!

Не раздумывая ни секунды, Петер залиvisto свистнул в командирский свисток:

— Либезис! Хаттеншвилер! Шеант! Со взводами за мной! Противотанковым пушкам и минометчикам — огнем отрезать «Иванам» отход! Взять их живьем!

Петер пополз к соснам, бормоча проклятия: ночным боем дьявольски трудно управлять, разведка слепа, связь ненадежна, нет поддержки тяжелого оружия, и даже эсэсовцам не чужда врожденная робость перед темнотой и невидимым противником. Хотя теперь ясно: судя по огню, партизан не больше двадцати-тридцати человек. Взять их живыми — это, конечно, идея не командира полка, а начальника СД Штресслинга.

Оберштурмфюрер действовал по всем правилам тактики: взводом Шеанта сковал партизан с фронта, двум взводам — Либезиса и Хаттеншвилера — приказал незаметно охватить их с флангов и с тыла. Штурмовая атака с четырех сторон — по сигналу зеленой ракеты.

— По сигналу зеленой ракеты, — отчеканил он связному, — пусть прожектористы на броневаяне осветят бандитов!

Нойман заметил, что мины и снаряды, ударяясь о мерзлую землю, рвутся громче, чем до заморозков. Точно кто-то яростно хлопал тяжелой стальной дверью.

Когда за окопом, занятым партизанами, раздались первые разрывы мин и снарядов, Черняховский, бросив последнюю осколочную гранату — «эфку», впервые подумал об отходе. Но в то же мгновение чудовищной силы удар сбил его с ног. Через несколько минут он пришел в себя на дне окопа и смутно увидел над собой лицо Зои.

Закусив губу; она перевязывала ему индивидуальным пакетом грудь и шею, и слезы падали ему на лицо. Слезы, теплые как капли апрельского дождя в Сухуми. Черняховский потрогал левый глаз — им он перестал видеть. В голове шумело, как шумит в непогоду черноморский прибой.

— Гранатой вас, гранатой!.. — Зоя перевязывала его трясущимися руками.

Командир оттолкнул ее, с трудом, вцепившись пальцами в земляную стенку окопа, поднялся на ноги, взял автомат, лежавший на бруствере, и всадил остаток диска в окна пассажирского вагона. Он пытался вспомнить что-то жизненно важное и не мог из-за шума в голове.

— Орёлики! Бей гадов! — кричал комиссар.

— Полундра! — кричал Солдатов. Крики сливались с шумом стрельбы.

По расчетам Петера его люди уже окружили партизан. Он подозвал связного.

— Противотанковой батарее через пять минут выстрелить по опушке лесной полосы тремя дымовыми снарядами!

По огню немцев Черняховский, цепляясь за покидавшее его сознание, понял, что враг совершил обходной маневр. Огненные трассы пулеметных очередей скрещивались над окопом. Надо было немедленно прорываться!..

— Солдатов! Киселев! — крикнул он срывающимся голосом. — Прикройте отход!.. Остальные — за мной!..

— Лунгора в шею ранили! — крикнула Нонна. — Валя, сюда!

— Сидорова ранили! — тут же донеслось с другого конца окопа.

И в эту минуту прямо перед окопом и за ним разорвались дымовые снаряды. Густой ядовитый дым за клубился вокруг. В дыму канули и звезды и сосны. Он был так густ, этот дым, что партизаны не заметили зеленую ракету. Клубы грязно-белого дыма вдруг озарились

таким ярким светом, словно над окопом зажглась вольтова дуга. Со всех сторон бросились к окопу солдаты трех штурмовых отделений.

Одно из этих отделений вел Франц Хаттеншвилер. Нойман залег позади с отделением прикрытия и с подоспевшими к нему огнеметчиками из отделения шарфюрера Фаллеста.

Франц почти добежал до окопа, но из дыма густым роем летели пули, и Франц с разбегу кинулся наземь. Петеру надо было выручить приятеля.

— Поджечь деревья! — скомандовал он Фаллесту.

Около дюжины огнеметчиков — все с газовыми баллонами за спиной, в масках из резины, с очками из слюды — двинулись, пригнувшись, к окопу. Петеру они показались чертями в аду — их черные горбатые силуэты четко вырисовывались на фоне яркого кроваво-красного пламени.

В окопе нечем было дышать. Кашляя от горького удушливого дыма, оглушенный Черняховский никак не мог выбраться из окопа. Партизаны стреляли вслепую.

— Пора сматываться! — крикнул Солдатов.

Он выполз, судорожно кашляя, из окопа и увидел при свете осветительных ракет фантастическую картину: прямо на него, выпуская длинные ревущие языки пламени, шли какие-то человекоподобные существа с нечеловеческими лицами. Он вытер рукавом лицо — кровь заливала ему глаза. Снег у ног, шипя, превращался в пар, жар опалил лицо и руки. Он хлестнул очередь из последнего диска по одному из огнеметчиков и, ликуя, увидел, как на месте огнеметчика с грохотом возник шар огня. Он не знал, что это взорвался баллон с газом, но услышал звериный вопль. Вопль оборвался на высокой ноте. Еще одна — трассирующая — пуля ударила Солдатова чуть ниже левой ключицы. Комиссар втащил его обратно в окоп. У Солдатова горел ватник, кашель разрывал ему грудь...

— Да я от пуль замороженный, — шептал Солдатов. — Осколок, наверное...

Нойман слышал, как ревом и руганью гнал «Дикий бык» Либезис вперед свой взвод:

— Эй ты, содомская вошь! Форвертс! Шульц, жук навозный, да поразит тебя стрела божья! Шнитке, сосуд зла! Форвертс! Иисус-

Мария!

Всюду вокруг окопа горели сосны. Пламя, пожирая кору, бежало вверх по стволам. И текла, текла кровь. Силы быстро оставляли Черняховского.

— Леня! — услышал он хриплый крик Солдатова. — Патроны кончаются!

— Ребята! — сказал командир. — Приказываю прорываться! Уходите! Я прикрою вас! Веди их, комиссар! Больше жизни! Больше...

Вторая ядовито-зеленая ракета зажглась над окопом. За ней сразу взвились неземными, злыми солнцами несколько осветительных ракет. Девять секунд, шипя, они медленно опускались вниз на парашютиках, но не успевали рассыпаться на несколько огней и погаснуть, как зажигались и горели дрожащим магниевым светом новые ракеты и по снегу хороводами бежали в разные стороны тени сосен. Сквозь поредевшие космы дыма в глаза ударил ярко-белый луч прожектора. Комиссар повел группу на прорыв. Но перед партизанами прямо в траншее и по бокам ее выросли рослые эсэсовцы в черных шинелях. По трое, по четверо набросились они на комиссара и Киселева, на маленькую Нонну Шарыгину и Валю Заикину. Зоя увернулась, сорвала с себя сумку с рацией и несколько раз выстрелила в нее. Потом направила наган на себя, но эсэсовцы выбили оружие из ее рук. Партизаны схватились с немцами врукопашную.

Нойман встал и подошел ближе. Боже, как дрались эту русские! Дрались прикладами, а когда у них выхватывали автоматы или винтовки, пускали в ход ножи. Они дрались и голыми руками, отбивались ногами. Петер услышал женский визг и только тогда заметил среди партизан трех женщин. Град ударов валит их с ног... Эсэсовцы, толкаясь, срывают с пленных часы, кобуры с пистолетами. Слишком поздно Петер соображает, что по этим часам и пистолетам можно было определить командиров...

К Петеру с автоматом в руках подбежал Франц. Франц торжествовал.

— Готово! Они в наших руках! Вон они, как на серебряном подносе!

В ту же секунду из-за горящей сосны, весь перемазанный копотью и кровью, выскочил Володя Анастасиади. За ним гнались эсэсовцы. Последние пули в диске выпустил он в офицера. Он сразил бы и

второго, но когда нажал на спуск, раздался только негромкий щелчок — патроны кончились. И тут же навалились на него эсэсовцы...

Франц корчился на земле, обхватив обеими руками живот.

— Все, я готов! — простонал он. — Капут!

И вдруг унтерштурмфюрер СС Франц Хаттеншвилер, тот самый, который всегда кичился тем, что не боится ни бога, ни черта, этот бесстрашный, презирающий смерть «сверхчеловек», взвыл и стал молить господу бога сохранить ему жизнь. Он плакал и звал то богородицу, то маму, умолял Петера сделать ему противостолбнячный укол. А потом, словно из глубин бытия, вырвался из его груди звериный крик ужаса перед смертью.

— Замолчи! — закричал на него Петер, оглушенный этим криком. — Не кричи, не хнычь, как гимназистка! Все будет в порядке. Санитары!..

Франц как-то внезапно успокоился.

— Да! Все будет в порядке! Я еще вернусь в Гамбург, утру нос штафиркам. Я, ей-богу, уже чувствую себя лучше. Ей-богу...

Но глаза у него слепнут, стекленеют... Он испустил дух на руках у Петера. Петеру вдруг вспомнился тот далекий день в Виттенберге — узорная кованая ограда, дорожка, посыпанная мелким черным и белым гравием, и он, Петер, свистом вызывает Франца...

К Петеру подбежал Либезис.

— Все кончено, оберштурмфюрер! Рота захватила почти полсотни пленных!

Вечно этот Либезис преувеличивает! Петер насчитал двенадцать израненных партизан. Потом из окопа выволокли и поставили на ноги еще трех тяжелораненных. И эти двенадцать мужчин и три женщины стали на пути полка СС «Нордланд»!

— Унесите труп, Либезис!

Петер Нойман не упустил случая лично доложить командиру полка об успешном выполнении приказа. За это дело он вполне мог получить крест. Беднягу Франца, заработавшего деревянный крест, он велел отнести в один из товарных вагонов, а не в фургон-крематорий, в котором тела павших «викингов» предавались огню.

Он посмотрел, как уносил Франца на спине громадный штурман, вспомнил Франца, каким он был в коротких штанишках в Гамбурге и Виттенберге, и подумал, что, пожалуй, он впервые понял, что такое

смерть. Он и до гибели Франца видел сотни и тысячи мертвецов, но ведь то были чужие мертвецы!.. Пал Франц, пал первым из «древнего ордена рыцарей Виттенберга». И еще Петер сказал себе: «Нет, Петер Нойман не упустит своего, он не сопьется, как Карл, не погибнет, как Франц, он своего добьется!»

В купе штандартенфюрера Мюлленкампа, дымя бразильской сигарой, сидел начальник СД дивизии СС «Викинг» штурмбаннфюрер Штресслинг. Говорили, что этот пятидесятилетний крепкий румяный офицер с седым бобриком, бычьей шеей и нависшими, как у Гинденбурга, над тугим воротником складками жира, был «старым борцом», одним из приближенных главаря штурмовиков Рема, что он предал его Гиммлеру, что он большой друг и личного адъютанта рейхсфюрера СС Рудольфа Брандта, который возглавлял все эйнзатцгруппы, ведавшие физическим истреблением самых опасных врагов рейха на оккупированной советской территории.

— Хорошо, оберштурмфюрер! — сказал Мюлленкамп, нетерпеливо выслушав доклад Ноймана. — Долго же, однако, юноша, вы возились с горсткой бандитов. Нельзя так терять время — момент критический. Я сообщил бригаденфюреру по рации о налете. Связались с железнодорожниками — у этих болванов всего один ремонтно-восстановительный поезд! Они, видите ли, не считали эту степь партизаноопасной! Поезд выходит из Котельниковского с паровозом. Паровоз у нас чудом уцелел — сорваны бегунки, поврежден цилиндр, лопнули дышла, бандажи... Пока доедут... Проклятие! У нас каждая минута на счету! Промедление смерти подобно!.. Мюлленкамп, офицер железной самодисциплины, пунктуален, как проверка времени по радио «Грос-дойче Рундфунк», а тут столь опасная задержка!..

— И все же, — прервал его Штресслинг, скрестив руки так, что был виден ромб с буквами «СД» на рукаве, — согласно приказу рейхсфюрера, о котором известно штандартенфюреру, — по прусской традиции Штресслинг говорил о старшем офицере в третьем лице, — я обязан допросить пленных партизан на месте преступления. Штандартенфюрер согласится со мной, что нам совершенно непонятно, откуда посреди Сальских степей взялась эта группа. Пройти из-за фронта по калмыцким и Сальским степям, в тылу миллионной нашей армии — выше сил человеческих. Значит, они с

неба свалились, на парашютах. Раз так, то необходимо все разузнать — кто послал их, с какой целью, с кем они связаны здесь, где скрываются другие отряды. — У контрразведчика начальственный раскатистый бас. — Бьюсь об заклад, что их прислала Москва! Ведь они ударили нас по самому больному месту — по единственной стальной трассе в краю бездорожья, по трассе, важней которой для нас нет.

Тут он заметил, что штандартенфюрер нетерпеливо постукивает по колену, и затушил сигару.

— Ведите меня к ним, оберштурмфюрер! — почти весело произнес он, поднимаясь. — Я вам покажу, что мои предшественники в вашей дивизии — Кольден и другие — не более чем жалкие дилетанты.

Петер поежился, ощутив на себе ледяной, пронизывающий взгляд... Как, должно быть, замораживает он кровь своих жертв!

— Главное, дать им понять, что умирать в этом мире не за что, зато есть ради чего жить! Сколько их там у вас, этих бандитов?

— Двенадцать мужчин и...

— Прекрасно! Ведь даже среди двенадцати апостолов нашелся Иуда!

И, уже заранее распаляя себя, Штресслинг начал хриплым басом ругаться:

— Монгольские обезьяны! Татарское отродье! Я им покажу, сталинским волкам! Недочеловеки проклятые!

Петер понимал, что Штресслинг мастер своего дела. Он не сомневался, что штурмбаннфюрер заставит русских заговорить. Говорят, Гиммлер поручал ему самых упрямых, самых неразговорчивых «красных». Да и одно дело — геройствовать в пылу боя, а сейчас, когда остыла боевая горячка, израненные, истекающие кровью, без оружия и без надежды на спасение, они все запоют лазаря.

...Они стоят строем перед броневагоном, перед слепящим глазом прожектора. Они окружены со всех сторон огромной, непробиваемой толпой взбешенных фашистов в черных шинелях и черных касках с эсэсовскими эмблемами. В фашистах клокочет ненависть — теперь-то они отомстят за пережитый страх, за гибель однополчан. Вьюга стихла. Застыли и плавятся серебром облака вокруг луны. Зловеще гудит в телеграфных проводах степной ветер. Из Орловской прибывает аварийный состав, ремонтники уже чинят взорванный путь. Позади

полыхают деревья, подожженные огнеметами. Впереди пытит паровоз. Они стоят, обезоруженные, истекающие кровью, стоят, поддерживая друг друга. На них нацелены дула десятков автоматов и крупнокалиберные пулеметы броневоза. Всюду скалит зубы серебряный эсэсовский череп на скрещенных костях. Лиц не видать, только черные силуэты на фоне прожектора. И как волчьи глаза — огоньки сигарет. И каждый знает — настал смертный час...

Все, что произошло дальше, так потрясло обер-штурмфюрера СС Петера Ноймана, хваставшегося, будто нервы у него «из молибденовой стали», что он во всех подробностях описал в своем дневнике последние минуты героев группы «Максим». Вот что писал этот враг, палач, на кровавом счету которого десятки и сотни замученных, зверски убитых жертв.

«Штурмбаннфюрер Штресслинг подходит к одному из партизан и что есть силы бьет по лицу, крича на него по-русски. Парень поднимает на него глаза. Но он не отвечает.

Я замечаю среди террористов девушек. Форма у них такая, что с первого взгляда не отличишь от мужской. Но зато фигуры у двух из них крупные, как у деревенских девок...

Сцепив зубы, Штресслинг ходит взад-вперед перед шеренгой красных.

— Значит, вам нечего сказать, а? — рычит он, на этот раз по-немецки. — Вы ничего не знаете? Совсем ничего?

Вдруг он останавливается как вкопанный лицом к одному из них.

— Так я развяжу вам языки!

Он поворачивается к оберштурмфюреру Лайхтер-неру, командиру 4-й роты.

— Прикажите своим людям раздеть это дерьмо догола! Это освежит им память.

Почти весь полк собрался перед броневозом... Заметив это, Штресслинг поворачивается к штандартенфюреру, который тоже подошел к нам.

— Пожалуй, стоит расставить охрану вокруг всего поезда, штандартенфюрер. Кто их знает, может быть, партизаны опять попытаются напасть на нас! Может быть, поблизости и другие группы прячутся.

Штандартенфюрер с минуту холодно смотрит на него. Видно сразу, что Штресслинг ему совсем не нравится. Кроме того, ему, командиру полка, следовало первому позаботиться об этой элементарной предосторожности.

— Обеспечьте охрану, Улькихайнен! — приказывает он, наконец, финну.

Тот, уходя, салютует вытянутой рукой.

Вижу, Карл проталкивается ко мне. По ошеломленному его виду догадываюсь, что ему уже известно о смерти Франца.

— Значит, он первым ушел из нас троих, — тупо бормочет он. — Бедный Франц! Он знал, что его убьют. Он так часто говорил мне, что никогда больше не увидит Виттенберга. Он не верил в свое счастье.

Он цепко хватается меня за руку:

— Петер! Их надо заставить говорить!

Его ногти впиваются в мою руку сквозь саржу моего мундира.

— Помнишь нашу клятву?.. Петер! Мы должны отомстить за него!

— Мы отомстим, Карл! — отвечаю я, твердо глядя ему в глаза.

Гремят команды — это Штресслинг орет во всю глотку:

— По двое на каждую свинью! Хватайте их за ноги!

Полуголые русские лежат на снегу. Их худые, израненные тела сотрясает дрожь. Они знают, что их ждет.

Женщин валят позади мужчин. Младшая лежит лицом вниз, кажется — без сознания. Спина — в больших красных ранах. Какой-то роттенфюрер говорит, что ей здорово попало, когда ее брали в плен. Она никак не давалась в руки. Эта фурия едва не вырвала глаз одному унтеру и искусала нескольких эсэсовцев.

Оборачиваюсь к Штресслингу. Он говорит с одним из русских — вернее, шипит сквозь зубы:

— Кто ваши командиры? Где они скрываются?

— Не знаю, — запинаясь, отвечает русский. Лицо как пепел. Он весь дрожит.

Штресслинг злобно кусает нижнюю губу. О чем-то думает. Взгляд его падает на эсэсовца, охраняющего партизана.

— Кинжал! — говорит он просто.

Эсэсовец, поняв с полуслова, выхватывает кинжал и, наклонившись, приставляет острие к горлу русского.

— Это ты понимаешь? — рычит штурмбаннфюрер, гневно поблескивая глазами. — Нож у горла понимаешь?

Пленный, точно зачарованный, смотрит на острие кинжала, медленно приближающееся к горлу.

Штресслинг стоит над ним — огромный, зло усмехающийся, расставив ноги в черных кожаных сапогах.

— Будешь говорить теперь?

Русский не отвечает ни словом, ни знаком. Он даже не шевелит губами.

— Прирежь его! — кричит Штресслинг, потеряв терпенье.

С секунду эсэсовец колеблется, взглядом ищет подтверждения приказа и в следующее мгновение вонзает кинжал...

Мы не знаем, кого палач Штресслинг избрал своей первой жертвой. Свидетелями подвига и казни были только палачи.

Кто в те минуты прощался с жизнью, остановив взгляд на остром кинжале из крупновской стали с надписью на лезвии: «Моя честь — моя верность»? Это мог быть любой из двенадцати партизан группы «Максим». Мы верим, что любой из них первым принял бы смерть — с тем же мужеством, не выдав товарищей, не предав командиров, не моля о пощаде, не сказав ни слова. И мы знаем, что должны были чувствовать те партизаны, которые видели, как погиб их товарищ. И все они, обессилев от холода и потери крови, черпали новую силу в силе всей группы — группы «Максим».

Нойман не отрывал глаз от русских и спрашивал себя: откуда брали эти люди такую силу? Неужели они сделаны из той же плоти, что и он, Петер, и Франц?

А Штресслинг продолжал ходить вдоль шеренги партизан, переступая через убитого, и прожектор, как в театре, следовал за ним.

Вместе с другими эсэсовцами Нойман и фон Рек-нер хладнокровно наблюдали это убийство. Их черные эсэсовские мундиры точно срослись с их кожей, они давно уже были эсэсовцами до мозга костей.

«Я лично, — писал в дневнике Петер Нойман, — абсолютно не в состоянии испытывать чувство хотя бы малейшей жалости по отношению к этим людям, даже к женщинам. Их страдания совершенно не трогают меня. Наоборот, они проливают даже некий бальзам на мое собственное горе. Они на время удовлетворяют ту

неутолимую жажду мести, что пожирает меня всего. Эти люди убивают нас из-за угла. Они воюют за свою родину? Возможно. А я ради своей родины целиком поддерживаю Штресслинга: «Смерть партизанам!»

Гитлер обещал: «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я этого хочу. Молодежь должна обладать всеми этими качествами, она должна быть безучастной к страданию. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя».

Фюрер добился своего: он превратил в белокурых зверей Петера Ноймана, Франца Хаттеншвилера, Карла фон Рекнера. Их библия — «Майн кампф», их кредо — «бефель ист бефель», «приказ есть приказ». Они продали душу дьяволу.

«Штресслинг — теперь он весь полон бешеной злобы — продолжает допрос.

Он в ярости оттого, что не может и слова выжать из красных, ярость его удесятеряется, ибо он видит, что партизаны, как ни страшит их смерть, будут верны своей решимости сжать зубы и молчать.

Пожар между тем разгорается до опасных размеров. Ветер швыряет в эсэсовцев кусками горящей коры, снопами искр.

Штандартенфюрер Мюлленкамп встревожен. Приняв, видимо, решение, он порывисто подходит к Штресслингу:

— Штурмбаннфюрер! Огонь может переброситься через пути, он отрежет нас в любую секунду. Мы и так уже более двух часов здесь торчим. Вот-вот подойдет войсковой эшелон или состав с боеприпасами. Пролетарская забита ими. Может быть, вы позднее продолжите свой... допрос.

Штресслинг круто поворачивается к нему, лицо у него деревенеет:

— Я действую согласно самому строгому приказу, штандартенфюрер! Кажется, я уже поставил вас в известность о нем. Всюду, где это возможно, террористов надо допросить и... казнить на месте преступления! — После тяжелой, давящей паузы он резко заканчивает: — Так что я вынужден просить вас проявить необходимое... терпение, штандартенфюрер!

Не говоря ни слова, командир полка поворачивается кругом на каблуке...»

«Уже более двух часов здесь торчим...» — вынужден признать эсэсовец Мюлленкамп. Более двух часов! А дорога каждая минута... Каждая выигранная минута — это залп по врагу. Именно в эти минуты, когда умирают в снегу на насыпи истязаемые героипартизаны, ценой своей жизни задержавшие эсэсовский эшелон, там, в «котле», в подземном штабе Паулюса; зуммерят телефоны: «Когда же Гот начнет прорыв?!»

И в это же время при свете фронтальной коптилки в блиндаже командующего фронтом советские генералы склоняются над картой, решая вопрос: «Успеют или не успеют 2-я гвардейская и 51-я армии преградить путь Готу?»

«Пожар все приближается. Штресслинг озабоченно вглядывается в стену деревьев, затем начинает искать кого-то в толпе.

— Фаллест!

Командир взвода огнеметчиков выходит из толпы и салютует.

— Фаллест! Я видел, как вы здесь отличились недавно. — По лицу Штресслинга пробежало и тут же исчезло выражение иронии. — Немедленно приведите сюда ваших людей, — резко приказывает он. — Со всеми манатками! Быстро, Фаллест!

И вот восемь огнеметчиков стоят перед нами с недоумевающим видом.

— Баллоны успели перезарядить? — Видя, что Фаллест утвердительно кивает, Штресслинг со смехом говорит: — А ну-ка, Фаллест, эти проклятые мужики замерзли, погрей-ка их!

Фаллест смотрит на него непонимающими глазами. Штресслинг и не думает ему ничего объяснять. Он подзывает к себе солдата.

— А ну, тащи сюда одну из этих свиней. Они больше не будут стрелять в нас. Вот будет сейчас потеха! Для них.

Неожиданно он замечает зевак эсэсовцев, видит, что глаза их липнут к полураздетым женщинам в снегу.

— Похотливые свиньи! — кричит он. — Убирайтесь к дьяволу! Все убирайтесь!

Эсэсовцы отступают немного, но тут же останавливаются, смотрят во все глаза. Всех распирает любопытство, всем хочется поглядеть, как будут умирать русские.

Солдат вытаскивает одного из пленных на свет. Он потерял сознание. Его тащат за ноги в центр луча прожектора.

— Этого явно надо погреть! — говорит Штресслинг. — Разбудите его!

Эсэсовец становится на колени и трет лицо партизана снегом. Тело русского начинает трястись. Он уже более получаса лежит в снегу. Он уже почти готов. Без всякой помощи Штресслинга.

— Кто ваши командиры? — вновь спрашивает тот.

Партизан открывает глаза. Кажется, он вот-вот заговорит...»

Ты смотрел в зимнее звездное небо, товарищ, и слышал не вопли разъяренного эсэсовца, а грозный рокот транспортных самолетов врага. По воздушной трассе, пролегающей прямо над железной дорогой, везли «юнкерсы» в «котел» на Волге боеприпасы и «железные кресты» для армии Паулюса. Но остановленный тобой эсэсовский эшелон стоял, стоял! Молчит паровоз, недвижимы колеса, застыли черные силуэты танков и пушек на платформах. Это ты его остановил! Ты, Ваня Клепов! Ты, Коля Хаврошин! Ты, Володя Анастасиади! Шли минуты, твои последние минуты. И ты готов был по капле отдать свою кровь, чтобы еще дольше задержать гитлеровцев, чтобы больше не топтал твою землю враг, чтобы чистым было небо Родины!.. Ты не знал, товарищ, какую страшную казнь уготовил тебе фашистский палач. Огнем и мечом он хотел заставить тебя заговорить. Меч оказался бессильным...

«...Но тут же голова его падает в снег. У него нет сил. Только в глазах его еще теплится жизнь. И в глазах этих — выражение такой решимости, что Штресслинг понимает...

Он подзывает эсэсовца из взвода огнеметчиков.

— Давай кончать. Это дело и так слишком затянулось. — Его нижняя губа искривилась в пародии улыбки. — Ему так и сяк капут, но он еще может послужить примером для остальных.

Фаллест порывисто поворачивается к нему:

— Но, штурмбаннфюрер!.. Это невысказано! Я думал, мы их только поугубаем!..

— Что значит «поугубаем»? — гремит Штресслинг. — Посмотрите туда — вагоны вот-вот загорятся, если мы тут еще будем тратить попусту время. Или они заговорят, или подохнут! А раз им все равно придется подохнуть, мы должны заставить их заговорить. — Он подходит к Фаллесту. — Довольно, шарфюрер! За нами идет пять, десять, тридцать эшелонов. Все на север. Если мы немедленно не

развяжем языки этим сволочам любыми средствами, слышите? — засады на наших людей будут продолжаться! Они задержат или совсем остановят эшелоны! А это, шарфюрер, только и нужно их командирам. — Внезапно успокоившись, он добавляет: — Часы, потерянные нами здесь, не потрачены зря — мы защищаем эшелоны, идущие на выручку наших окруженных дивизий! — И он заканчивает своим обычным саркастическим, едким тоном: — Пошевеливайтесь, Фаллест! Быстро!

Командир взвода огнеметчиков стоит словно громом пораженный. Но вот он сигналил одному из своих солдат, и тот выходит вперед, бледнея.

— Подожди минуту! — говорит Штресслинг. И в который раз спрашивает партизана: — Ну, будешь говорить?

Глаза русского закрыты. Неизвестно — слышал он или нет.

Штурмбаннфюрер с изумительной небрежностью спокойно бросает:

— Действуй!

Огнеметчик отходит на несколько шагов. Сигналил двум эсэсовцам, охраняющим пленного, чтобы те ушли с дороги.

Сжав зубы, со странным, остановившимся взглядом он поднимает штуцер огнемета. Еще раз смотрит на Штресслинга. Наконец решается. Клапан давления газа автоматически приводит в действие воспламеняющее устройство...»

Не откладывай книгу в сторону, товарищ!

Ты должен, должен знать, как мы, безвестные партизаны, умирали в ту декабрьскую ночь, как заживо сожгли, зарезали, расстреляли нас в сорок втором. Чтобы победило наше дело, чтобы жила страна, чтобы жил, чтобы берег мир, чтобы множил славу нашей Родины ты, товарищ!..

«Мощная струя огня с ревом вырывается из огнемета. Ужас!

Сцена эта продолжалась не более нескольких секунд, но она достигла самой вершины ужаса...

Сначала русский вскричал жутким, нечеловеческим голосом и стал извиваться, взрывать ногтями снег и землю.

Его тело, сгорая, исчезало на глазах.

С пепельно-серым лицом эсэсовец отключил пламя по сигналу Штресслинга.

Его жертва еще извивалась несколько секунд на черной выжженной земле, где растаял весь снег, еще билась в агонии смерти.

Последним своим движением русский поднес руку к обугленному лицу, на котором сгорела вся живая плоть. Затем его тело изогнулось, опало, замерло на земле.

Он мертв.

Я отворачиваюсь, пытаюсь вычеркнуть из памяти эту чудовищную сцену.

В нескольких шагах от сожженного стоят в свете прожектора партизаны, потрясенные этой дантовой сценой, только что разыгравшейся у них на глазах.

Один из них падает на колени в снег. Он шумно рыдает, воздев руки к небу.

Одна из женщин внезапно вскакивает с бешеным криком, как одержимая. Двое эсэсовцев спешат удержать ее. Ее подруги тоже в неистовом порыве набрасываются на них, действуя ногтями, как когтями. Младшую кое-как отрывают от эсэсовца, чье лицо она разодрала...»

Кто? Кто упал на черный снег? Кто умер такую смертью? Черняховский? Максимыч? Солдатов?.. Этого мы никогда не узнаем. Но по свидетельству эсэсовца Ноймана мы знаем, что среди пятнадцати не нашлось ни одного предателя, все пятнадцать не уstraшились лютой смерти, не уступили стали и огню...

Но теперь настал черед и других. Друзья прощались взглядами, пожатием рук. Может быть, обменялись двумя-тремя словами, за которыми стояло невысказанное и невыразимое...

«Штресслинг саркастически усмехается, глядя, как пленных пинками сваливают обратно на землю.

— Хватит! — кричит он вдруг. — Мы и так потратили слишком много времени.

Заложив руки за спину, он подходит к партизанам и внимательно вглядывается в каждого. Затем приказывает эсэсовцам:

— Пулеметчики! Кончайте!..

Повернувшись на каблуке, он тут же уходит по направлению к паровозу.

Горят деревья. Счастье, что ветер дует не в нашу сторону. Однако пора в дорогу. Уже валятся деревья, взметая снопы искр, всего в

нескольких шагах от пути.

Несколько длинных пулеметных очередей. Потом полдюжины пистолетных выстрелов. Тишина.

Партизаны уплатили по счету. С процентами...

Медленно трогается эшелон».

Кровь стынет в жилах, когда читаешь эти страницы из книги, написанной палачом, читаешь о страшной казни героев. Но не только скорбью, а безмерной гордостью полнится сердце, гордостью за тех, кого не пересилила вражья сила. В их глазах в те последние минуты горел тот негасимый огонь, что встал бушующим, непроницаемым валом перед гитлеровцами на Волге, под Москвой и Ленинградом. Ни огнем, ни мечом не смогли фашисты — «викинги» сломить мужество героев группы «Максим».

Эшелон скрылся во тьме. Проревел в ночи гудок, похожий на крик раненого зверя.

Может быть, кто-нибудь из героев еще какие-то мгновения слышал этот гудок, прозвучавший как реквием, еще видел россыпь звезд на небе, видел, как, мерцая, уплывали они навсегда в беспросветную, бесконечную, как вечность, черноту. Недолго вился слабый пар над остывающими телами.

Так, в степи, под Орловской, в ночь на 3 декабря 1942 года эсэсовскими автоматами и пулеметами была расстреляна их юность, расстреляны мечты.

Леонида Матвеевича Черняховского и его группу «Максим» командование объявило без вести пропавшими.

Комиссар Максимыч — Василий Максимович Быковский — никогда не вернулся к молодой жене Оле и сынишке.

Валя Заикина не окончила десятый класс и не дожидая до того времени, когда ее родная Владимировка стала городом Ахтубинском. Навсегда потухли ее озорные, улыбчивые глаза...

Володя Солдатов, заговоренный от пуль Володя Солдатов, не увидел родного Севастополя, возрожденного из руин.

Павел Васильев не поступил в университет.

Коля Лунгор так и не стал футболистом команды «Шахтер», а Коля Хаврошин не стал машинистом «Ракеты» или «Метеора» на Волге.

Нонна Шарыгина так и не прочитала стихов Володи Анастасиади.

Когда в день твоего рождения, Нонна, взошло декабрьское солнце над заснеженной степью, ты не встретила его, как бывало, улыбкой. Замерло навеки горячее сердце, смертный холод сковал изрешеченное пулями твое девичье тело, седой иней покрыл твои нецелованные губы. И рядом лежал тот, который в своих мечтах называл тебя «Ассоль». Тебе не дано было многое в жизни — не сбылись девичьи мечты, не узнала ты материнских радостей, не смогла утешить старость отца с матерью. Но зато немногим героям, Нонна, было дано совершить столь высокий подвиг. Немногие из павших так дорого отдали свою молодую жизнь...

А Володя Анастасиади, всю свою короткую жизнь считавший себя счастливым, не стал ни моряком, ни певцом, ни поэтом и не увидел больше любимую Одессу. Его одиссея была короткой и блестящей, как полет падающей звезды в черном степном небе. Володя Анастасиади не стал аргонавтом и, умирая, не знал, что своим подвигом он и его товарищи затмили подвиги героев Эллады.

Они погибли совсем юными, пали в начале пути, едва начав жить. За несколько грохочущих секунд «викинги» расстреляли будущее пятнадцати человек. Пятнадцати человек, которые могли бы вместе с нами жить и сейчас радоваться жизни.

В купе штурмбаннфюрера Штресслинга переводчик штаба полка переводил захваченные у партизан документы. «Дорогой Вовочка! — писала на полевую почту мать Володи Анастасиади — он не успел сдать это письмо. — Главное, не промочи ноги, не простудись опять. Береги себя — ты у нас единственный!» А потом переводчик сбивчиво читал Володины стихи, посвященные Нонне...

А из головы Ноймана всю ночь до утра не выходила сцена казни, и его пугало возникшее в потрясенном уме сравнение этой огненной казни со смутным воспоминанием о сцене с огнем в вагнеровских «Сумерках богов»...

— *Gotterdammerung!* — шептал он с щемящим страхом. — Сумерки богов!..

Партизаны группы «Максим» ценой своей жизни задержали эшелон с полком СС «Нордланд» не на час и не на два. Головной эшелон дивизии СС «Викинг», вместо того чтобы выгрузиться к утру в Котельниковском, застрял на полпути, остановился утром не в Котельниковском и даже не в Зимовниках, а на разъезде Куберле и

стоял там до вечера — советские штурмовики не давали ему продолжать путь. Весь день, воспользовавшись скоплением гитлеровских эшелонов на перегонах под Орловской, наша авиация бомбила их. Полк «Нордланд» выгрузился на станции города Котельниковский с опозданием на целые сутки. А за ним, тоже с опозданием, шли двадцать-тридцать других эшелонов с танковыми и моторизованными дивизиями. Занесенный для решающего удара бронированный кулак генерал-полковника Гота был остановлен диверсионно-партизанской группой «Максим».

На сельском кладбище в Куберле Петер Нойман похоронил Франца Хаттеншвилера. За неимением гроба замерзший труп кое-как втиснули в два снарядных ящика. Под соснами установили не крест, а обычный надгробный памятник эсэсовца — белую доску с вырезанным из той же доски черным мальтийским крестом.

По дороге назад — они шли мимо автоколонны — Карл фон Рекнер сказал с тяжелым вздохом:

— Кажется, дело швах, капут! Нас восемьдесят миллионов, а их сто восемьдесят. А главное — мы воюем не с армией, а с народом. Ты видел — их нельзя сломить. Сумерки богов... Знаешь, как расшифровываются буквы WN на номерах армейских грузовиков?! Wehrmacht Heer — сухопутная армия? Ничего подобного! Weg nach Hinten — дорога назад!

Весь этот день Нойман не мог отделаться от горелого запаха, от вкуса пепла во рту, пепла и горечи тяжких предчувствий, его не покидало чувство, что минувшая ночь была особой, отмеченной роком, решающей ночью.

Вернувшись в отведенную ему избу, Нойман узнал, что отправка эшелона задерживается. Нападение горстки отчаянных партизан на эшелон нарушило нормальное движение на всем участке железной дороги от Пролетарской до Котельниковского. Дивизиям Гота пришлось выделить подразделения для патрулирования, для охраны пути, мостов и станций, включить в состав всех эшелонов специальный конвой с пулеметами, заминировать окопы близ полотна, пускать эшелоны по железной дороге на пониженной скорости...

Командир дивизии «Викинг» бригаденфюрер СС Гилле приказал расстрелять сто пятьдесят заложников в Пролетарской и на других

станциях и принять срочные меры против деморализации среди солдат дивизии.

Упустив драгоценное время, эсэсовские эшелоны двинулись в ночь навстречу разгрому, поражению и гибели.

Из-за всех проволочек и задержек, вызванных напором наших фронтовиков, налетами авиации и действиями партизан, не третьего декабря, не восьмого декабря, как планировал фельдмаршал фон Манштейн, а только двенадцатого декабря смог генерал-полковник Гот приступить к операции «Зимняя гроза» — начать наступление вдоль железной дороги из района Котельниковского на Сталинград.

Вздывая гейзеры снега, рванулись вперед выкрашенные белой краской танки дивизии СС «Викинг». Генерал-полковник Гот и бригаденфюрер Гилле не сомневались в успехе, непрерывно радиовали войскам Паулюса: «Держитесь! Освобождение близко». Восемьсот танков, меченных черными крестами с белыми обводами, рвались к Волге. Ночами оберштурмфюрер Петер Нойман уже видел зарево над Волгой, каких-нибудь сорок километров оставалось до Паулюса! Вот уже видны огни сигнальных ракет окруженной армии! Ударили по русским шестиствольные минометы. Вперед, вперед через проволочные заграждения, через русские окопы, сокрушая противотанковые батареи, ломались «викинги». Взвились фиолетовые ракеты — сигнал «Танки». Загорелись зеленые: «Атака!» Но танковый вал гитлеровцев разбился о мужество и выдержку только что прибывших на фронт свежих советских войск. Разбился о волжский утес корабль завоевателей — «викингов». Вторая гвардейская и 51-я армия стояли насмерть на реке Аксай-Есауловский. А потом пошли в контрнаступление. С востока на запад протянулись огненные параболы «катюш»..

Битва на заснеженных берегах безвестной речки, похоронила надежды Гитлера о мировом господстве. Кольцо вокруг армии Паулюса замкнулось навсегда. И «викинги» подались назад, назад повернули грязно-белые танки, и Нойман и фон Рекнер, оглядываясь ночью, видели, как гаснут во мраке ракеты обреченной армии Паулюса, и с ними гасли мечты «викингов» о пирамидах Египта и чудесах Индии, таял во вьюжной степи мираж власти над миром.

Эхо выстрелов под Орловской не умолкало в потрясенной душе эсэсовца Ноймана. Вновь и вновь вспоминал он огненную казнь и

неустрасимые глаза партизан. То, что произошло в ночь со второго на третье декабря, было, по его убеждению, началом конца. Ему казалось это чудом: партизан зарезали, сожгли, уничтожили, фюрер утверждал, что Красной Армии больше нет, но она, как птица Феникс, возродилась из пепла там, на реке Аксай-Есауловский!

Сумерки богов!.. Когда Зигфрида сожгли на костре, вспыхнула и сгорела Валгалла, крепость богов, воздвигнутая коварством, злом и жаждой власти над миром. Не Валгалла ли «третьего рейха» догорала там, на Волге?..

В первый свободный вечер Нойман достал дневник и сделал в нем такую запись: «Франц спит в русской земле, которую он так ненавидел...»

А вдоль полотна под Орловской лежали рядом тела героев группы «Максим». Никто не хоронил их с воинскими почестями. Никто не целовал в мертвые губы. Кровь из ран смерзлась со снегом и с землей. С родной землей, за которую они отдали жизнь. Была оттепель, и густой белый иней покрыл каждому лицо, покрыл все тело. Они стали похожими на изваяния из белого мрамора.

Группа «Максим», выполнив задание, ушла из жизни. Но, уходя из жизни, герои не исчезают бесследно, не уходят в небытие. Подобно путеводным звездам, светят они людям. Как свет давно угасших звезд, с большим опозданием, через много лет, через десятилетия, доходит до нашей планеты, так подвиг группы «Максим» дошел до нас только через двадцать лет.

9. Вместо послесловия

Тайна степных орлов

Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше того, чье имя войдет в историю.

Юлиус Фучик



В зеленых парках Вашингтона отцветала японская вишня. Ее бело-розовая кипень отражалась в зеркальных водах живописного озера у подножия беломраморного памятника-мавзолея Томаса Джефферсона. Блестя на солнце желтым лаком, такси мчало нас дальше, к Потوماку. По радио вашингтонский диктор читал последние известия. В известиях в тот день, в годовщину Дня Победы над

гитлеровской Германией, не было ни слова о Дне Победы, — Короткая память у них, — пробормотал мой товарищ — кинооператор Анатолий Колошин, взясь со своим «Конвасом».

— Ничего, на Арлингтонском кладбище наверняка будет что снять, — успокоил я его.

Но я ошибся. На огромном кладбище, самом большом в Соединенных Штатах, было пусто. По зеленым холмам убегали вдаль бесконечные ряды белых обелисков на могилах наших американских союзников в минувшей войне.

У гробницы Неизвестного солдата, кроме часового с винтовкой, который мерно, как заведенный, шагал взад и вперед, мы тоже не увидели ни одного человека.

Зато поблизости, у пятиугольной бетонной громады Пентагона, стояло больше автомашин, чем у стадиона во время бейсбольного финала. Но и в Пентагоне, наверное, никто не вспоминал о великом празднике. Вряд ли размышлял над уроками капитуляции фашистской Германии, сидя в своем пентагонском кабинете, за стенами из листовой стали, председатель постоянного комитета НАТО гитлеровский генерал-преступник Адольф Хойзингер.

Под вечер мы вернулись в наш отель «Уиллард», расположенный в самом сердце американской столицы, близ Белого дома и Капитолия. Покупая газету «Вашингтон пост» у киоска отеля, я обратил внимание на выпущенные массовыми тиражами боевики со свастиками на обложках. «Секретная служба Гитлера», мемуары шефа нацистской разведки Вальтера Шелленберга, «Пилот штукаса», воспоминания первого аса гитлеровского рейха Ганса Ульриха Руделя и даже «Майн кампф» в американском издании.

Одна из книг этой серии не могла не привлечь моего внимания. «Черный марш. Личные воспоминания эсэсовца Петера Ноймана». Перелистав книгу, я увидел, что Нойман рассказывал в ней о своем пути под штандартами дивизии СС «Викинг» по израненной советской земле. «Викинг»! Летом сорок четвертого мне, партизану-разведчику, пришлось участвовать в боях с эсэсовцами из дивизии СС «Викинг» в лесах под Ковелем.

Эту книгу я читал до полуночи, пока не прочел до конца. Против воли автора-убийцы, ничего не забывшего и ничему не научившегося, многие страницы рисовали картины высокого героизма тех, кого палач

презрительно именовал «Иванами», «монголами», «мужиками» и «мужичками». Подвиг группы советских героев под Орловской, видимо, так потряс эсэсовца Ноймана, что его не могли заслонить в его памяти ни события войны, ни последующие годы. Нойман описал подвиг безымянных партизан очень подробно. Советские люди не знали об этом подвиге своих сыновей и дочерей. Свидетелями его были только палачи.

Я не мог уснуть до утра. Кто были они? Как их звали? Как узнать их имена, биографии? В ту ночь за океаном я дал себе клятву, что найду ответ на все эти вопросы. В ту ночь я почувствовал себя братом и однополчанином этих безвестных парней и девчат. Ведь я не только был их сверстником, я тоже, в начале войны учился в партизанской спецшколе (только не в астраханской, а в московской), тоже ходил в тыл врага и тоже воевал с «викингами» — возможно, даже с Петером Нойманом и Карлом фон Рекнером.

Вернувшись из командировки, я начал поиск. Стремление разгадать тайну степных орлов прежде всего привело меня в архивы. Работники архивов и даже мои друзья — бывшие партизаны мало верили в успех поиска. «В тех степях и партизан-то небось не было в помине!» — говорили они. Да, мы очень мало знали о партизанах калмыцких и Сальских степей. Я узнал о смелых калмыках-подрывниках Эрдни Улюмджиеве и Анги Сангаджиеве из отряда Потлова. Но Потлов действовал под Яшкулем и Кропоткиной. Я узнал о делах отряда Бадмы Харцхаева и отважной дочери степей Минджир Санджиевой. Но все они дрались с врагом далеко от Орловской.

Изучая в архиве Центрального штаба партизанского движения карту районов действий советских партизан со старым грифом «Совершенно секретно», я увидел, что ближайшие партизанские отряды базировались километрах в восьмидесяти-ста от места засады под станцией Орловская. Партизан в донских степях было мало, но гестапо обещало за голову каждого из них тысячу оккупационных марок, или десять тысяч рублей.

Южнее Пролетарской, в Сальском районе, отважно дрались партизаны небольшого отряда «Степной орел». В ту памятную зиму отряд дерзко напал на гитлеровские автоколонны недалеко от станции Пролетарская. Быть может, отряд «Степной орел» задержал эсэсовцев «Нордланда»? Нет, по дневнику боевых действий отряда

видно, что не «Степной орел», что другие степные орлы напали на эшелон.

Я узнал, что в районе Котельниковского, Зимовников, Романовской храбро дрался отряд «За Родину» под командованием Войцеховского. Однако проверка показала, что отряд этот перешел линию фронта лишь в конце декабря. Этими отрядами, действовавшими в тылу войск Манштейна и Гота, руководил штаб партизанского движения Сталинградского фронта. Еще в августе 1942 года Военный совет Сталинградского фронта направил партизанам такое сообщение: «Части Красной Армии, героически сражающиеся на фронте с остервенелым врагом, ожидают в ближайшие дни более мощной поддержки...»

И советские партизаны ответили на этот призыв еще более мощными ударами по железным дорогам на всем их протяжении от границ рейха до Волги. Они внесли свой большой вклад в разгром врага на Волге. Шестая панцерная дивизия, с еще невиданными на фронте танками «тигр», на которые так надеялись Гитлер и Манштейн, прибыла из Франции с опозданием, разрозненно, с большими потерями в технике и личном составе, с офицерами и солдатами, деморализованными партизанскими налетами. На эшелоны этой дивизии нападали и польские и украинские партизаны.

Особое значение советское командование придавало крупным партизанским диверсиям в оперативном тылу гитлеровских армий, сражавшихся на решающих участках битвы на Волге. В дни, когда в наших штабах шла подготовка к мощному контрнаступлению против гитлеровцев, еще в начале ноября 1942 года, Военный совет Сталинградского фронта, отводя важное место партизанам в этом решающем наступлении, создал штаб партизанского движения фронта. Учитывая, что партизанам придется действовать в неслыханно сложных условиях, в тылу миллионной армии гитлеровцев, в малонаселенных степях, штаб сколачивал и засылал в донские степи, в гитлеровский тыл летучие партизанские группы, в первую очередь для нападения на железнодорожные и шоссейные магистрали. А железных дорог под Сталинградом было всего две, и одной из них была Северо-Кавказская дорога.

Скорее всего, решил я, именно такая диверсионно-разведывательная группа, перешедшая через линию фронта или

выброшенная в тыл врага на парашютах, напала на эшелон «викингов». Как правило, эти группы сколачивались из комсомольцев-добровольцев и состояли из девяти-десяти партизан и двух партизанок, имели на вооружении один-два пулемета, несколько автоматов, винтовок, гранаты. Все это в точности сходилось с рассказом Петера Ноймана. Все в шинелях, меховых шапках, без знаков различия.

Полетели письма-запросы в Пролетарский район. Неужели не найдутся степняки, слышавшие двадцать лет тому назад о казни партизан под Орловской? В поиски с энтузиазмом включились пионеры Орловской средней восьмилетней школы, Донской восьмилетней школы колхоза «Россия».

Порой, когда на запросы приходили отрицательные ответы, когда в архивных поисках одна неудача следовала за другой, казалось, что нет, не удастся прорвать густую двадцатилетнюю пелену истории. Но тогда в памяти всплывал, ободрял, прогоняя сомнения, пламенный завет Юлиуса Фучика:

«Не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Помните; не было безымянных героев!»

В пожелтевших папках одного из московских архивов я натолкнулся на ценное свидетельство: в течение ноября 1942 года партизанский штаб Сталинградского фронта послал в степной тыл гитлеровцев 73 партизанские группы общей численностью около 360 человек. Во главе этих групп штаб поставил местных партийных, комсомольских и советских работников, хорошо знавших свои районы.

Итак, в тылу миллионной гитлеровской армии у Волги действовали 73 партизанские группы. Одной из семидесяти трех была группа, вышедшая в зимнюю декабрьскую ночь на железную дорогу в районе станции Орловская. Одной из семидесяти трех.

Где, в каком архиве хранятся, дела этих групп?

В областных архивах — волгоградском, ростовском, ставропольском — не оказалось никаких документов, никаких следов.

«Ищите в Москве! — писали мне отовсюду. — Партизанские штабы пересылали свои архивы после расформирования в Москву».

Поиск начался в Вашингтоне, а разгадка тайны безвестных героев лежала в центре Москвы, на Советской площади, в архиве ЦК КПСС!

С непередаваемым волнением листал я старые папки. Прежде всего я натолкнулся на сведения о дивизии СС «Викинг» в

разведсводках фронтового штаба партизанского движения: «Сальское направление — по реке Куберле, Зундов, Беднота... и далее по реке Маньч — обороняется дивизией СС «Викинг»...» В разделе «Дислокация штабов противника» мелькнуло сообщение: «Пролетарская — штаб дивизия СС «Викинг»...»

Вот разведсводка № 3 за февраль 1943 года. В разделе «Зверства и грабежи, чинимые фашистскими захватчиками над советскими гражданами» читаю:

«На станции Пролетарская гитлеровцы расстреляли около 150 человек под предлогом принадлежности их к партизанам».

Теперь, спустя двадцать лет, ясно — 150 советских мирных жителей генерал СС Герберт Гилле расстрелял за нападение партизан на полк СС «Нордланд»...

Еще 31 октября 1942 года Центральный штаб партизанского движения указал своему представителю на Волге: «Для улучшения управления и связи с отрядами разделить оккупированную зону области на сектора». Орловский и Пролетарский районы вошли в сектор № 8. Штаб предлагал направить в этот район диверсионную группу для действий на железнодорожном участке Куберле — Пролетарская.

12 декабря 1942 года генерал-майор Т. П. Кругляков, представитель Центрального штаба партизанского движения на Волге, докладывал о переброске в тыл врага 47 спецгрупп. Из них вернулись только 27 групп.

Вскоре выяснилось, что в интересующих меня районах действовали спецгруппы от астраханской спецшколы. С сентября по первое января 43 года согласно докладной записке секретаря Калмыцкого ОК ВКП(б) в ЦК ВКП(б) эта школа подготовила и направила в тыл врага 21 группу: 13 групп (268 человек) в степи Калмыкии и 8 групп (112 человек) в Сталинградскую и Ростовскую области.

Значит, нужная мне группа была одной из этих восьми групп, которые насчитывали в общей сложности 112 человек.

И вот, наконец, в донесениях партизанского штаба мелькнуло упоминание о группе, которая действовала именно на железнодорожном участке Пролетарская — Орловская — Куберле: «Самостоятельно действующая группа товарища Черняховского № 66

«Максим». Только одна эта группа действовала в конце ноября — начале декабря в районе Орловской!

Эта группа была переброшена через линию фронта в ночь на 18 ноября 1942 года и вскоре вышла в район Заветное. В конце ноября командиру отряда Черняховскому было приказано передислоцироваться в район Пролетарская — Куберле. И вот последние записи в деле: «Отряд вошел в тыл противника благополучно. Сведений о боевых действиях не поступало...»

Без вести пропали и многие другие группы, засланные в другие районы. До февраля 1943 года в штабе еще надеялись услышать о них: «В связи с тем, что отряды посланы на большое удаление в тыл противника, связники еще не появились».

Сохранились карты партизанского штаба, на которых обозначена дислокация группы «Максима» в районе Пролетарская — Куберле.

В начале декабря 1942 года связь с группой прервалась. Прервалась навсегда.

После освобождения района действий этих групп штаб пытался выяснить их судьбу. То и дело встречал я в делах короткие пометки: «Группа уничтожена полностью...» Но о группе Черняховского выяснить ничего не удалось — она словно провалилась сквозь землю.

В апреле 1943 года, когда штаб свернул свою работу и спецшкола была расформирована, никаких сведений о группе Черняховского так и не поступило.

Клубок разматывался... Вот папка с личным делом группы «Максим». За двадцать лет, по свидетельству архивариуса, ни один исследователь не притрагивался к этой папке. Желтые страницы, поблекшие чернила... Дело так и осталось незаконченным. Волнует каждая строка...

Состав—15 человек. Один член партии (комиссар), комсомольцев —10 человек, беспартийных — четверо. Вооружение — 6 автоматов, 4 винтовки, 4 карабина, пистолетов — 2, мин — 65, патронов — 4500. Продовольствия — на десять дней. Пункт базирования — курганы на берегу Маныча в районе хуторов Нижний Зундов и Верхний Зундов, в 10–15 километрах от железной дороги. Задача — налеты на железную дорогу в районе Орловской. Пароль для связи: «Воронеж». Отзыв: «Винт». Пароль для явки:

«Иду к родным»...»

В личном деле группы «Максим» — список ее командиров и партизан. Все они окончили краткосрочную спецшколу подрывников и разведчиков в Астрахани.

Леонид Матвеевич Черняховский, 28 лет, кандидат в члены ВКП(б) с 1942 года, русский. Работал до войны товароведом в сухумском санатории «Агудзера».

Комиссар группы «Максим» Быковский Василий Максимович, 29 лет. Член ВКП(б), русский, до войны — военрук школы Заветинского района Ростовской области, прибыл в спецшколу из Астраханского окружкома ВКП(б). У него оставался дома годовалый сынишка.

Заместитель командира по разведке — двадцатилетний севастополец Володя Солдатов.

Черняховский, Солдатов и некоторые из снайперов-подрывников группы «Максим» пришли в спецшколу из 28-й армии. Зная путь этой армии, можно догадываться и о боевом пути Черняховского: в сорок первом 28-я армия вела тяжелые оборонительные бои в районе Рославль — Медынь — Брянск, рвалась к Смоленску, сражалась в окружении. Весной 1942 года эта армия наступала на Харьков, а затем отбивала контратаки 6-й армии вермахта и танков фон Клейста, отступая летом к Волге. Во второй половине августа 28-я армия остановила продвижение немецко-румынских войск к Астрахани — тогда армией командовал генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко. Уже после гибели группы «Максим» товарищи Черняховского по армии наступали на Пролетарскую и Сальск, громили «викингов» под Ростовом.

Славная 28-я шла все дальше на запад, лили дожди, снега заметали безымянную степную могилу под Орловской. Бойцы 28-й армии прогнали войска 6-й армии Манштейна из Мелитополя и Никополя, освобождали Польшу, участвовали в составе 1-го Украинского фронта во взятии Берлина. И в военные годы и после войны боевые товарищи степных орлов считали их без вести пропавшими, так и не узнав, какое великое дело сделали герои в решающие дни и ночи под городом-героем на Волге.

Уходя в ноябре 1942 года в тыл врага, пятнадцать молодых героев-партизан оставили в штабном деле адреса своих родных.

По всем адресам разослал я письма, но шли недели, а родные Леонида Черняховского, Василия Быковского и других участников

группы «Максим» не отвечали. Ведь прошло двадцать лет, многие из близких моих героев умерли, другие давно сменили местожитительство. По-прежнему над заросшей степным ковылем безымянной могилой под Орловской мели черные вьюги...

Наконец — первая ласточка. Письмо из Баку. Удалось связаться с родственницей снайпера-подрывника, бывшего бакинского рабочего-вагоноремонтника Вани Клепова Пелагеей Прокофьевной Егоровой, проживающей в Баку. «Писем племянника, — пишет Пелагея Прокофьевна, — у меня не сохранилось, да и были эти письма из трех строк... В 1922 году заболела мать, и его, как самого меньшого, я забрала к себе в Баку. Здесь он поступил в 22-ю школу, окончил семь классов, потом пошел работать слесарем на Бакинский вагоноремонтный завод. Оттуда он в первый год войны был призван в Красную Армию... Проездом — он забегал домой, сказал, что направили его в Астрахань на учебу в школу, а в какую школу — я не знаю. Через месяц он написал уже с дороги на фронт, чтобы писем я пока не писала. В этом письме он писал, что на своей территории будет месяца через три, если будет жив, — сообщит сам. Больше мне о нем ничего не известно. Извещения никакого не было. Все мои старания навести справки о его судьбе были безрезультатны. Отец его сейчас проживает в Саратовской области...»

Я напечатал небольшой очерк о героях группы «Максим» в журнале «Новый мир», рассказал о своем поиске по телевидению, по радио. О беспримерном подвиге под Орловской узнали миллионы советских людей. Это очень помогло поиску.

Литсотрудник газеты «Молодежь Азербайджана» Вячеслав Сидоренко отыскал в Бакинском архиве управления железной дороги личное дело Вани Клепова, встретился с Пелагеей Егоровой. Через нее он связался с двоюродными братьями, бывшими соседями, товарищами по Октябрьскому райкому комсомола и друзьями по работе на вагоноремонтном заводе. Много интересного узнал он об этом скромном, неприметном пареньке. В день сорокапятилетия комсомола молодежная газета писала о нем как об одном из самых славных героев комсомола Азербайджана.

«В Баку на улице Гоголя есть дом 99. Старый, одноэтажный, — писал в своем очерке Вячеслав Сидоренко. — Разбежалась по фасаду сетка трещинок. Скоро снесут и его. Все старые дома рано или поздно

должны быть сломаны. Так было всегда, сколько он себя помнит, этот дом. А помнит он несколько поколений. Одни доживали здесь до глубокой старости, другие уходили со двора молодыми и больше никогда уже не возвращались сюда. Он помнит мальчишеские драки, шумные свадьбы, первые робкие поцелуи у своих ворот...

До сих пор дворник никак не заштукатурит выцарапанные в стене пять имен. А может быть, дом сам не хочет стирать из своей памяти этих пятерых друзей.

Они вместе ходили в школу сначала днем, а потом, когда пошли работать, вечером, вместе отправлялись гулять, спускаясь вниз к Морскому бульвару. В один день им принесли повестки на фронт.

На следующий день никто из "них уже не пошел на работу. Во дворе стояла какая-то праздничная торжественность, но веселья не было. Прокатилось было «Яблочко», да, споткнувшись на чьем-то материнском вздохе, умолкла гармонь. Кто-то упорно гонял на патефоне одну и ту же пластинку. И до позднего вечера светились во дворе пять папиросных огоньков, пятеро под гитару пели свою любимую: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой...» Была осень 1941 года. Целоваться они так и не успели научиться. У меня хранится фотография, первая и последняя фотография пятерых друзей. Одним из них был Ваня Клепов.

Давно отгремела война. Но пятеро не вернулись. Принесли четыре «похоронных», о пятом ничего не было известно.

И только совсем недавно в дом 99 по улице Гоголя пришло письмо с московским штемпелем... Письмо о пятом солдате. И снова вошла война в этот маленький дворик, раздвинув тяжелым солдатским плечом завесу двадцати лет, всколыхнув память, разбередив незаживающие раны.

— Живой, быстрый, — рассказывает его сестра Пелагея Егорова, — прибежит с работы и тут же собирается в школу вечернюю.

...Так и остался навечно солдатом в памяти родных и знакомых Ваня Клепов. У его сверстников уже засеребрились виски, многие, с кем он работал на вагоноремонтном заводе имени Октябрьской революции, стали бригадирами, начальниками цехов...»

Так по крупницам, по мелким штрихам, усилиями многих искателей воссоздавались образы членов группы «Максим».

Почта принесла письма и от матери медицинской сестры группы «Максим» Вали Заикиной — Марии Павловны Заикиной — и ее сестры Елизаветы Ивановны Степановой.

Валя родилась в 1923 году в крестьянской семье в селе Владимировка Владимирского района Астраханской области. Родители работали в колхозе.

«Была Валя живая, верткая, боевая, к людям относилась хорошо, — писала ее сестра Елизавета Ивановна. — В школе училась средне. Была хорошей физкультурницей, участвовала в парадах. Много читала книг. В комсомоле была с пятнадцати лет. С раннего детства узнала труд — родители работали, и Вале приходилось готовить всей семье и ухаживать за хозяйством и маленькими сестрами».

Война застала Валу в десятом классе средней школы № 1. Валя купила целую грудку новеньких учебников 10-го класса, но ей так и не удалось заниматься по ним. Валя стремилась всеми силами помочь фронту. Когда комсомол призвал юношей и девушек встать на место призванных в армию астраханских рыбаков, Валя была среди первых комсомольцев, откликнувшихся на этот призыв.

«Моя дочка Валя, — пишет шестидесятилетняя ее мать, работающая сейчас няней в районной больнице в Ахтубинске, — поехала работать из села нашего Владимировки в Астрахань на рыбный промысел и отбыла там навигацию три месяца, а после этого она прислала нам письмо, что ее посылают рыть окопы в Сталинград. Потом она, как комсомолка, ушла в армию. И больше писем от нее не было. Потом вызвали меня в райвоенкомат и сказали, что моя дочь в партизанах, а адрес вам дать не можем...

Письма ее никакие не сохранились...»

Валя Заикина... Это ты вместе со своей подругой, семнадцатилетней Нонной Шарыгиной, бросилась с голыми руками на эсэсовцев, на палачей, которые напрасно пытались сломить тебя, казнив страшной казнью у тебя на глазах твоих товарищей. Это произошло в ночь на 3 декабря 1942 года.

Спустя двадцать лет о тебе, Валя, заговорило все твое родное село.

«Известие было таким неожиданным и волнующим, — писал корреспондент «Волги» А. Попов, — что оно с быстротой молнии облетело город Ахтубинск. За «Волгой» от девятнадцатого сентября

просто охотились и в буквальном смысле слова зачитывали до дыр. Ведь в группе партизан, совершивших зимой 1942 года героический подвиг, была и наша ахтубинская Валентина Заикина.

Прочитав статью и узнав о подвиге партизан, люди долго еще не выпускали из рук газету. Вновь вчитывались в строки, посвященные девушкам-партизанкам. И шептали:

— Это какая же из них Валя-то? Ну конечно, та, что ранена была и в последний момент, перед смертью, расцарапала морду фашисту. Она ведь боевая, смелая девушка была...

Ее считали без вести пропавшей... Мария Павловна, мать Вали, писала туда, где работала дочь, просила сообщить, где она, что с ней. Но в то тревожное время — фашисты подступали к Волге — наверное, недосуг было людям ответить матери.

В том же 1942 году Марию Павловну вызвали в райвоенкомат. Сказали по секрету, что ее дочь Валентина Ивановна — впервые матери ее дочь называли по имени-отчеству — находится в партизанском отряде. И она, мать, теперь будет получать деньги по аттестату дочери.

За три месяца получила. А потом почему-то перестали выдавать. Встревожилась: не погибла ли? Пошла в военкомат. Но там сами не знали.

Все ждала весточку от самой Вали. Каждый вечер встречала почтальона на улице. И каждый день слышала одно и то же: нет ничего.

И так до самого окончания войны.

А потом Марию Павловну вызвали в военкомат и вручили небольшой желтый листок. Все знают, что значило получить такой листок. Нет, мать не упала в обморок. Мужественно встретила известие о смерти дочери. Только вот слезы. Никак нельзя было удержать их.

Из-за них никак не могла прочесть, что было написано на листке. Буквы уползали куда-то вверх или разрастались до огромных размеров. И все-таки Мария Павловна читала: «...Заикина Валентина Павловна... погибла в бою...»

«Но почему «Павловна»? — мелькнуло в сознании, — Ведь «Павловна» — это она сама. А дочь — Валентина Ивановна. Отец-то у нее Иван Александрович».

Мать подошла к военному.

— Возьмите назад извещение. Это не о моей дочери. Моя дочь — Валентина Ивановна. А тут «Павловна»...

И снова долго не было никаких известий. Только в январе 1946 года Заикиным принесли извещение.

На таком же желтом листке было написано: «Младший сержант Заикина Валентина Ивановна умерла от ран 3 мая 1945 года».

Хотя и не сказала никому об этом мать, но не поверила она извещению. Выходит, Валя жива была всю войну. Почему же тогда ни одного письма не прислала? Не похоже это на нее. Тут что-то не так. Не о моей это Вале извещение. Но что же с ней? Где она?

Нет, материнское чутье не обмануло. Столько лет ждала Мария Павловна известия о судьбе своей дочери. И все-таки дождалась. В феврале этого года почтальон принес в дом Заикиных письмо. Прежде всего удивил адрес на нем: «Сталинградская область, с. Владимировка, ул. Пушкина, 27». По этому адресу они получали письма до войны. Теперь уже и область не та, и село в город выросло, и номер дома переменялся. Загадочной была и приписка на адресе: «В случае выбытия адресата передать для ответа в местный комитет комсомола...»

Это было мое письмо — я разыскивал родных Вали Заикиной. Письмо это было...

...Очень короткое. Просил поподробнее написать о Вале, о том, как жила, как училась и т. п. И мать и сестры мучились в догадках: откуда в Москве знают об их Вале? Что с ней произошло?..

Написали то, что знали. Одновременно послали запрос в Министерство обороны, в отдел по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии. Вскоре оттуда сообщили: младший сержант Заикина Валентина Ивановна, 1921 года рождения, умерла от ран 3 мая 1945 года и похоронена в городе Черняховске Калининградской области.

Теперь уже не только матери, а всем в семье стало ясно, что это не их дочь и сестра. Во-первых, написано не Заикина, а Зайкина. Во-вторых, Валя — 1923 года рождения, а та, другая, о которой сообщали, 1921 года. Но все ли верно, точно? Не вкралась ли ошибка?

И снова в Москву летит запрос. Ответ на него рассеял все сомнения — умерла от ран 3 мая 1945 года не их Валя, а другая.

...Теперь весь Ахтубинск знает, как погибла Валя Заикина.

«Вечером в небольшом доме на углу улиц Волгоградской и Пушкина собрались все родные Валентины Заикиной — мать, сестра Елизавета с детьми, вторая сестра Елена с мужем и детьми. Отец так и не узнал настоящей судьбы дочери — он умер в феврале этого года.

В торжественной тишине слышится только голос Елизаветы — она читает газету, где написано о подвиге партизанской группы. С затаенным дыханием слушают её взрослые и дети. И особенно мать. Вот она, оказывается, какая дочь-то у нее! Мария Павловна подносит к глазам платок. Нет, она не хочет плакать... Не надо плакать. Этим надо гордиться... Но слезы сами почему-то льются из глаз.

Она не хочет пропустить ни одного слова. Но когда Елизавета начинает читать о фашистских зверствах, материнское сердце не выдерживает. Мария Павловна жестом перебивает дочь:

— Не надо больше. Не могу.

И потихоньку уходит в другую комнату.

В памяти всплывают картины многолетней давности. Вот тут, возле окна, стояла ее, Валина, кровать...

Валя мечтала стать... Нет никто из родных и ее подруг не помнит, кем она хотела быть. Но все уверяют, что у нее была большая мечта. Какая? Это осталось ее тайной. И она, боевая, настойчивая, обязательно осуществила бы свою мечту — в этом никто не сомневается. Но война опрокинула все планы...

Валентина продолжает жить в наших сердцах. Ее именем сестра героини назвала свою дочь. Девочке уже одиннадцатый год. В четвертом классе учится. Белокурая, большие серые глаза, две маленькие с бантиками на концах косички. Мария Павловна, бабушка этой Валентины, уверяет, что она очень похожа на свою тетю.

Особенно дорого имя Валентины Заикиной тем, кто лично знал ее. Таких много в Ахтубинске. Это ее подруги, с которыми Валя вместе училась, учителя, воспитавшие ее... Валю знали не только во Владимировке, но и на станции Ахтуба и в Петропавловке.

И теперь часто в домик на углу улиц Волгоградской и Пушкина навещают люди. Здесь жила героиня. Здесь, в этой небольшой комнатке, готовила уроки, ухаживала за младшими сестренками. В этом самом дворе разводила цветы.

Может быть, именем Вали назовут улицу, пионерскую дружину? Но в том, что это имя будет увековечено, никто не сомневается.

Особое внимание я, как москвич, обратил, естественно, на адрес снайпера-подрывника группы «Максим» Володи Анастасиади, или Анастасиадзе, как ошибочно значился он в архивах. Володя жил и учился до войны в Московской области, там он оставил двадцать лет назад родителей — отца Фемистокла Христофоровича и мать Александру Ивановну. И отцу и матери Володи, когда он уходил на фронт, было всего около сорока лет. Значит, сейчас около шестидесяти. Их нужно разыскать. Но как? Володя работал токарем на оборонном заводе под Москвой. Адрес родителей, оставленный им в личном деле, не обнадеживал: Москва, Варшавское шоссе, 124-е почтовое отделение, до востребования. Видимо, в этом районе жили и работали его родители, кто-то из них получал письма сына прямо в почтовом отделении.

Звоню в 124-е почтовое отделение. Первая осечка. Нумерация и адреса отделений, штаты работников давно изменились. Ныне разросшийся жилой район Варшавского шоссе обслуживают 105-е, 201-е, 230-е, 430-е почтовые отделения.

Перелистываю старые и новые телефонные книги. Нахожу некоего гражданина Анастасиаде В. З. Инициалы не сходятся — может быть, родственник? По телефону выясняю, что у В. З. Анастасиаде родственников в Москве не было и нет, о партизане Володе Анастасиадзе он никогда ничего не слышал.

И вдруг — удача. Начальник Центрального справочного адресного бюро Москвы находит в картотеке фамилии два москвича — Анастасиади Фемистокла Христофоровича, 1902 года рождения, и его жены Анастасиади Александры Ивановны, 1902 года рождения. Сомнений быть не может — это отец и мать пропавшего без вести партизана Володи Анастасиади.

В личном деле и в списках личного состава его фамилию, очевидно, перепутал войсковой писарь. Адрес отца и матери Володи Анастасиади — станция Бирюлево под Москвой. Прямо из адресного бюро в тот мглистый зимний полдень я еду на Павелецкий вокзал.

Карточки на подмосковных жителей Анастасиади были заполнены в адресном бюро восемь лет тому назад, в 1955 году. Живы ли родители героя? Если живы, то все эти двадцать лет они считали

сына пропавшим без вести. Спустя двадцать лет я везу им весть трагическую и радостную. Да, их сын погиб, но не пропал без вести — он умер героем, которым вправе гордиться вся страна.

Бирюлево. Двухэтажный деревянный дом. Сердце бьется сильнее, когда я стучу в дверь. На двери нет фамилий жильцов.

— Вам Фемистокла Христофоровича? — переспрашивает моложавая седая женщина в фартуке. — Пожалуйста. Да, я его жена, Александра Ивановна. Вы, верно, с завода путевку нам, пенсионерам, принесли?

Я стараюсь изложить цель своего прихода как можно тактичнее, но при первом упоминании имени Володи в глазах у его матери и отца вспыхивает тревога. Нет, не забыта горькая боль утраты. Еще теплилась где-то в уголке изболевшейся души слабая, угасающая и вспыхивающая надежда. Надежда на чудо. Надежда на то, что жив где-то единственный сын. Ведь бывает такое, возвращаются без вести пропавшие и через десять и через двадцать лет. Сейчас Володе — подумать только! — было бы тридцать семь лет.

— Ничего не успел Володя, — вздыхает его мать Александра Ивановна. — Так и не довелось нам нянчить внуков. А сейчас было бы Володе тридцать семь лет. Он мог стать агрономом, моряком, офицером, певцом, художником... А у нас был бы сын, были бы и внуки...

В декабре 1942 года родители Володи Анастасиади в Москве получили две открытки. На обороте одной из них — с этюдом «Двор и сад дома Ульяновых» — еще не оформившимся почерком Володя писал: «Дорогие родители! Уведомляю вас о своем отъезде из Астрахани. Отправляюсь на боевое задание. Пока все. Целую вас крепко. Ваш сын Володя».

Во второй открытке, от 26 октября 1942 года, тоже со штампом военной цензуры волжского города-героя, он торопливо писал: «Папочка и мамочка! Скоро иду выполнять боевое задание Партии и Правительства. Пока все хорошо, жив, здоров, того и вам желаю. Ну пока все. До свидания! Целую крепко, крепко 100 000 раз».

Эта открытка пришла в Москву, радуя и тревожа отца и мать, когда Володи уже не было в живых — в первый день нового, 1943 года.

Потом Володя замолчал.

Отец и мать настойчиво разыскивали сына.

От майора Добросердова из Астрахани пришло официальное письмо: «Ваш сын находится в длительной командировке...»

11 января 1943 года, почти через полтора месяца после гибели партизана Володи Анастасиади, тетя Оля — Ольга Петровна Выборнова — писала родителям Володи о своих последних встречах с Володей перед его отправкой в тыл врага:

«Здравствуйте, уважаемые Фемистокл Христофорович и Александра Ивановна! Шлю я вам привет и желаю быть здоровыми и поскорее увидаться с сыном Володей... Кончил он учиться, пришел ко мне — я его едва узнала. Полный стал, мужественный, на щеках ямочки, жизнерадостный. «Ну, — говорит он мне, — теперь провожайте меня в армию». Пришел Володя во всем казенном, в стеганых брюках, меховом пиджаке, меховых варежках, шапке... Словом, так одет, хоть на Северный полюс посылай. Кормят, говорит, хорошо, белый хлеб с маслом едят и мясное ежедневно.

Я ему предложила денег с собой — он надо мной посмеялся. «Что вы! — говорит. — Куда мне их! Чем я не доволен?» Так и не взял... Он даже мне сообщил, что в недалеком будущем он будет присылать вам деньги по аттестату. Так что прошу вас о нем не беспокоиться. Он очень хороший человек. Ему будет неплохо, конечно. Тяжело вам — вы столько времени его не видели. Я вам сочувствую. Но что же сделаешь! Так сложилось. Виноват проклятый Гитлер. У меня он отнял двоих детей, двоих таких же молодцов, как ваш Володя. Что же сделаешь! Когда-нибудь захлебнется проклятый кровопивец. Так что не горюйте. Скоро Володя пришлет о себе десточку...»

Но весточки о себе Володя так и не прислал. Шли военные годы. Отец и мать терялись в догадках. В ответ на их запросы Астраханский областной военный комиссариат ответил весной 1944 года: «В числе призванных и отправленных в Красную Армию по Астраханской области не значится». Ведь Володя пошел в партизанскую школу. В 1956 году отдел по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии Министерства обороны СССР писал: «Сообщаю, что гражданин Анастасиади Владимир Фемистоклович в числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести сержантов и солдат Советской Армии не значится. Производить его розыск как

военнослужащего без указания воинского адреса не представляется возможным».

Может быть, злая военная судьбина занесла Володю на запад, в лагерь для перемещенных лиц?

«Владимир Анастасиади, — отвечал Международный Красный Крест, — среди перемещенных лиц не числится...»

Спустя двадцать лет уже седыми стариками-пенсионерами узнали отец и мать Володи о том, что сын их пал смертью героя и встал в один ряд с Зоей Космодемьянской и молодогвардейцами Краснодона.

Когда 17-го ноября Володя Анастасиади покинул Астрахань, чтобы уйти на боевое задание, Астрахань не заметила его ухода. Но вот спустя двадцать лет та самая астраханская «Волга», в которой Володя читал рассказ Лидова о Зое Космодемьянской, рассказывала всему городу, всей области о своем приемном сыне, о Володе Анастасиади, герое, погибшем в семнадцать лет.

Прошло несколько дней, и кто-то позвонил в редакцию «Волги»: «Если хотите узнать подробности о Володе Анастасиади, то свяжитесь с Выборновой Ольгой Петровной, она живет на Трусово, улица Манина, 15».

Корреспондент «Волги» А. Кравец в тот же вечер встретился с Ольгой Петровной и ее дочерью Анной Федоровной. Да, обе они хорошо помнили этого чудесного парня — Володю. Ольга Петровна любила его как сына... Теперь она считает, что потеряла не двух, а трех сыновей на войне.

В отделе кадров завода имени Карла Маркса нашли его учетную карточку, автобиографию, личный листок по учету кадров и выписку из приказа о зачислении Владимира Анастасиади учеником токаря.

Из военкомата сообщили: в архиве имеется заявление Владимира Анастасиади с просьбой направить его на фронт. Военкомат «не счел возможным из-за молодости призвать Анастасиади в армию».

Астрахань считает Володю Анастасиади своим почетным астраханцем. «Так этот 17-летний партизан и разведчик, — писал в «Волге» А. Кравец, — породнился с нашей Астраханью: здесь он в трудную пору жизни нашел верных друзей, здесь работал на заводе, учился в спецшколе, вступил в комсомол, отсюда добровольцем ушел в партизаны. И погиб в одном бою вместе со своими новыми земляками-астраханцами».

Отец лучшего друга Володи Анастасиади — Коли Хаврошина умер, не узнав о судьбе сына. В Астрахани живет сейчас Зинаида Федоровна, Колина сестра. Она работает там же, где работал отец — в порту, в ремонтных мастерских имени Артема. Ей было пятнадцать лет, когда Коля ушел с завода имени Ленина и поступил в спецшколу. В областном партийном архиве установили, что в 1942 году Астраханский горком ВЛКСМ выдал Николаю Хаврошину комсомольский билет № 14010920. А в паспортном отделе Трусовского отделения милиции нашли фотографию, которую он представил в августе 1941 года при получении паспорта. В профтехучилище № 3 еще работает старый мастер Михаил Иванович Олесов, который помнит ремесленника Хаврошина: «Как же, как же! Из группы судовых машинистов! Шустрый был паренек, веселый и очень упорный в работе и учебе! Ни за что эвакуироваться с училищем не хотел. Хороший бы из него машинист вышел!»

Журналист Ю. Гриднев опубликовал в газете «Комсомолец Каспия» статью, в которой он сообщает, что Коля Кулькин, бывший столяр сталинградского завода, родился и учился, как и Валя Заикина, в Ахтубинске (Владимировке). Однако, как отмечала «Волга», «документов о том, что это тот самый Кулькин, который был в группе № 66, пока найти не удалось».

О Зое Печенкиной, о ее довоенной жизни мне рассказала в своих письмах ее старшая сестра — Анна Ефимовна Попова, которую я отыскал на родине Зои в Мальчевском районе Ростовской области. «О гибели Зои, — писала Анна Ефимовна, — нам ничего не было известно. Извещения мать не получала, а когда окончилась война, мы написали в Министерство обороны в Москву, и нам прислали справку, что Печенкина Зоя Ефимовна пропала без вести...»

Долго не удавалось мне связаться с родными Коли Лунгора. Писарь перепутал не только фамилию Коли, но и адрес. Наконец, уже в 1965 году, я вступил в переписку с отцом Коли — Семеном Евстафьевичем. «Коля родился 10 января 1923 года в городе Верхнее Лисичанского района Луганской области, — писал мне его отец. — Я в то время работал на шахте ОГПУ». Мать Коли, Ксения Леонидовна, до конца войны работала на шахте. «Имею еще двоих сыновей — Сергея и Петра, — писал мне отец Коли. — Коля отличался от своих сверстников ростом и силой. Когда, накинув на плечи пальто, выходил

на улицу, то все говорили: «Кармалюк идет». Он увлекался лыжами, занимался борьбой, гонял мяч. В пятнадцать лет поступил на завод «Донсода». В 1941 году он эвакуировался с заводом на Урал, на Березниковский содовый завод. С Урала я получил первое и последнее письмо, где он писал, что окончил школу снайперов и уходит на фронт. Больше никаких вестей о его судьбе я не получал. И дальнейшие мои розыски не увенчались успехом...»

Поиск родных и друзей героев группы «Максим» шел все более широким фронтом. Из колхоза имени Ленина Грачевского сельсовета Мордовского района Тамбовской области пришло письмо от Елены Никитичны Павловой — сестры Павла Васильева. Елена Никитична приезжала ко мне в Москву, привезла единственную уцелевшую фотокарточку и довоенное письмо Павла. «После ранения на фронте, — рассказывала мне она, — Паша полгода лечился в астраханском госпитале. Он писал нам очень коротко, что стал совсем здоров, прошел военную переподготовку и направляется в воинскую часть. И все. После этого от него мы никаких известий не получали. Наша мама жива, ей сейчас около восьмидесяти...»

Так день за днем, месяц за месяцем, на протяжении четырех лет по отдельным штрихам, по письмам и полустертым воспоминаниям восстанавливались вырванные из небытия, отвоеванные у забвения образы пятнадцати героев, чью тайну хранила так много лет немая бескрайняя степь.

Мне еще не удалось найти родных и друзей комиссара Василия Максимовича Быковского, Владимира Яковлевича Солдатова, волгоградцев Степана Михайловича Киселева, Николая Степановича Кулькина и Ивана Дмитриевича Сидорова, Нонны Ники-форовны Шарыгиной из Орджоникидзевского края, друзей сироты-детдомовца Владимира Владимировича Владимирова.

Весной 1965 года я поехал в Сухуми, чтобы на месте попытаться найти людей, знавших Леонида Матвеевича Черняховского. В поиск включились товарищи из Абхазского обкома партии и местные краеведы.

Напрасно искали мы документы о Черняховском в партийных и комсомольских архивах, напрасно искали через адресный стол мать героя Нину Георгиевну. Только полковнику Чигиришвили, военкому,

удалось установить, что Черняховский был призван в армию в грозном сорок первом из деревни Анастасьевка Сухумского района.

Но жив человек, знавший и Черняховского, и Максимыча, и всех членов группы «Максим». Это он в тот тревожный осенний день последним пожал им на прощание руки в астраханском порту. Для них он был и воинским командиром, и представителем партии, и старшим товарищем.

В октябре 1963 года, через два с лишним года после начала поиска, отыскался бывший начальник спецшколы Центрального штаба партизанского движения Алексей Михайлович Добросердов. У него сохранились списки всех групп и отрядов партизан, проходивших подготовку в астраханской спецшколе, в том числе и группы Черняховского. Мы установили, что по вине писаря спецшколы Клепов в списке стал Крупновым, Лунгор — Лунчаром и, конечно, Анастасиади — Анастасьевым. От Добросердова я узнал многое — как шла подготовка курсантов в спецшколе, как, где и когда переходила группа № 66 «Максим» линию фронта. «Район действия отряда Черняховского, — писал мне Добросердов, — был задан тот, который Вы пишете, — Пролетарская — Куберле. До 1 декабря у нас была радиосвязь, потом не стало. Точных данных о боевых действиях отряда мы так и не могли узнать. Правильно Вы пишете: «Советские люди не знали об этом подвиге своих сыновей и дочерей. Свидетелями его были только палачи...»

Как о храбрейших среди храбрых вспоминает о своих курсантах бывший начальник астраханской спецшколы, ныне ответственный работник Совета Министров Калмыцкой АССР Алексей Михайлович Добросердов.

Мать Вали Заикиной и многие другие родственники героев группы «Максим» просят меня написать им, где между станциями Пролетарская и Куберле находится братская могила героев. Степной ковыль еще хранит эту тайну. Но вот что пишут мне пионеры-туристы Дома пионеров из рабочего поселка Орловский:

«Готовясь к 20-летию победы нашего народа над немецким фашизмом, мы решили провести поисковую работу по розыску места действия отважных партизан и места их погребения... Мы начали поиск лесополосы, из которой могли нападать партизаны. На разъезде Таврический была хорошая лесополоса, но она подходит к железной

дороге перпендикулярно, а не параллельно, как указано в воспоминаниях Ноймана. На разъезде Куреном, на 333-м километре, как говорят жители, у 33-й будки, была — и сейчас имеется — колхозная лесополоса с восточной стороны на повороте дороги, в 50–60 метрах. Товарищ Коваленко, бывший лесомелиоратор, рассказал нам, что в 1944 году он восстанавливал один из участков этой лесополосы, сожженный немцами...»

Близ Орловской юные следопыты нашли старожилов, встречавших в ту зиму партизан.

«Одна жительница хутора Нижний Зундов, что в 20 километрах от Орловской, утверждала, что видела группу военных, среди которых были женщины. Группа проходила, когда уже выпал снег. Это подтверждает то, что группа «Максим» пришла из бывшего Заветинского района...»

...За окнами небольшого деревянного дома в Бирюлево падает снег. Тихо в комнатке. Я только что закончил рассказ о подвиге Володи Анастасиади и его товарищей, и старики, отец и мать Володи, поникли в скорбном молчании. «Может быть, не надо было ворошить прошлое, беречь старые раны?» — задумываюсь я. Александра Ивановна подносит платок к глазам, ее душат рыдания. И отец героя порывисто встает и говорит срывающимся голосом:

— Этот эсэсовец, как его — Нойман. Значит, сегодня он на весь мир бахвалится своим палачеством? Решил, что раз американские генералы на его стороне, то и совсем распоясаться можно — свои злодеяния в книжках расписывать? Нет, нет. Мы с матерью Володи требуем, чтобы всех их — всех, кто резал, сжигал, расстреливал, — наказали как преступников, как военных преступников!

Отчима Леонида Черняховского — Александра Сергеевича Топчияна — я разыскал через республиканский архив в Сухуми. Уже когда эта книга была в наборе, семидесятидвухлетний фотограф Александр Сергеевич прислал мне письмо из Дербента. Завязалась переписка. Рассказ о Леониде Черняховском — это одновременно и рассказ о его матери и друге Нине Георгиевне. Сына и мать связывала всю жизнь необыкновенно сильная и нежная любовь. Мать целиком и безраздельно посвятила себя сыну, и сын всю жизнь платил ей такой же привязанностью.

Нина Георгиевна вышла замуж шестнадцатилетней гимназисткой. Вскоре, в мае 1914 года, за два с половиной месяца до начала первой мировой войны, в Баку родился Леня Черняховский.

Город Баку переживал бурное время. Те первые тревожные годы оставили в душе матери неизгладимый след.

Нина Георгиевна рассталась с мужем, когда Леонид был совсем мальчишкой. Вскоре она вышла замуж за Александра Сергеевича Топчияна, фотографа из городского Совета. В то время Нина Георгиевна работала там ретушером.

«Леня учился в городе Баку, — пишет мне Александр Сергеевич, — учился хорошо, по характеру был справедливый и честный. Он очень любил читать, часто ночами просиживал над книгой. Читал про кругосветные путешествия, про героев гражданской войны — Чапаева, Буденного, про революционеров. Характер у него был добрый и мягкий. Он был всем сердцем предан матери. Сначала Леня работал товароведом в Управлении рабочего снабжения треста Азнефть, а потом — в санатории «Агудзера». На работе его уважали, часто выносили ему благодарность. В 1932 году он вступил в комсомол. Мы с Ниной Георгиевной поздравили его с вступлением в новую жизнь и подарили ему красивый джемпер. Вечер мы провели очень радостно, а дня через три он явился после работы домой без джемпера. Оказывается, к сестре его товарища приехала подруга, чтобы устроиться на работу. У этой девушки не было ничего из зимней одежды, и Леня подарил ей джемпер. Он был очень отзывчивый и чистой души человек.

В летние месяцы мы часто ездили отдыхать — в Пятигорск, в Дербент. Летом 1935 года вся наша семья и еще двое друзей Лени отдыхали в селе Верхний Таглар, в Нагорном Карабахе, а потом Леню взяли в армию. Он попал в парашютные войска, проходил подготовку в части под Баку.

Мы с женой переехали в санаторий «Агудзера» под Сухуми, где я лечился и работал фотографом. В 1937 году Леня вернулся из армии домой, но вскоре ушел добровольцем на финскую...»

Человек хрупкой душевной конституции, Нина Георгиевна тосковала без сына, боялась за его жизнь и жила в постоянной тревоге. Александр Сергеевич прятал от нее газеты, чтобы она не читала про зверства белофиннов. Дурные предчувствия матери оправдались —

Леонида ранили на фронте. Нина Георгиевна заболела от горя. Леонид вскоре вернулся из госпиталя домой, но мать с трудом узнала сына. Душевный надлом зашел слишком далеко. Леонид и его отчим повезли Нину Георгиевну в Москву, к лучшим профессорам... В «Агудзера» Леонид работал товароведом в санатории. Стал он молчалив, печален и нелюдим.

Нина Георгиевна вернулась домой здоровой и веселой. Но 22 июня началась война. В тот же день Леонид пошел в военкомат и подал заявление с просьбой принять его добровольцем в армию и послать на фронт. Вскоре пришла повестка из военкомата, и Леонид простился с матерью. Он знал, что разлука разобьет ее сердце. В день ухода Леонида мать не проронила ни одной слезы — она словно окаменела.

Месяц шел за месяцем, а Леонид не писал, мать очень тосковала. Она перестала узнавать людей...

«Летом сорок второго года, — вспоминает, Александр Сергеевич, — я неожиданно получил письмо из госпиталя в Баку от Леонида: «Жив, чувствую себя хорошо, очень прошу, дорогие родители, сообщить, как вы поживаете, как мама...» Дальше он обращается прямо ко мне: «Дядя Саша! Я очень волнуюсь, срочно напишите подробное письмо. Не скрывайте от меня ничего, пишите всю правду!...» Я все написал ему, и вскоре Леонид приехал повидаться с матерью. Они встретились в больнице, и мать его не узнала...

Леонид пробыл у меня всего сутки. Перед отъездом он сказал, что, залечив раны, добровольно пошел в партизаны. Он уехал в Астрахань и осенью прислал мне из Астрахани посылку и письмо. В письме было написано, что он высылает ненужные ему вещи, гимнастерку и наши фотографии, где мы были сняты все вместе перед его уходом на фронт, так как он не имеет права взять их с собой в партизанский отряд. Он также писал, что нам сообщат о его дальнейшей судьбе. В последнем, этом же письме он так же беспокоился о матери. Мать Леонида умерла в больнице, так и не узнав ничего о судьбе сына. А я двадцать лет напрасно разыскивал его...»

Такова история одной из миллионов советских семей, дотла разрушенных военным смерчем. И как-то гораздо яснее становится решение Леонида Черняховского, когда он получил приказ-

телеграмму: «Перекрыть дорогу!» Решение командира. Решение сына, который ушел на фронт, разбив сердце матери. Решение воина, заминировавшего своим сердцем железнодорожный путь, по которому мчалась, вбивая клин в сердце России, эсэсовская дивизия «Викинг».

„Викинги” маршируют вновь

Нам помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия. Не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей своих злодеяний.

Юлиус Фучик

А что случилось с оберштурмфюрером Нойманом, его дружкой графом Карлом фон Рекнером и другими палачами-«викингами»?

В лесах под Ковелем скрестился и мой боевой путь с кровавым путем «викингов». Партизаны Ковельщины еще с лета 1943 года, с начала сражения на Курской дуге, спускали вражеские эшелоны под Ковелем. Особенно активно действовали подрывные группы из партизанского соединения дважды Героя Советского Союза Алексея Федоровича Федорова. В конце февраля 1944 года федоровское соединение вместе с Житомирским партизанским соединением С. Ф. Маликова ударили по Ковельскому железнодорожному узлу. В марте заново укомплектованная танковая дивизия СС «Викинг» отбивала в Ковеле штурм советских войск. Вновь пришлось «викингам» сражаться на два фронта — против советских солдат и советских партизан.

Выполняя задание Ставки, весной 1944 года мне довелось участвовать в операции по переброске из под Ковеля, из-под носа группенфюрера Гилле и его «викингов», членов Крайовой Рады Народовой — будущих руководителей польского правительства. А Гилле, скрывая правду, объявил, что из лесу вылетели «командиры разгромленных дивизией «Викинг» партизанских отрядов».

Нередко приходилось нам, партизанам, под Ковелем драться с «викингами» во время многократных лесных прочесов.

Петер Нойман и его приятель Карл фон Рекнер после катастрофы на Волге участвовали в десятках сражений. «Викингов» били на реке Миус, под Матвеев-Курганом, под Харьковом. Саге «викингов» чуть было не пришел конец в «котле» под Корсунь-Шевченковским. Оттуда под рев «сталинских органов» — так немцы называли «катюшу» — выбрались только три роты «викингов». Одной из них была рота,

которой командовал Петер Нойман. Вновь ушли от возмездия палачи, сжигавшие людей огнеметами.

Но под Ковелем счастье изменило Карлу фон Рекнеру. То ли снарядом, то ли нашей партизанской миной оторвало у него ногу. Нойман посетил Карла в эвакогоспитале. Умирая, Карл с косой усмешкой говорил: «Рекнеры верой и правдой служили тевтонскому ордену, Фридриху и Пруссии, кайзеру, Гитлеру. Но не осталось Рекнера, чтобы служить следующему, четвертому рейху!» Санитарный самолет, вылетевший из Ковеля в Польшу, в эсэсовский госпиталь, привез туда уже его труп.

А Нойман, этот вываренный во стольких котлах оборотень, продолжал выполнять приказы Гимmlера: возглавив заградотряд СС, расстреливал своих же офицеров вермахта, бежавших без приказа от русских по шоссе Могилев — Минск.

Однажды Штресслинг задержал капитана и еще двух, офицеров из штаба 9-й армии. Они предъявили фронтовые удостоверения, но никаких командировочных предписаний у них не было. Штресслинг приказал Нойману расстрелять штабистов как дезертиров. Нойман так описывает этот расстрел:

«— Неужели вы убьете нас? — спросил один из них.

— Брось! — сказал другой. — Все они шайка проклятых, грязных убийц!..

Я повернулся к эсэсманам, которые держали автоматы наготове.

— Приготовиться!

— Хайль Гитлер! — крикнул капитан.

— Грязная свинья! — ответил ему эсэсман.

— Автоматчики! Огонь!

...Их не потребовалось добивать».

Нойману впервые пришлось расстреливать немцев.

«Не знаю, правилен ли был приказ Штресслинга, но приказ этот меня прикрывал... я занялся самоанализом и почти со страхом понял, что все это оставляет меня равнодушным. Как будто все это происходило с кем-то другим».

В послужном списке Ноймана — чудовищные злодеяния против белорусского населения, против белорусских партизан. А потом он опять вешал своих офицеров-дезертиров, вешал в Будапеште, вешал в

Вене. Он больше не верил изолгавшейся пропаганде, уже ни во что не верил, но продолжал остервенело убивать...

В октябре сорок четвертого судьба чуть было не свела Петера Ноймана с Отто Скорцени. Гауптштурмфюрер Скорцени прославился во всем рейхе как командир диверсионной группы, спасшей Муссолини из рук сторонников маршала Бадольо. Нойману, неплохо знавшему английский язык, предлагали приехать в замок во Фридентале, близ Ораниенбурга, чтобы под руководством Скорцени подготовиться к выполнению специального задания. Тогда Нойман не мог знать, что речь шла о задании Гитлера — под видом американских военнослужащих эсэсовцы сеяли панику в тылу американских войск во время гитлеровского контрнаступления в Арденнах.

Черный марш закончился для Ноймана там, где его начал Гитлер — в Австрии. В Вене, в самом конце марта 1945 года, он видел, как группа офицеров 1-й эсэсовской дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которым фюрер приказал сорвать нарукавные шевроны с его именем за очередной «драп», ответили тем, что пошвыряли все эти шевроны вместе с орденами в парашу, кинули туда же руку, отрезанную от трупа, и отправили парашу по почте в рейхсканцелярию на имя обожаемого фюрера...

В апреле же предал своего фюрера и «верный Генрих» — рейхсфюрер СС Гиммлер хотел открыть фронт англо-американцам в обмен на признание его, Гиммлера, главой государства.

Темной апрельской ночью, когда бой за Вену приближался к концу, гауптштурмфюрер Нойман, командир сводного отряда из эсэсовцев разгромленных дивизий «Викинг», «Дас Райх» и «Мертвая голова», страшась расплаты, сорвал с себя свои кресты и знаки различия и утопил их вместе с документами в канале. Казалось, карьере Ноймана, последнего «рыцаря» из «древнего ордена рыцарей Виттенберга», пришел конец.

Нойман считал, что пробил его смертный час. О чем же он думал под грохот советских «катюш»?

«У меня отвратительное чувство, будто я крыса, попавшая в крысоловку...

Теперь мы слишком слабы, чтобы схватить за глотку эти азиатские орды.

И все же какое-то холодное бешенство заставляет нас до скрежета сцепить зубы. Руки сильнее сжимают гранаты... Мы живем одной последней мечтой, за нее мы охотно отдадим жизни. Эта мечта — убить как можно больше русских, уничтожить тысячи и тысячи русских, как ядовитых насекомых. Чтобы увидеть, как во все стороны брызжет русская кровь. Утонуть в море русской крови. Чтобы жила Германия».

В те часы агонии «тысячелетнего» рейха в воспаленном от ненависти, страха и дикой усталости мозгу Петера Ноймана проносились картины истязаний, пыток и зверств. Возникали призраки убитых, замученных и расстрелянных. С яркостью галлюцинации вновь видел он, как огнеметчики сжигали партизана под Орловской. «За это нас накажет провидение!» — вновь звучал в ушах голос «Дикого быка» Либезиса.

«Я думаю о всех тех мертвецах, что устилают дорогу, избранную мной, или, вернее, нами. Всех тех, кто принес высшую жертву в этой жестокой, беспощадной, безжалостной борьбе. Обо всех, кто ушел в вечность, проклиная нас, потрясая костлявыми руками, пытаюсь сбросить недвижимую тяжесть раздавившей их могильной плиты в предсмертной оргии ненависти и бессильного горького гнева.

Одни были виновны, другие невинны... Теперь это все равно. Поздно, слишком поздно... Но я не могу, не должен раскаиваться...» Рухнула надежда на обещанное «чудо-оружие», пропала последняя надежда на ссору между союзными армиями, взявшими Германию в тиски. И недобитый нацист, заглядывая в будущее, послал горький и злобный упрек той военщине Запада, на которую он так надеялся:

«Придет день, когда кое-кто, возможно, пожалеет. Те, кто помогал победить нас...»

Нойман отбросил мысли о самоубийстве. Нойман сдался в плен советским солдатам. Об этом периоде жизни он говорит очень глухо и прерывает свои воспоминания. Палач ухитрился, как видно, скрыть свое кровавое прошлое, его вылечили в советском госпитале. Он помогал расчищать руины Варшавы, потом работал в лагере военнопленных.

После амнистии Нойман вернулся в Гамбург. Он не рассказывает в своей книге, как встретила его федеральная Германия, но нам и без его рассказов это отлично известно. Петеру Нойману вновь повезло. В

первые трудные послевоенные годы одни его приятели завербовались в Иностраннный легион, который тогда на 80 процентов состоял из бывших эсэсовцев, и потом погибли от партизанской пули где-нибудь во Вьетнаме или в Алжире. Другие угодили в тюрьму, потому что хотели драться за личное преуспеяние теми же методами, какими дрались эсэсовцы во славу фюрера на войне. Но экс-гауптштурмфюрер вернулся на родину тогда, когда Бонн открыто пошел по стопам Гитлера.

Гиммлер был плохим провидцем, когда утверждал: «Я знаю, что в Германии есть люди, которых начинает тошнить, когда они видят эти черные рубашки. Мы понимаем причину этого и не ждем, что нас будут любить многие». Но сегодня в официальном «Боннланде» СС в большом почете.

То, на что надеялся рейхсфюрер СС до последней минуты, когда он раскусил ампулу с цианистым калием, свершилось — «Западный мир», за который, как уверял Гиммлер, полегла армия Паулюса, признал СС!

Наверное, Нойман, вернувшись на родину, не раз вспоминал слова Гитлера: «Мы снова хотим оружия... Поэтому все, начиная от букваря ребенка и до последней газеты, каждый театр и каждый фильм, каждый столб для плакатов и каждая свободная доска для объявлений должны быть поставлены на службу этой единственной большой миссии».

Вернувшихся из плена эсэсовцев и гестаповцев власти Западной Германии встречали, как героев, выплачивая им в течение года оклад, равный их последнему жалованью в СС. Как военный преступник, кавалер «железного креста» обеих степеней и других гитлеровских наград, мог теперь не прятаться и не таиться. Кто мог угрожать ему, если сам обер-прокурор города Гамбурга Вилли Шрегиан был в прошлом судьей корпуса войск СС!

Много воды утекло в Рейне с тех времен, когда эсэсовцы и бывшие гитлеровские главари сидели за решеткой. Ныне они ворочают делами не только бундесвера, но и НАТО, все нахальнее тесня своих партнеров.

Уже в 1951 году англо-американские власти преподнесли реваншистам ФРГ рождественский подарок — выпустили на волю из ландсбергской тюрьмы и других комфортабельных мест заточения

генералов-гиммлеровцев, бывших командиров дивизии «Викинг» Гилле и Штайнера, бывшего командира дивизии «Дас Райх» Хауссера, бывшего командира личной охраны Гитлера Иозефа Дитриха, бывшего адъютанта Гиммлера Карла Вольфа, одного из основных идеологов СС Карла Церффа и многих других «золотых фазанов» СС.

В 1956 году специальная комиссия бундестага широко распахнула двери бундесвера всем фюрерам СС вплоть до оберштурмбаннфюрера (подполковника), гарантируя каждому его прежний чин. Вполне возможно, что и Петер Нойман служит сейчас офицером бундесвера. В июне 1961 года бундестаг решил вознаградить солидными государственными пенсиями бывших головорезов в черных мундирах.

Может быть, и не стоило бы столь подробно говорить об экс-гауптштурмфюрере СС Петере Ноймане, если бы после капитуляции гитлеровской Германии не осталось в живых сотен тысяч эсэсовцев. И сегодня гремит в Западной Германии воинственный клич «викингов».

Дивизия СС «Викинг» была сформирована согласно приказу Гиммлера от 11 ноября 1940 года после захвата Гитлером западноевропейских стран. В нее вошли не только немецкие нацисты-волонтеры, но и фашисты, шпионы и диверсанты гитлеровской «Пятой колонны» в Голландии, Дании, Норвегии, финны, валлоны и фламандцы. Это и побудило недобитых «викингов» ныне претендовать на приоритет, заговорить в наши дни о том, что СС вообще и в первую голову дивизия «Викинг» явились прообразом НАТО, зачинателями североатлантической идеи, предтечей того самого «антибольшевистского североатлантического оборонительного сообщества», о котором судорожно мечтали гитлеры, Гиммлеры, нойманы в дни кровавого заката «тысячелетнего рейха».

«Это были первые солдаты Европы, которые выступили на борьбу с большевизмом!» — с пафосом заявил гитлеровский генерал Бутлар.

Ободренные поддержкой заатлантического босса, оборотни-«викинги» всерьез надеются возродить СС в рамках НАТО.

Наплевать им на то, что Потсдамское соглашение великих держав-победительниц запретило организации ветеранов войны в Германии. Ныне около шестидесяти землячеств бывших эсэсовцев, объединенные в Союз бывших солдат войск СС (ХИАГ), справляют с благословения Бонна свой реваншистский шабаш. Кличу этих

вервольфов дружно вторит мощный пропагандистский хор из тысячи землячеств частей и соединений вермахта и весь бундесвер.

Неспроста удалось эсэсовцу «викингу» Нойману превратить свои воспоминания палача в хрустящие французские, английские и американские купюры. Неспроста мемуары мародера вышли столькими изданиями во Франции (под названием «СС»), в Англии (под названием «Чужие могилы») и в Америке, где книгу выпустили несколькими массовыми тиражами два издательства и напечатал, чтобы пощекотать нервы своих читателей, журнал «Мэйл» («Самец»). Во всех этих странах растет число единомышленников Ноймана — молодчики «американского фюрера» Рокуэлла, куклуксклановцы и бэрчисты в США, оасовцы во Франции, фалангисты в Испании, фашисты Мосли в Англии, недобитые чернорубашечники в Италии во главе с экс-полковником князем Боргезе, бельгийские экс-эсэсовцы оберштурмбаннфюрера Леона Дегрелла.

Немало, надо думать, распилил экс-гауптштурмфюрер-рер кружек пива со своими приятелями на жирные гонорары, полученные за мемуары палача.

Впрочем, эсэсовцы в деньгах не нуждаются. Международное эсэсовское подполье во главе со Скорцени располагает богатствами, награбленными СС во времена Гитлера. В тайный фонд СС вошла, в частности, собственность миллионов уничтоженных гитлеровцами евреев, огромные суммы денег, полученные в обмен на фальшивые банкноты.

Нойман и его дружки вошли ныне в обер-офицерский, генеральский возраст. Неужто не придется еще покомандовать? Ужель не повторится «дранг нах остен»?

«Обязательно повторится!» — обещают им идеологи реваншизма.

Нойман может рассчитывать на высокий пост в бундесвере. Манштейн, Гот, Штайнер, Гилле — все они помнят бравого гауптштурмфюрера. Генерал Легелер, бывший начальник штаба 57-го танкового корпуса, в составе которого ломились «викинги» к Сталинграду, ныне командует 4-й пехотной дивизией бундесвера. Командир 6-й пехотной дивизии «танковый Мюллер» — прежний начштаба 4-й танковой армии. Командующий войсками военного округа генерал Зиверт тоже «камерад», служил у Манштейна. Да разве

перечислишь всех «камерадов», связанных круговой порукой убийц, спянных преступно пролитой кровью!..

Прежний начальник гауптштурмфюрера Нойма-на, бывший генерал войск СС Феликс Штайнер, как и сменивший его группенфюрер Гилле, и не думал подобно своему шефу Гиммлеру кончать жизнь самоубийством. И вот они снова в фаворе, снова на коне. Но коня Штайнеру мало, ему вновь нужен танк с блестящим штандартом командующего. В своей книге «Военная идея Запада» он осмеливается даже критиковать Пентагон: нет, говорит он, американцам не удастся добиться «выигрыша войны с воздуха», что «раз бомбу могут бросить обе стороны, все надежды на нее лопаются». Штайнер призывает создавать новые высокоподвижные мотодивизии (вроде «Викинга», разумеется) для оккупации территории противника. Живучий фельдмаршал Манштейн в конце 1956 года ратовал за то же. А генерал-полковник Гот призывал бундесвер сколотить мощные танковые дивизии, достойные атомной эпохи.

Это не пустые разговоры в духе прожектов и обещаний последнего канцлера «третьего рейха» — доктора Геббельса. Боннская печать уже в 1958 году взახлеб раструбила, что на том самом мюнстерском полигоне, где двадцать три года назад формировались танковые и моторизованные дивизии Гитлера, проходят маневры сверхмощных дивизий бундесвера.

У памятника убитым гитлеровцам танковый генерал Рейнгард поклялся в выражениях несколько двусмысленных: «Вы не напрасно пали. Ваша героическая смерть будет примером для европейской армии, которая, наконец, освободит мир от коммунистической опасности».

У СС свои традиции, свои методы. Отто Скорцени не так давно хвастливо заявил в Нюрнберге: «Дайте мне тысячу человек и свободу рук, и любой противник потерпит поражение в новой войне!» Как всегда, СС делает ставку на диверсии и шпионаж.

В печать просочилось сообщение, что в дни, когда мир следил за процессом обер-палача СС Адольфа Эйхмана в Иерусалиме, на фашистский слет в одном из ближневосточных городов съехались наш старый знакомый обергруппенфюрер СС Феликс Штайнер, фюреры фашистов Аргентины, США, Италии, Франции и других стран. Председательствовал на этой встрече небезызвестный Отто Скорцени.

Стало известно, что фашистские главари обсуждали вопрос — как нейтрализовать процесс над Эйхманом. Нет сомнения, что заговорщики обсуждали программу действия.

Вскоре тут и там в западном мире послышались зловещие отзвуки бейрутского совещания.

Не так давно газеты мира облетело сообщение о неонацистской организации поклонников «викингов» и Квислинга, раскрытой в Норвегии: «Как сообщают сегодня шведские газеты, в Норвегии раскрыта неонацистская организация, занимавшаяся фашистской пропагандой и сбором оружия. На окраине Осло обнаружен подземный тайник, в котором был размещен большой склад автоматов, гранат, пистолетов. Стены бункера были увешаны флагами со свастикой и эсэсовскими знаменами». Здесь, как пишет шведская газета «Стокгольмстинднинген», последователи Гитлера «принимали клятву у новых членов организации».

Мир узнал также о создании неонацистской партии в Западной Германии. Все маски были сброшены.

Совсем недавно шведские газеты ошеломили читателей сногшибательной сенсацией. Полиция раскрыла в Стокгольме тайную организацию, действовавшую под вывеской благотворительного фонда. Фонд этот был учрежден покойным миллионером Карлбергом, который еще в начале 30-х годов покровительствовал гестапо и СС. Эта организация, возглавлявшаяся подпольным шведским фюрером Бьорном Лундалем, ставила своей задачей силой и террором свергнуть шведское правительство, убить шведского премьера Эрландера и сжечь всех евреев в печах. Полиция конфисковала большой склад оружия, флаги со свастикой, портреты и книги Гитлера, балахоны американских куклуксклановцев и многочисленные документы, подтверждающие существование в обоих полушариях коричневого интернационала неофашистов. Выяснилось, в частности, что фонд Карлберга, финансируя гитлеровцев в ФРГ, поддерживал созданное там старыми эсэсовцами издательство «Плессе ферлаг», то самое издательство в Гет-тингене, которое недавно выпустило в свет воспоминания бывшего командира дивизии СС «Викинг» Феликса Штайнера.

Именно в тихой, вечно нейтральной Швеции действует центральное бюро международного неофашистского союза,

созданного еще в начале 50-х годов. У этого подпольного союза две легальные вывески — «Европейское социальное движение» и «Группа Мальме». Его фюрер — любимец Гитлера, бывший начальник секретной службы СС, фюрер СД, ныне проживающий в Ирландии, оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени. Шеф международной подпольной армии неонацистов, чьей гвардией являются «рыцари» черного эсэсовского ордена, во всеуслышание заявил, что его «сердцу дорог идеал СС».

«Группа Мальме», — писал в «Правде» 30 мая 1965 года советский журналист Эрнст Генри, — это в действительности восстановленный в новом составе и в международном масштабе эсэсовский штаб». Тень Гимmlера бродит по западному миру.

«В настоящее время, — писал Эрнст Генри, — действуют два главных очага международного фашизма. Первый из них в ФРГ, бастионе германского реваншизма. Второй — в США, цитадели самой мощной и самой агрессивной финансовой олигархии в мире».

В США лишь немногие безумцы открыто рядятся в коричневую форму штурмовиков. Американская нацистская партия насчитывает, согласно заявлению ее фюрера Рокуэлла, всего тысячу молодчиков со свастикой на рукаве. Но неофашизм в США многолик. Доктор Дж. Б. Мэттьюз, один из бывших руководителей пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, ныне один из ближайших советников Роберта Уэлча, главы профашистского общества имени Джона Бэрча, откровенно заявил: «Ответом Америки коммунизму будет фашизм или нечто столь близкое фашизму, что разница будет незначительной». За спиной американских неофашистов стоят могущественные монополии, стоят такие финансовые тузы, как покровитель Маккарти и Голдуотера нефтяной король Хант из Далласа.

Какова программа американских фашистов? В Нью-Йорке мне довелось увидеть такую листовку Американской национальной партии: «Мы хотим войны! Красная Россия должна быть уничтожена! Давайте похороним их, пока они не похоронили нас! Требуем положить конец всяким переговорам и мирному сосуществованию! Требуем немедленного объявления войны Советскому Союзу! Лучше быть мертвыми, чем красными!...»

Известно, что в Ирландии создан штаб эсэсовцев во главе с международным гангстером Отто Скорцени и бывшим оберфюрером СС фон Дернбергом. К ним примыкают новые ирландские помещики — принц Эрнст Генрих, фон Заксен и граф Денхоф.

Мне хочется рассказать о четвертом очаге фашизма, где, возможно, подвизается сегодня Петер Нойман.

...В двухмиллионном Торонто, где мне пришлось прожить около полутора месяцев, находясь в Канаде в командировке, многочисленные толки вызвало сенсационное сообщение падкого на боевики нью-йоркского журнала «Полис газет».

Номер этого журнала вышел с фотопортретом Адольфа Гитлера на обложке. Кричащий заголовок останавливал у киосков толпы канадцев: «Гитлер жив!» Подзаголовок тоже разжигал любопытство: «Рассказ нового очевидца нацистского убежища».

Джек Комбен, корреспондент газеты «Лондон дейли экспресс», путешествуя недавно по аргентинской провинции Рио Negro, нелюдимому краю гор, водопадов, неведомых пещер и озер с затерянными островами, набрел на тайный оплот гитлеровцев в ста милях севернее деревни Сан-Карлос-де-Барлиохе. Эта земля была куплена нацистскими агентами в канун агонии третьего рейха у правительства Перона, известного поклонника Гитлера. Почти два десятилетия существует эта последняя крепость гитлеровцев. Тайный штаб военных преступников, располагая капиталами, награбленными вермахтом во всех странах Европы, финансирует неофашистов во всех частях света, планирует экономическую экспансию, скупая пакеты акций в сотнях промышленных компаний и картелей.

Существование трехсоттысячной нацистской эмиграции в Аргентине не новость для советского читателя. Журнал «За рубежом» публиковал о ней материалы, корреспондент «Огонька» Владимир Павлов полемизировал в открытом письме с одним, из главных главарей того нацистского гнезда — бывшим первым асом Гитлера Хансом Ульрихом Руделем.

В мировой прессе промелькнуло сообщение о том, что в Аргентине видели Мартина Бормана, первого заместителя фюрера.

Журнал «Полис газет» еще в 1952 году, ссылаясь на достоверные данные, полученные от разведорганов западных государств и от бывших гитлеровских заправил, сообщил, будто Гитлер бежал из

объятого пламенем Берлина вместе со своей любовницей Евой Браун. Тогда же журнал поведал, что план бегства и инсценировки самоубийства Гитлера был разработан Мартином Борманом, который не забыл и себя включить в число «неоаргентинцев». Борман же, по приказу Гитлера, поручил гроссадмиралу Карлу Денитцу, командующему флотом гитлеровской Германии, подготовить для Гитлера базу в Аргентине и перебросить туда фюрера и его свиту.

Вот что пишет об этой базе гитлеровцев Джек Комбен.

В лагере на берегу быстротечной реки Лемей, 2500 миль южнее экватора, в сердце Аргентины, немцы, немки и их дети живут странной и тайной жизнью, подчиняясь стальной дисциплине.

Туземцы не могут проникнуть в лагерь, который лежит близ Пасо Флорес, в 100 милях севернее Сан-Карлос-де-Барлиохе. Обитателям лагеря запрещено общаться с туземцами. Все мужчины в лагере носят форму, похожую на форму гитлеровского африканского корпуса, с теми же фуражками с длинными козырьками, которые носила отборная армия Роммеля в западной пустыне. Туда не пускают ни одного непрошеного посетителя. Об этом заботится вооруженная охрана. Чтобы обеспечить полную секретность, введена строжайшая почтовая цензура. Лагерем командует седовласый комендант, по фамилии Вальтер Охнер, которого все зовут Капитаном. Его правая рука — Эдгар Фьес, бывший эсэсовец.

Пытаясь воскресить фашиста № 1, желтая пресса стремится не только заработать на сенсации, но и вдохнуть новую жизнь в миф о живом Гитлере.

«Полис газет» сообщил на основе показаний лиц, близких к Гитлеру, что в ночь на 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун вылетели якобы из Берлина в оккупированную гитлеровцами Норвегию, на базу германского военно-морского флота, где их ждала подводная лодка И-530 под командованием капитана Отто Вермутта. Эта подводная лодка, якобы только высадив фюрера-изгнанника, сдалась союзным войскам 10 июля 1945 года в аргентинской бухте Мар-дель-Плата. Вторая гитлеровская подводная лодка прибыла в ту же бухту месяц спустя. Ее команда и груз исчезли. Бывший посол США в Аргентине Спруил Брэйден полагает, что эта подлодка доставила к берегам Аргентины части секретного оружия фашистской Германии. Брэйдену удалось установить, что нацисты перевели в

банки Буэнос-Айреса четыреста миллионов долларов. Однако агенты Брэйдена не смогли проникнуть в крепость близ Сан-Карлос-де-Барлиохе. Только Джеку Комбену удалось сделать это и убедиться, что почти двадцать лет после краха третьего рейха стоят стены гитлеровской крепости...

Советская комиссия во главе с полковником Горбушиным в майские дни сорок пятого года расследовала обстоятельства самоубийства Гитлера. Четвертого мая работники этой комиссии обнаружили в саду рейхсканцелярии два полусожженных трупа — труп мужчины и труп женщины. Взятые в плен советскими воинами личный адъютант Гитлера штурмбаннфюрер СС Гюнше и начальник личной охраны Гитлера обергруппенфюрер СС Раттенхубер рассказали о самоубийстве своего шефа и Евы Браун. Гитлер отравился цианистым калием тогда, когда понял, что вызванные им 9-я и 12-я армии и войска генерала

Штайнера — того самого, который в начале войны против СССР командовал дивизией СС «Викинг», — никогда не придут в Берлин, как войска Манштейна не пришли в Сталинград. В фюрербункере в те часы «все смешалось в безумной судороге»... Полковник Горбушин опознал труп Гитлера, сличив его зубы с рентгеновскими снимками, снятыми личным дантистом фюрера профессором Блашке. Об этом недавно рассказала на страницах журнала «Знамя» Елена Ржевская, бывший военный переводчик и работник комиссии полковника Горбушина.

Итак, главный фюрер мертв, но живы нойманы и штайнеры, еще жив дух реваншизма на Рейне. Кровавые руки реваншистов тянутся к ядерному оружию. Только бы получить в свои руки атомную бомбу. Вот это оружие!

И нойманы и их генералы вслух, публично, на страницах военных журналов, мечтают применить атомное оружие против советского народа: «Ленинград... можно было в кратчайший срок ликвидировать при помощи атомных атак. То же самое можно было сделать и с Севастополем. Осенью 1941 года при помощи атомных бомб можно было бы разделаться с «котлами» у Киева, Брянска и Вязьмы не за несколько недель, а за несколько часов... Имелась бы возможность атомизировать Москву...»

Где сейчас Нойман? Что делает? Я еще не потерял надежды напасть на след убийцы. Встречаясь с антифашистами из Западной Германии, я спрашивал их, не читали ли они воспоминания Ноймана, не слышали ли о его судьбе.

— Увы! — отвечали они. — У нас слишком много издается реваншистской макулатуры!

Товарищи из ГДР посоветовали:

— Напишите в Берлин Джону Питу. У нас мало кто знает так хорошо самых ретивых реваншистов, как этот редактор бюллетеня «Демократик джерман рипорт».

Джон Пит, однако, ничего не знал о Ноймане, зато он знает, что недобитые «викинги» стремятся быть штурмовым отрядом в реваншистской фаланге. Действуют они открыто. Коммунисты в ФРГ объявлены вне закона, а «викинги» — вполне легальная организация. Их штаб находится в доме № 205 по Амстердамерштрассе в Кельне. В этом доме, надо полагать, глава ветеранов танковой дивизии СС «Викинг» нередко встречается с Петером Нойманом.

Поиск еще не кончился. Я еще надеюсь отыскать след преступника.

Недавно мы отпраздновали двадцатилетие Победы над фашистской Германией.

Двадцать лет... За эти двадцать лет народилось новое, послевоенное поколение. Двадцатилетнему юноше, двадцатилетней девушке минувшая война кажется чуть не далекой историей. Как моему поколению — самому молодому поколению, участвовавшему в Отечественной войне, — давней историей казалась гражданская война. А между тем отсвет зарева, погасшего над Волгой много лет тому назад, еще лежит на мировых судьбах и на судьбах каждого из нас.

И это не забывают друзья мира. На всех континентах ширится фронт борьбы против поджигателей войны.

...Март 1965 года. Над Темзой, над старинным Вестминстером ни облачка. Необычайно солнечно и тепло в Лондоне. Но лица людей, собравшихся у одного из подъездов здания британского парламента, серьезны и суровы. Это бывшие участники движения Сопротивления. По приглашению группы членов парламента они приехали сюда из многих стран Европы, чтобы заявить протест против зловещих планов Бонна, направленных на амнистирование военных преступников.

Среди героев — поляк Михаил Исаевич. Двадцать лет назад он с друзьями-подпольщиками привел в исполнение приговор подполья — убил среди бела дня на улице в Варшаве зятя Гиммлера — обергруппенфюрера СС Кутшера. Рядом с ним Матильда Габриэль Пери, вдова национального героя Франции, расстрелянного фашистами, Марсель Поль, бывший узник Бухенвальда и президент Международного Бухенвальдского комитета, югославский герой-партизан Младен Кальдеро-вич... Советских же ветеранов войны представляли Герой Советского Союза Александр Косицын и я. В тот день британский премьер Вильсон отвечал в палате общин на вопросы членов парламента о поездке премьера в Бонн. А в соседнем зале, под одной крышей с обеими палатами бывшие борцы-антифашисты в своих выступлениях клеймили боннский заговор против мира. Когда я читал заявление Советского комитета ветеранов войны, когда притихший зал слушал скупой перечень фашистских злодеяний на советской земле, перед глазами моими, как живые, стояли герои группы «Максим», выхваченные из ночи слепящим светом прожектора, озаренные жарким пламенем эсэсовского огнемета...

И позднее в тот день, когда все мы посетили посольство Федеративной Республики Германии в Белгрэйв-сквер, чтобы вручить совместный протест, тени степных орлов следовали за мной неотступно. А когда нас с холодной вежливостью встретил посол Хассо фон Этцдорф, лощеный и импозантный дипломат, он показался мне духовным близнецом оберштурмфюрера Ноймана. И так оно и было на самом деле — от наших лондонских друзей, борцов за мир, я знал, что Хассо фон Этцдорф — старый нацист (с 1 июня 1933 года, членский билет № 3 286 356). При Гитлере он щеголял в форме оберштурмбаннфюрера.

Лилась, журчала уклончивая речь фон Этцдорфа, бывшего представителя Риббентропа в ставке Гитлера. Он говорил по-английски, с заметным немецким акцентом, играя бархатистым баритоном, точно учитывая гулкую акустику зала. Зала, где четверть века назад висел портрет фюрера и канцлера. А мне слышалось эхо эсэсовских пулеметов под Орловской. А потом снова взяли слово антифашисты Европы. И в те минуты, переводя глаза с бывших партизан на бывшего гитлеровца, я с особой силой и остротой понял: нет, прошлое не погребено, борьба продолжается..

Горчаков Овидий Александрович
«МАКСИМ» НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ.

М., «Молодая гвардия», 1966.

288 с, с 4 л. илл.

P2

Редактор С. Митрохина Худож. редактор Г. Позин Техн. редактор
В. Савельева

A01010. Подп. к печ. 7/1 1966 г. Бум. 84x108¹/₃₂. Печ. л. 9(15,12) +
4 вкл. Уч. — изд. л. 14,4. Тираж 115 000 экз. Заказ 1810. Цена 60 коп.
Б. 3. № 65, 1965 г., п. 5. Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая
гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.



notes

Примечания

1

7 ноября 1938 года семнадцатилетний студент-еврей Гершль Гриншпан, желая отомстить гитлеровцам за насилия, учиненные ими над его отцом и другими евреями в Германии, пришел в германское посольство в Париже, чтобы убить германского посла. Однако к нему вышел не посол, а третий секретарь посольства Эрнст фон Рат. Гриншпан убил германского дипломата пятью выстрелами из револьвера. (Прим. автора.)